

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 5 (7 0) / 2 0 2 6



ИРИНА
ЗНАМЕНСКАЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

4



АЛЕКСАНДР
ПЕРФИЛЬЕВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

10



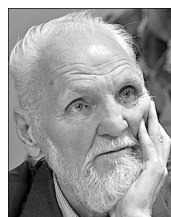
НАТАЛИЯ
ЮРКЕВИЧ
ДАУГАПИЛС
ЛАТВИЯ

16



ОЛЕГ
РОЙ
МОСКВА

22



ВЛАДИМИР
КРУПИН
МОСКВА

59



ОСИП
ФУФАЧЕВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

82



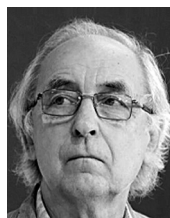
ЮРИЙ
ФАНКИН
МУРОМ

88



ДЕНИС
ЛИПАТОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

99



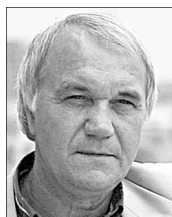
ГЕННАДИЙ
ИВАНОВ
МОСКВА

111



ВИТАЛИЙ
ГОЛЬНЕВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

115



АЛЕКСАНДР
КОВАЛЕВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

120



АЛЕКСЕЙ
НЕБЫКОВ
МОСКВА

124



АЛЁНА
ДАЛЬ
ВОРОНЕЖ

147



ВЛАДИМИР
СЕДОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

168



ЕЛЕНА
КРЮКОВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

215

16+

В НОМЕРЕ

Поэзия

Ирина ЗНАМЕНСКАЯ

ЭТА БИТВА ИДЁТ В НЕБЕСАХ... 4

Александр ПЕРФИЛЬЕВ (1947–1996)

Я, КАК ОТ БЛОХ, ОТ УМНЫХ СЛОВ УСТАЛ... 10

Наталья ЮРКЕВИЧ

...И МОЖНО ВИДЕТЬ «ЗАВТРА» 16

Проза

Олег РОЙ

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ. 22

Владимир КРУПИН

ЗАСТОЙНЫЕ ВРЕМЕНА 59

НА ТРОИХ 69

Олег РЯБОВ

ШАМАН ВЕРНУЛСЯ (окончание) 75

Осип ФУФАЧЁВ

ХАРЛИ КВИНН 82

Юрий ФАНКИН

ПЕЛ СОЛОВЕЙ... 88

Денис ЛИПАТОВ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ 99

МИХАЛ МИХАЛЫЧ СЪЕЛ БУМАЖКУ.... 102

ТЕНЬ НА ЛУНЕ. 105

Поэзия

Геннадий ИВАНОВ

И ВЕЕТ, ВЕЕТ ТАИНСТВОМ СВОБОДЫ... 111

Виталий ГОЛЬНЕВ

ЕСТЬ АВТОР У МУЗЫКИ СТОГА... 115

Александр КОВАЛЕВ

СВЕТ НЕ ГАСИТЕ... 120

Проза

Алексей НЕБЫКОВ

ОБЕЩАНИЕ КАРАФУТО. 124

Михаил ЧИЖОВ

МИШКИНЫ СЛЁЗЫ 143

Алёна ДАЛЬ

НЕКРОЛОГ 147

Священник Николай ТОЛСТИКОВ

ИСТОРИЯ ПАПИНОЙ ДОЧКИ. 153

Олег ПОГАСИЙ

ФЕЙЕРВЕРК 160

ПРЕДЧУВСТВУЮ ТЕБЯ 164

Владимир СЕДОВ

ЗАПОЗДАЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИГОРЯ МАРИНЫЧЕВА

НА СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ 168

Сергей СМЕРНОВ	
ЗАПОЛЯРНАЯ СЛУЖБА	174
Владимир КУЗИН	
ПРИДУРОЧНАЯ	178
Иван ОБРАЗЦОВ	
ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ	180

Из будущих книг

Игорь РОДИН	
ДОМ НА ЗАДВОРКАХ ВСЕЛЕННОЙ. Фрагмент романа	182

Стихи по кругу

Кирилл КЛЕПЦОВ	186
Вис ВИТАЛИС	186
Александр БАЖЕНОВ	188
Владимир СКВОРЦОВ	189
Светлана ЛЕОНТЬЕВА	191
Татьяна СПИРКИНА	191
Глеб ПЛАНКИН	192
Дмитрий БОБЫЛЕВ	194
Андрей АЛЬПИДОВСКИЙ	195
Роман БАШКАРДИН	196
Елена КОЛЕСНИКОВА	197

Публицистика

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА	
СТРЕМЛЕНИЕ К ВЫСШЕЙ ПРАВДЕ: Н.С. ЛЕСКОВ И Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ	199

Вехи памяти

Елена КРЮКОВА	
ЖИЗНЬ. СМЕРТЬ. ПОЭЗИЯ. Слово о Глебе Горбовском	215
Наталья СЕЛИВАНОВА	
АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН: ВНУТРИ ЭПОХИ, ВНЕ ШАБЛОНА	222

Литпроцесс

Анатолий ВАЛЕВСКИЙ	
«ВООБРАЖАЕМЫЙ МУЗЕЙ ИРИНЫ АНТОНОВОЙ»	
КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ИНСТИТУЦИИ	233
ВОСКРЕШЕНИЕ «НЕДОПРОКЛЯТОГО»	
Роман Сенчин и его «Человек и персонаж»	237

Ирина ЗНАМЕНСКАЯ

Поэт, переводчик. Родилась в 1951 году в Ленинграде. Окончила художественное училище. Училась в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена (не окончила). Работала художником-оформителем, литературным редактором.

Публиковалась в литературных журналах «Аврора», «Нева», «Звезда», «Новый мир», «Октябрь», «Юность», в коллективных поэтических сборниках. Автор поэтических книг «Долгий свет» (Л.: «Советский писатель», 1982), «Обращаюсь на «ты» (Л.: «Советский писатель», 1989), «Глаз вопиющего» (СПб.: «Феникс»; М.: «Atheneum», 1997).

Член Союзов писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

ЭТА БИТВА ИДЁТ В НЕБЕСАХ...

Вечный спор

Вам, легкокрылые мои,
Легко порхалось и бежалось,
Но «жало мудрая змеи» –
Не то же, что любовь и жалость...

А нам чугунные крыла
В густых порывах бури чёрной
Судьба расправить привела
В прыжке с горы!
С ноги опорной.

Мы снова ВЗЯЛИ НА СЕБЯ.
Мы, как всегда, за всё ответим.
И, Божий промысел любя,
Заплатим мы и тем и этим...

Но будет русских длить и длить
Господь, не уменьшая квоту:
Чтоб было на кого свалить
Свою тяжёлую работу!

На снос памятника Пушкину

– ...так ненависти нет в душе твоей небесной?!
О, странная вдова, сошла из кельи тесной
Ты разве не за тем, чтоб чести предпочесть?..
– Да, ненависти нет. Но каменюка – есть!

Я забрала его с могилы разорённой –
Осколок неподъёмный, многотонный,
Ведь памяти равно – минули год иль час...
Ты, кажется, дрожишь...
Опять?
Как в прошлый раз?!

История опять грозитя повториться –
В одном ошибся ты – я нынче Царь-Девуца:
Наследница небес, лесов, полей и гор...
Но он всегда в дверях, мой вечный Командор!

Небесная битва

Эта битва идёт в небесах
И её преломлённые тени
Как дыханье – в живых волосах,
А в глазах неживых – сновиденья.

Но раздумывать время ушло:
В доме двери ломают с надсадом!
Тянет холодом наше тепло,
Ленинградом сквозит, Сталинградом.

И густеющий хрономираж
Опускается как наважденье:
Кто-то был по рождению – наш –
Отказался от факта рожденья,
Кто простился, пошёл, кто прилёг,
Кто взлетел, удивившись едва ли –
Путь от нас до небес недалёк –
Наши предки его налетали,

Собираясь в засадном полку,
Никому не сдаваясь на милость,
Чтоб теперь и на нашем веку
Всё смешалось, но определилось.

Однокашникам

Что есть ещё, чего мы не видали,
Чего произойти бы не смогло –
Пришитые заштопанные дали,
Бронею защищённое стекло,

Все виды скорби, нежности и мести,
Прощания на жизнь, а не на год,
Открытия, которые на месте
Закрывать бы, как закрыть открытый рот,

И газ, и тормоз, врезанные сразу,
Смятенье с верой в чаше круговой

И даже предпоследнюю заразу
Перелистнули те, кто здесь живой!

Но что найдём в отложенных платёжках,
Пока цветёт бездумно старый сад.
Пока в любимых и домашних кошках
Вскипает электрический разряд?!

Вулканы, войны, наводнения, шквалы
С безумным выражением лица...
Дай Бог тому, кого судьба поймала,
Чтоб досмотреть всё это до конца...

Автобиография

...Я не была ночной травой,
Той, что – как рыба из воды.
Я не крутила головою
На запах праздничной еды.

Я не была самой гордыней
И в первой паре не прошла,
И двух, не слишком ровных, линий
К единой точке не свела.

Я не была в той самой Ницце,
Куда строки тянулась нить.
Мне не случилось там разбиться,
Чтоб тела целость оценить.

Мне мёртвые – своими стали,
Родной сосед был незнаком...
К сверкающей и сладкой стали
Я примерзала языком.

...У нас читать учили рано
И так рыдала за стеной,
Что в форме странного тумана
Вставала жизнь передо мной!..

Второе дыхание

Год, как невеста под венцом:
Уже почти написан Битов,
Нагнулось небо вниз лицом,
Чтоб знать своих космополитов.

Как сахар в чае, тает век,
Что был железным, кроме шуток,
И даже прошлогодний снег
Лежит немногим больше суток.

Январь совсем в коленках слаб...
Томление взламывает семьи,
Вот-вот залётный баобаб,
Как зуб, взойдёт в Нечерноземье!

То – осень, то на миг – зима,
То солнце ищет пальцем щёлку...
(А в тридцать шесть сходить с ума –
Как в юбке залезать на ёлку.)

Но всё смятение кругом –
Дыхание второе прочит,
И тебе сдаюсь бегом,
Быстрее, чем мой язык бормочет, –

Как выюжит,
Как сгибает рожь,
Как гонит ветровую дрожь,
Как топчут в почву семя злака,
Как в переводе Пастернака
И Тот и Этот мир хорош!

* * *

Да, я бывала молода:
Меня на праздник запирали,
И ключ с собою забирали,
И уходили навсегда.

А в кухонном окне во двор
Всё было скучно, как на даче.
Ребёнок тихо-мирно плачет,
И подпевает русский хор.

Я долго в дверь ногой стучала,
Как кошка из окна скучала,
Потом слезала по трубе
И в тапочках брела к тебе.

А праздник был одет как надо,
И посреди всего парада
Другая шла по мостовой
И умудрялась быть живой.

При всей своей роскошной плоти
Она счастливою была,
Пчелой беспечною в компоте
Покачивалась и плыла.

«Мне самый лучший будет мужем,
Я шью, танцую и пою!»
И как подол, идя по лужам,
Приподнимала тень свою.

* * *

...И только молодость бессонна:
Час песен, поцелуев, драк...
Как привиденье граммофона,
Белеет клумбовый табак.

Уже темно читать по-польски –
Вложи в журнал последний луч...
...Похож на полуостров Кольский
Рукав одной из гончих туч.

Свет электрический – пергамент,
И свет русалочий – с небес...
Проскачет ветер вверх ногами,
Как дикий пушкинский черкес.

И музыка – шестиголова:
У той, что справа, – сильный альт...
На полпути лежит подкова,
Корнями вросшая в асфальт.

Размокли тени-промокашки...
И город переходишь вброд,
Как бабочка в ночной рубашке, –
Ладони вытянув вперёд...

* * *

Скончался дождь.
Лишь из мельчайших ранок
Сукровичные капли моросят,
Да на запястьях граждан и гражданок
Фаллические зонтики висят...

Прочувствовав непрочность нашей жизни,
Пьют пиво, точно кончится оно
Быстрее, чем всё, что кончится в отчизне...
И смотрят итальянское кино,

В забвении дремать оставив душу...
Зависло солнце, как в воде живец...
...Забывшись, уронил золотую грушу
В серебряную лужу продавец,

Забывшись, подобрал её прохожий,
Очнувшись, продавец её отнял
С присущим словом... Змей зеленокожий,
Забывшись, обвивал пустой фиал

В виду больницы. Дождь и тот скончался.
Шло бытие неведомо куда...
Мне бывший муж случайно повстречался:
С него текла забвения вода.

Незванные гости

Светлячками пахнет над садом сад
Темноты небес,
Пахнет мокрый свет
Кем-то бывшим вчера
И на конденсат
Собираются гости, которых нет.
Им росы хватает и темноты
И сверчинный зуд,
Комариный звон –
Перебор,
Как ягоды и цветы
И пустая посуда со всех сторон...

Что мяснее памяти шашлыка,
Крепче духа
Выпитого вина?!
Но уж там, за воротами, подана им река
Как дорога к Свету и даже с крыльца видна...

На день рождения художника

Жизнь ничего о Смерти знать не хочет –
Таким большим им в Божьем мире тесно!
Всяк о себе печётся и хлопочет...
Всё знает и молчит Отец Небесный.

Гора – горит. Вода кипит вдоль лавы.
Душа меж ними обжигает крылья.
И те, кто правы, с теми, кто не правы,
Прикладывают равные усилия.

...Творец приемлет ход любых борений –
Их суету, отчаянье и скрежет,
Но он ТВОРЦА из всех своих творений
Вылушивает, пестует и нежит!

А что ему даёт иль отнимает,
Елеем ли, зеленкой лоб намажет –
То знает Жизнь...

И Смерть, наверно, знает,
Но никому об этом не расскажет.

Александр ПЕРФИЛЬЕВ (1947–1996)

Поэт, музыкант. Учился на физико-техническом факультете в Горьковском политехническом институте им. А.А. Жданова. Позже, следуя призыванию, поступил в Горьковское музыкальное училище по классу композиции, а затем в Ленинградский институт по специальности звукорежиссёр. Работал на киностудии им. Довженко. Писал музыку для спектаклей Театра эстрадных миниатюр политехников и Студенческого театра Горьковского института инженеров водного транспорта «Алый парус». С 1973 года по 1975 год был руководителем вокально-инструментального ансамбля в ТЭМПе и в это же время руководил вокальным ансамблем политехнического института.

Участвовал в работе поэтической студии Б.Е. Пильника. Публиковался в периодических изданиях, в антологии «Городское кольцо» (Н. Новгород: «Книги», 2024) и «Эхо забытых строк» (Н. Новгород: «Книги», 2025).

Я, КАК ОТ БЛОХ, ОТ УМНЫХ СЛОВ УСТАЛ...

Гуляя по Тихоновской

Укусив себя за хвост
в паутине параллельностей,
мой дрянной, развратный мозг
исступлённо ищет
цельности.
Рамки личного тесны:
восприемлю,
как нормальные,
фантастические сны,
еретически реальные.
Сумасшествие грядёт
и придёт, наверно, вскорости.
Но отрадно:
под дождём
поджигать вязанки хвороста.
Бестолковый книжный блуд
наверстован в гранки черепа...
Вечный искус, вечный зуд –
выйти за
и прыгнуть через –
но,
сам себя поймав в мозг,
я сдаюсь, я побеждён,
пусти...
И смываю водкой с губ
жжёный сахар отчуждённости.

Автобиография

Я от долгов к долгам бегу
и вечно по уши в долгу.
Однажды задолжал в роддоме
и расплатиться не могу.

Гороскоп

Когда я вырасту большой
и буду толстый и плешивый,
я заменю автомашиной
всё то, что прежде звал душой.

Манера творчества

Я просто жду, пока стихи,
ко мне явившись сами,
асфальтоцветные деньки
расчертят полосами
весёлых строк.
А до того —
молчок.

* * *

В эту ночь все люди спали,
я уверен. Я проверил:
я стучал тихонько в двери —
мне нигде не открывали,
ни в одном не видел доме
я бессонного огня —
в эту ночь все спали, кроме
разве только что меня.
Этой ночью люди спали,
кто — с женой,
кто — без жены,
этой ночью все видали:
кто — цветной,
кто — просто
сны.
Спали люди,
спали разно:
кто — по струнке,
кто — вразвал,
кто — во сне ругался грязно,
кто — бессвязно ворковал.
В снах мучимы
мертвечиной
трудно схлынувшего дня,

словно мальчики,
мужчины
ёрзали по простыням.
И, вложив в ладони душу
(сон так сон,
чего уж тут?),
мяли женщины подушки,
как своих мужей
не мнут.
Чутким сном дремали старцы –
не проспять бы
смерти час! –
Под багровым диском Марса
спит спокойно
кто из нас?
Разве только дети сладко
спят в игрушечных кроватках,
только их уводят сны
вглубь загадочно-прекрасной
доброй сказочной страны.

В защиту возраста

Два прутика перед собой я ставлю:
один – засох,
другой – пахуче-свеж.
И вижу –
никого я не заставляю
поверить в то, что тот, засохший, нежен,
что блеск его изящно-благороден
(тот матовый, древесный, мягкий блеск),
что недоступная живой природе
в нём красота.
А тот, что не облез,
что сохранил коры своей душистость
и пух зеленоватый над корой, –
что говорить?
Ну нету в нём души-то,
да и откуда:
он ещё сырой,
ещё зелёный.
Но изгибом нежным
вокруг руки тот прутик обернут
и скажут:
«Видишь? – вот.
А твой валежник
и сух, и чёрств.
Какая ж нежность тут?»
Ну ладно, я не буду спорить с вами,
я всё вам на примере покажу.
Возьмите оба
и внесите в пламя –
зелёный пустит дым из-под кожур;

сухой,
огня глотнувши,
возгорится
и нежное тепло вернёт сторицей.

Ночь

Какая ночь!
Развесистый ивняк
в ладонях нежит сонную реку.
В такую ночь
ну разве что дурак
уснёт назло другому дураку.
Мне хорошо,
так дивно хорошо,
что не поймёшь —
на сердце радость? грусть?
Мне хорошо.
Я от костра ушёл,
меня, наверно, ищут — ну и пусть!
Деревья в лунном свете, как зверьё
доверчивое, доброе, моё.
По небу звёзд рассыпан порошок.
Какая ночь! Как хорошо!

Вербa

Сбросив тягостный снег,
распрямятся спины
ветвей,
распускаются вербные почки,
подставляя доверчиво
вешней сини
пену розово-белых
цветов — комочков.
Словно стылые пальцы,
дрогнут красные ветви,
а в суставах-кореньях года скрипят,
а ствол потрескался...
Но опять
цветёт по весне неуёмная верба.
Не веруя в магию зимних снов,
и чёрных слов,
и дурной погоды,
верба всегда молода весной,
а весна обязательна
каждому году.
А весна обязательна
жизни каждой
после каждой зимы,
после каждой беды...
И над стылой планетой струится отважно
нежный розово-белый дым.

Не самый удачный концерт

Эй, куда вы?! Да-да, вы, с гусями.
Здесь ведь всё так гобойно и арфенно:
слева – скрипки, смычковым кустиком,
справа – медь золотится царственно.

.....

Вспыхнул свет под остатки музыки,
зритель вежливо аплодировал,
дирижёр во фраке кургузеньком
наклонял белоснежной груди овал.
Выходил, от смущенья сиреневый,
композитор и ждал овации,
нервно тискал букетик сиреневый,
хоть и знал – от администрации.
А потом была пьянка с бабами
и хмельная слеза.

А на завтра был
разговор дирижёра с автором
о причинах успеха слабого.
И сходились на том, что слушатель
ждёт мелодии сердцу родственной.
И не станет восторженно слушать тех,
Кто эстетствует или юродствует.
Он, пресыщенный атонализмами,
он, с торчащими в нервах синкопами,
хочет музыки простенькой, искренней,
пряно-нежной, как запах укроповый,
да ещё, чтобы было в ней русского
колориту, хотя немножко бы.

.....

Стойте! Стойте! Куда вы, с гусями?!
Пропустите вот этого, с ложками.

* * *

Я, как от блох, от умных слов устал.
Как скажут умное, во мне протест:
Ведь надо думать, что там неспроста
И где там соль, мораль, контекст, подтекст...

Где тонкий юмор, где Монблан ума...
И надо чутко чувствовать, где чувства
Высокие (Хемингуэй, Ремарк),
Иронией поперченные густо.

Знакомят с человеком: «Меломан,
Знаток театра, графики, философ,
Мужик незаурядного ума
И говорит так образно, так броско –
Ну, словом, он тебя обворожит».

Знакомят – он берёт меня за локоть
И мухой надоедливой жужжит,
То с юморком, то с пафосом глубоким,
Стишки читает, томно подвывая,
Кокетливый, как лошадь в невесомости.
А я сосредоточено киваю,
Разыгрываю заинтересованность.

Мне этот тип людей давно знаком:
Спроси о политической позиции –
Ответит с саркастическим смешком:
«Как водится, в лояльной оппозиции».

О Достоевском с пенными устами:
«Он разным вашим Горьким не чета!»
Но если он читал его местами,
То Горького уж точно не читал.

Булеза, Берга хвалит упоённо
И Хиндемита ценит высоко,
Но будет затруднён определённо
Сказать, кто автор оперы «Садко».

Я знаю наизусть его слова,
Я знаю наперёд его остротки,
А он шипит, как тульский самовар,
Переболевший лёгочной чахоткой.

А он звенит полуночным трамваем,
Своим словодопадом упиваясь,
Стараясь изъясняться позанятней...
Ах, глупая ты птица – соловей!
Мне с человеком помолчать приятней,
Когда молчит приятный человек.

Наталия ЮРКЕВИЧ

Русский поэт. Родилась в посёлке Куженкино Тверской области (в то время Калининской) в семье военнослужащего. В 1977 году окончила Латвийский Государственный университет. Работала в различных учебных заведениях, занимаясь воспитательной работой.

Публиковалась в литературных альманахах «Глаголь», «Граждани»), в журнале «Нижний Новгород». Автор книги «Последнее окно». На стихи написаны песни, в частности рок-группой «Терней».

Живёт в Даугавпилсе, Латвия.

...И МОЖНО ВИДЕТЬ «ЗАВТРА»

Поезд

Над верхней полкой только потолок.
Над нижней – кто-то вертится во сне.
Куда людей ты, поезд, поволок:
Навстречу утру, будущей весне?
А, может, в рабство самых крепких уз,
В которых можно таять и тонуть,
На время спрятав свой козырный туз –
Святое право на обратный путь?
Забыть не трудно всё, что было до,
Себя случайным зельем веселя.
А за окном обрывки городов,
Обломки сёл и бледные поля.
Да ерунда. Тебе ведь не сюда.
Перевернись на правый бок и спи.
Но как уснёшь тут, если поезда
Не каждый день срываются с цепи.
Под утро в сон провалишься с трудом
И вдруг поймёшь, едва сомкнув глаза:
Чем дальше ты,
Тем лучше виден дом,
Который ты покинул день назад.

Шумел камыш

Минуты вскачь. Шаги – все тише... тише...
Ещё не весь растрочен наш лимит.
Шумел камыш... Но кто его слышал?
И знал ли кто, о чём камыш шумит.
Кому бокалы, а кому стаканы.
Кому до дна... кому-то – лишь глоток.
Сбежались в стаи сосны-великаны,

Плечом к плечу... несут свой долгий срок.
А люди тоже ищут, где теплее,
Куда приткнуть наивные слова.
Устал камин. В нём что-то тихо тлеет.
Я знаю что. Она ещё жива.
Надежда есть в просторной тихой песне,
В последней капле, что лежит на дне.
Надежда есть... в любом коротком «если»,
И в тишине, и в маленьком окне,
И в ледяной прохладе улиц узких,
И в суете несущихся машин...
...Шумел камыш воистину по-русски.
А как ещё умеют камыши?

Берёзки-28

Я вас прошу – поголосите,
Чтобы взяло и проняло.
Ведь адрес ваш – не Суперсити, –
Обыкновенное село.
А что умеют девки в селах:
Сажать, косить и голосить.
И всем неистово веселым
Легко живётся на Руси.
Не важно, полем или лесом
Они бегут или бредут,
Но настоящие принцессы
На свежем воздухе растут
И наливаются румянцем,
Умом и чем-то неземным,
И потрясают легким танцем
Приезжих из чужой страны.
Хотя... теперь намного реже
Всё это встретишь наяву:
Вода чиста. И воздух свежий.
И люди редкие живут.
Любую боль снимают баней.
И не умеют без забот.
Зимой – телега. Летом – сани.
(А иногда – наоборот.)
Пейзаж спокойный и неброский
Понятен сердцу и уму.
Но как девчонки из «Берёзки»
Плывут? Ей-богу, не пойму...

Коммуналка

У Маруси всегда котлеты.
А у Маши пустые щи.
Хочешь, думай всю жизнь об этом
И разумный ответ ищи.
Но найдётся ответ не скоро.

Если есть он, простой ответ.
Муж Маруси – усталый боров
И съедает по пять котлет.
А у Маши... да что у Маши?
Старый пёс и наивный кот.
И будильник, который пляшет
По утрам и нахально врёт.
У Маруси сегодня гости.
Три кастрюли пускают пар.
Кот заманчиво сделал мостик,
Пёс... хотел. Но он суперстар.
Соблазнителен запах фарша
И какой-то другой еды.
Но домой загоняет Маша
Эту пару своих гнедых.
И они замирают тихо,
Согревая её постель.
А зима разгулялась лихо:
То метель... То опять метель.
Дни один на другой похожи,
Хоть считай, хоть в окно смотри.
Раздаются звонки в прихожей,
Чаще два. И ни разу три.
А Маруся смеётся звонко,
Будто нет никаких забот.
И звучит из-за стенки тонкой
«Манжерок» или «Чёрный кот».
У Маруси пластинок много
На любой утончённый вкус.
А у Маши... видна дорога
Из окошка. И это плюс.
Снег идёт всё слабей и реже.
За стеной Горовец поёт.
На диване грустят всё те же,
Старый пёс и наивный кот.
Ловят звуки в четыре уха,
Подавляя невольный вздох.
(Обладают сверхчутким слухом
И умеют считать до трёх.)
Потому и рванули к двери,
Будто ветер с дивана снёс.
Вот такие у Маши звери,
Кот наивный и старый пёс.

Босоножка и сапог

Часы всё так же: тик-и-так, неторопливо, понемножку.
Не знаю, может, неспроста в моей прихожей босоножка
Лежит, загадочно искрясь, вся в мелких камешках и стразах.
Не только снег, но даже грязь она не видела ни разу.
Не показали ей траву и лес, и речку, и болото.
Она не знает, как живу, как добираюсь на работу,

Чем утоляю аппетит и успокаиваю нервы...
Она блесит себе, блесит, себя воображая первой.
А тот, кто к ней излишне строг, наверно, прав, но лишь отчасти.
Она не вышла за порог. И что? Возможно, в этом счастье.
Она свежа, она чиста и никогда не будет старой.
Вся жизнь понятна и проста. К тому же... можно жить без пары.

Лежит, забившись в уголок, всё в тех же камешках и стразах,
И на резиновый сапог слегка косит лиловым глазом.
А он и бровью не ведёт (допустим, что имеет брови).
Но мне уже не первый год он служит верой и любовью.
С другим таким же, только он всегда себя считает правым,
Хотя у них один фасон. А в остальном – имеет право.
И снова время: тик-и-так. Под старой лампой вьются мошки.
Всё хорошо, но мне никак не обойтись без босоножки,
В которой толку – ровно грош. (Она у нас невыезная.)
И если ты сюда придёшь, что делать, обе мы не знаем.
Волнуясь, слушаем шаги. Торчим у скважины замочной.
Не спим... И только сапоги стоят уверенно и прочно.

Это дождь

Листья настроились и летят.
Нет, не на юг, а вниз.
Каждому овощу – свой салат,
Каждому – свой каприз.
Каждой минуте своя печаль,
Свой озорной диет.
Если не можешь, не отвечай
Глупыми СМС.
Каждый из нас всё равно один
В мире больших проблем.
Сколько на нас упадёт дождин,
Чтобы хватило всем?
Их ни считать, ни делить – никак.
И среди бела дня
Капля за каплею... бряк да бряк,
В лужу, в тебя, в меня.
Больно? Да нет. А скорей смешно,
Даже щекотно чуть.
Души имеют двойное дно,
В них нелегко нырнуть.
Вот и несём, расплескать боясь
Жемчуг и лёгкий стих.
Только с дождём установишь связь –
Он притмирел и стих.
Это такая крутая смесь
Холода и тепла.
Знаю, что точно он где-то здесь,
Смотрит из-за угла.
Скоро прольёт на тебя опять
Всё, что копил, берёт.

Может быть, долго придётся ждать
Новых случайных строк.
Только ведь осень дана на то,
Чтобы ускорить шаг,
Сбросить страховку, надеть пальто,
Тонкое, как душа.

Иноходец

Чем тоньше нить, тем легче рвётся.
Хотя... смотря какая нить.
Он записался в иноходцы,
Хотел по-новому ходить,
Лететь, скакать за гранью правил,
Рисуя незнакомый шаг,
И аккуратно ноги ставил
Не так, как требует душа.

Но есть волнующее что-то
В ещё не познанном, ином...
И он старательно работал,
Мечтая только об одном:
Навстречу утреннему солнцу,
Назло ветрам, назло врагу,
Промчаться гордым иноходцем
И не споткнуться на бегу.

Как сладостно преодоление
Инстинктов, правил, тайных тяг...
Свободу обретает пленник,
Который сделал всё не так,
Вознесся над небесной высью
И над началом всех начал...
...А по ночам он бегал рысью.
Он был собою по ночам.

Моя непрожитая жизнь

Пышным цветом цветут сорняки у меня в огороде.
К непогоде, наверно, так низко летают стрижи.
А моя Непутёвая тихо за окнами бродит.
Вроде как бы её мне положено было прожить.
Не срослось, не случилось, друг друга в толпе потеряли.
Закружилась листва и сгустилась осенняя муть.
И котенок смешной задремал на моем одеяле.
Мне пора бы идти. Только жалко беднягу спугнуть.
Задержалась на миг. Опоздала к столу и к раздаче.
Что-то мимо прошло. А чему-то не быть никогда.
Даже плакать, наверно, могла бы я как-то иначе,
Забывать и любить, и прощать, и менять города,
И себя обвинять в равнодушии снова и снова,
И нелепо топтаться, теряя ключи от дверей...

Только вот почему называю сейчас непутёвой
Ту, которая так никогда и не станет моей?
Не моя и ничья... Неприкаянно ходит по свету
И пытается как-то привлечь мой рассеянный взгляд.
А потом, загрустив и дотла докурив сигарету,
Осознает, что нет и не будет дороги назад.
Не пришлось ко двору или просто свой час проморгала,
Не смогла соблазнить преимуществом лёгких дорог.
Я бы тоже, пожалуй, была бы не против с начала.
Но боюсь, что на Небе уже нарисован итог.
Вот такие мы обе. Возможно, друг другу подходим.
Только каждая сделала где-то и что-то не так.
Ты иди. Не грусти. Я в порядке.
В моём огороде
Дорог каждый клочок и травинка,
И даже сорняк.

Последнее окно

Вечерний город – это домино.
Вечерний город – сложный собеседник.
Пока горит последнее окно,
Я знаю, утро будет не последним.
И пусть оно не будет мудреней
Всех вечеров, устало обреченных,
Пусть замаячит облаком в окне,
Дождем прозрачным, медленным и сонным.

Пусть обещает что-нибудь потом:
Случайный взгляд, нечаянную встречу...
Набросил город серое пальто
И в нем гуляет утро, день и вечер.
А снега нет уже давным-давно.
Но он нагрянет, как всегда, внезапно.
Пока горит последнее окно,
Не так темно. И можно видеть «завтра».

Олег РОЙ

Родился в 1965 году в Магнитогорске, Челябинская область. Окончил психологический факультет Магнитогорского педагогического института по специальности педагог-психолог. Работал директором детского отдела Магнитогорской школы-интерната. Затем переехал в Швейцарию, где прожил десять лет, там же начал заниматься литературой.

Автор более 60 романов, от комедии до мистики, и множества статей в популярных изданиях, посвященных политике, экономике, бизнесу, социальным проблемам. Некоторые его произведения экранизированы. Лауреат премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства (2023). Награжден медалью им. Ивана Бунина, медалью им. Василия Шукшина, медалями Министерства обороны «Участнику военной операции в Сирии», «Участнику Специальной военной операции», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Член Союза писателей России. Живет в Москве.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ

Глава 1. Штурма

Его так и не смогли убить.

Израненный, почернелый, обожженный – он все еще стоял. И небо лежало на искореженных его плечах...

Снег уже сошел, и, повинаясь апрелю, из-под камней, из-под осколков, из-под покореженных траков мертвой техники там и сям показывалась зелень. Словно знак – эта земля еще не убита, исковерканная, измученная, она еще жива.

(Дневник Автора)

Крепкий мужчина в выдавшем виды камуфляже и балаклаве, закатанной так, чтобы не прикрывала лицо (в таком состоянии она выглядела как обычная лыжная шапочка), одним движением сдвинув за спину АКС на коротком ремешке, не особо скрываясь, отступил от окна вглубь тёмной комнаты. Под берцами тихо похрустывали осколки стёкол и кирпичный щебень, выбитый из стен пулями.

– Что там, Серый? – спросили у него из темноты.

– А что там должно быть? – ответил вопросом на вопрос боец с позывным Серый. – Укропа на север гонят, от нас до них километра полтора по застройке будет...*

В голосе Серого слышалась досада.

Из темноты появился ещё один боец – высокий, кряжистый, чем-то похожий на былинного богатыря кисти Васнецова. Образ дополняла спутанная борода, которую тот иногда поглаживал здоровенной ручищей:

* Здесь и далее позывные бойцов изменены.

– Во-первых, ДРГ* ещё никто не отменял, – заметил он. – Этой пакости на той стороне как грязи, а бороться с ними, сам понимаешь, сложно...

– Любишь ты, Шатун, долгие рассуждения, – проворчал Серый. – Скрысами вон тоже бороться сложно, а наш Запал как-то справляется.

Запалом звали серого кота, жившего в базовом расположении их штурмового батальона. Подобрали его три месяца назад худым, замёрзшим котёнком размером с ладонь Шатуна, а тот, едва отогревшись, притащил своему спасителю – Серому – огромную крысу и с тех пор исправно «защищал тылы подразделения» от маленьких, но вредных мародёров. Крыс Запал убивал, но не ел – любимца подразделения и так кормили до отвала, но на его охотничьих способностях это не сказывалось, хотя абрисом своим Запал всё больше приближался к идеальной форме мехового шара.

– ...а во-вторых, думаешь, я не понимаю, чего ты ерепенишься? – спросил Шатун.

– С каких это пор, командир, ты у нас телепатом заделался? – зло спросил Серый. – может, на «Битву экстрасенсов» пойдёшь, раз такое дело?

– Может, и пойду, – степенно кивнул Шатун. – Как укропа добьём. Разгону там их всех, дармоедов. Знаешь же, как наш батюшка Андрей их любит?

Отец Андрей был батальонным священником. Как-то раз он увидел, что один из бойцов, Дрёма, смотрит на PSP это шоу, и целую лекцию прочитал об оккультизме. Благо за примерами далеко ходить не надо было – вон они, примеры, по ту сторону ЛБС, бегают, свастиками да вольфсанхелями обколотые. А с чего всё начиналось? Украина среди стран бывшего СССР была чемпионом по этой чертовщине – отсюда выползли и Кашипировский, и Чумак, и знаменитое «Белое братство». С чем только не заигрывали на обоих берегах Днепра, вот и доигрались...

Вспомнив Дрёму, Шатун замолк, да и Серый не спешил нарушать тишину; Дрёма погиб тремя днями раньше, прикрывая выход мирняка из подвалов Дома культуры. Сам Дом культуры смутно виднелся в сумерках позади Никольского храма, который, в свою очередь, был прекрасно виден из того окна, от которого отошёл Серый.

Погиб, прикрывая собой женицин, детей и стариков, по которым наши открыли огонь, едва поняли, что их заложников освободили.

Минута молчания тянулась недолго. Серый, кашлянув, спросил:

– Шатун, можно мне подышать? Уши в трубочку сворачиваются уже. Главное, что срисовать нас тут всё равно некому, но я аккуратно...

– Дыми уж, куряга, – махнул рукой боец с позывным Шатун. – Но огонёк прикрывай, бдительность терять не стоит. С теплака на раз срисуют.

Серый что-то проворчал и принялся прикуривать, предварительно присев на корточки, чтобы быть ещё незаметнее.

– Так что, по-твоему, я думаю, командир? – спросил он, с удовольствием затягиваясь. Сигарету боец держал так ловко, что огонька даже вблизи заметно не было.

* ДРГ – диверсионно-разведывательная группа; на практике ДРГ Украины – хорошо организованная и оснащённая шайка головорезов, призванных кошмарить мирное население в тылу и (если повезёт) наносить удары по нашим коммуникациям, совершать диверсии и т. п.

– Ежу понятно, злишься, что тебя в тыл засунули, – ответил Шатун, тоже присевший на корточки. Курить он не собирался, присел просто за компанию. – Но, во-первых, это всё равно боевое задание – если на ту сторону просочится, что тут будет завтра, укроп задницу на свастику раздерёт, но нагадит.

– Да что тут может просочиться? – удивился Серый. – Через серую зону?

– Что угодно, – ответил Шатун. – Нас тут хоть и принимают, как родных, но среди местных есть те, кто нам не рады. Те, кто к укропам присоседился, пока они тут барагоздили, наш приход им всю малину обломал. А уж как весточку на ту сторону послать, тысяча способов есть. Рано булки расслаблять...

– Я думаю, – рассудительно заметил третий боец, которого до этого скрывала царящая в комнате темнота, – что не будут они на мелочи размениваться. Жахнут артой, и всех делов... Сам видел, что с храмом сделали, ироды...

Боец был худой, настолько худой, что в темноте его глазницы казались провалами черепа; за свою худобу он получил удивительно точно описывающий его позывной Толстый, который потом изменился на Толстой, хотя склонности к написанию эпических романов у бывшего уроженца Донецка, двадцать лет проработавшего на Кузбассе, пока не наблюдалось. Толстый тоже присел на корточки и вопросительно покосился на Серого. Тот немедленно протянул ему открытый портсигар с крупной вмятиной на крышке.

– Сейчас уже не тот у них расклад, чтобы направо-налево снарядами разбрасываться, – ответил Шатун, глядя на подкуривающего Толстого. – Хотя могут, с них станется. Ну, да все под Богом ходим. А ДРГ заслать им проще будет: передок рыхлый, в тылу ещё с десяток очагов сопротивления не подавленных...

Из заоконных сумерек, как будто специально, чтобы подтвердить слова Шатуна, донеслась длинная очередь. Стреляли вдалеке, но из чего-то крупнокалиберного. Впрочем, Шатун сразу определил, из чего:

– Слышишь? Браунинг работает, крупнокалиберный. А ты говоришь, безопасно...

– Так, может, трофейный, – пожал плечами Седой. – У Мохнатого вроде был такой, они его с хамви сняли...

– И что, решили на ночь глядя выпустить остатки боекомплекта? – ехидно спросил Шатун. – Скорее всего, опять джихадомобиль прорвался. Может, и по нашу душу... ну, не по нашу, конечно, а по отца Иоанна...

* * *

Апрель 2022. Спецоперация, начавшаяся в феврале, только набирала силу, приноравливалась к местности, училась, как удобнее уничтожать заполонившую эту землю чуму. В подземельях «Азовстали» ещё прятались, как крысы, нацисты из «Азова»*, рассылая из-под земли злобные, а после все чаще жалобные твиты и вопли о помощи. Российская армия, ЧВК «Вагнер» и ополчение республик Донбасса шли плечом к плечу, наглядно доказывая, кто тут оккупанты, а кто настоящие воины, идущие освобождать свою землю.

* Террористическая организация, запрещена в России.

Быстро доказали.

Быстро, но не легко.

Наши штурмовые группы, ворвавшиеся в Попасную, оказались в окружении – и продолжали сражаться, очищая от нацистской мерзости дом за домом, переулок за переулком. Месяц они не просто держались в окружении, они наступали – феномен в истории войн почти невиданный! ВСУ тогда, в самом начале СВО, была еще свежа, нашим бойцам противостояли лучшие части укровермахта, натасканные западными инструкторами, отлично мотивированные (точнее сказать, перепрошитые), вооруженные лучшими образцами оружия – и западного, и того, что сохранилось на советских еще складах. Советское, к слову, нередко оказывалось эффективнее поделок сумрачных натовских «гениев». Но самым важным была, конечно, вбитая в укровояк уверенность, что Россия – колосс на глиняных ногах, поднажми – и упадет. И они – нажимали. Кого-то притянули шальные деньги (их тогда еще платили), но многим просто нравилось стрелять. Они хохотали: «русня» влезла в мышеловку, вот мы их сейчас...

Наши бойцы, однако, оказавшись в окружении, не просто держались – они наступали! Не три дня, не десять – месяц! Дом за домом, квартал за кварталом.

(Дневник Автора)

– Вот же собака... – было видно, что боец с позывным Шумахер хотел высказаться покрепче, но с недавних пор в их штурмовой группе и некоторых других на мат бойцы наложили самозапрет. Почему? Да потому, что их враги матерятся, как бесы. Они матом разговаривают в прямом эфире, не стесняясь. Вот и сдерживают бойцы крепкое слово, хотя иногда так сложно. Взять, к примеру, Серого – штурмовика из пятёрки Шатуна. Парню чуть больше возраста Христа, а весь седой, отсюда и позывной – раньше он был русым, и его седина по цвету похожа на шерсть волка. Раньше... не так давно, кстати. В феврале. А потом зашёл в один дом...

Богатый дом был, двухэтажный. Большая семья жила. Муж и жена – врачи, четверо детей, престарелые родители жены...

Двор у них так располагался, что из ворот вся улица видна была, – хорошая позиция. Во дворе дома нацики поставили «Рапиру». Долго она мешала нашим бойцам. Наконец, две пятёрки – Шатуна и Торопыги – зашли во фланг и тыл этой позиции. В коротком бою пушка была уничтожена вместе с расчётом. Дом штурмовики тоже обыскали на предмет скрывающихся недобитков. Серому достался подвал.*

Вся семья была там; конечно, люди были мертвы. Перед смертью их пытали – включая детей и стариков. Зная нрав бандеровцев, не особо впечатлительный Шумахер даже не хотел себе представить, как это было. Ему повезло – он этого не видел. А Серый видел и за ночь из русого стал седым. Серым.

* «Рапира» 2А19 (МТ-12) – 100-миллиметровая противотанковая пушка особой мощности. Способна пробивать лобовую броню практически любого современного танка, даже оборудованную активной защитой. Аналогов в странах НАТО не имеет, но некоторое количество таких орудий попало в руки националистов бывших республик СССР. К настоящему моменту большая часть таких орудий была передана ВСУ и уничтожена в ходе СВО. В Российской армии продолжает оставаться на вооружении и совершенствоваться.

Сейчас Шумахер стоял в сужающемся проходе между домами, удерживая за заломленную руку бандеровца. Рожжа нациста была в грязи – он пытался сбежать через этот узкий проход, споткнулся и упал рылом прямо в месиво из грязи и подтаявшего снега. Шумахер за шкирятник поднял его и поставил на ноги, а потом заломал руку нацика, когда тот попытался снизу вверх ткнуть его в живот каким-то «пёрышком» – каким именно, Шумахер в сумерках не рассмотрел. Лезвие скользнуло по пряжке отцовского армейского ремня, выскользнуло из потной ручонки нациста и улетело куда-то под забор.

Повезло? Может, и так. А может, это не просто везение – ремень ему отец подарил, он с ним был в ГСВГ*, в девяносто первом, когда наших солдат долго не могли вывести с территории ГДР, а потом, когда вывели, на полгода оставили в полевых лагерях, где не было ни питания, ни обогрева, ни чистой воды... вроде мирное время было, если не считать разгоревшихся в бывших республиках СССР военных конфликтов, а всё равно – как война.

У солдат часто бывают талисманы. Как правило, какие-то вещи, связанные с домом, с родными. У Шумахера вот таким талисманом был отцовский ремень. Славка (так звали Шумахера по паспорту, Вячеслав) верил, что, пока тот на нём, ни пуля его не возьмёт, ни осколок. А тут, выходит, пряжка его живот спасла от предательского удара – не зря, выходит, верил...

– Далеко собрался, болезный? – поинтересовался он у пленного. – Ты не спеши, мы с тобой сперва поговорим по душам, а там видно будет... сам пойдёшь, или тебя ряхой об забор приголубить.

– Сам пойду, – пленный сплюнул, и Шумахер простил ему эту вольность – небось, при падении в рот боевика набилось грязи, пусть сплюнет, от нас не убудет. Пятясь задом и не ослабляя захвата, он поволок своего пленника к выходу из каменного тоннеля.

Ещё не выйдя на оперативный простор, Шумахер услышал голос своего командира пятёрки, Пионера. Пионер, шестидесятидвухлетний отставник, был из Нового Айдара и, конечно, участвовал в его освобождении. Там позывной и заработал, когда показал, где его в пионеры принимали. Тогда Пионер ещё был рядовым, это потом он стал командиром пятёрки, уже здесь, в Попасной.

– Молодцы, красавцы, – по тону командира было понятно, что те, к кому он обращался, не молодцы и не красавцы от слова совсем. – Шесть человек заехало, пятерых завалили, один удрал... орлы! Трудно было хоть одного живым взять?

– За беглым вроде Шумахер подорвал, – проворчал Хома, ровесник Пионера.

– Догонит он его, как же, – усомнился Пионер. – Тут чёрт ногу сломит, в этом частном секторе...

– А вот и догнал! – бодро заявил Шумахер, выходя к затрофеенной бойцами «техничке» – джипу «Тойота» с крупнокалиберным американским пулемётом, съехавшей в неглубокий кювет после того, как ещё один боец пятёрки с позывным Хокай всадил пулю в водилу джихадо-мобиля. Стоявший за пулемётом боевик успел дать короткую очередь

* ГСВГ – Группа Советских Войск в Германии, армейская группа, дислоцировавшаяся в ГДР (Германской Демократической Республике) по просьбе правительства этой страны для обеспечения её безопасности от возможного захвата ФРГ (Федеративной Республики Германия). После аннексии ГДР ФРГ в 1991 году была выведена на территорию России.

в белый свет как в копеечку, а потом ДРГ попыталось сделать ноги, но, как видно, тщетно. – Гляди, какой кабанчик!

– Же... тьфу, Хома, ну-ка, подсвети, – скомандовал Пионер. Хома включил фонарик – вообще-то ими пользовались редко, полагаясь на ночное зрение и слух, – во-первых, чтобы не демаскировать себя, во-вторых, потому, что батарей было мало, а расходовались они быстро – тыл не успевал подгонять по «дороге жизни». Вообще, со снабжением было туго – к юго-западу от «дороги жизни» лежало село Богуславское, в котором нацики сделали мощный укрепрайон с позициями арты, танков и миномётов. Дорога у них была как на ладони, так что штурмы сражались, почитай, в полуокружении. Шумахер усмехнулся про себя – наступать в окружении – так только русский солдат умеет! Русский... не важно, какой национальности. Как говорил светлой памяти генерал Маргелов, «для врагов все мы русские».

Так что со снабжением было... ну, так себе. Не то что у бандер – тех НАТО снабжало всем, вплоть до, пардон, туалетной бумаги. Ну, бумага, то такое, а вот то, что у нациков были теплаки в товарных количествах, – это, конечно, не радовало. У наших теплаки ценились на вес золота, что отечественные, изредка приходившие по «дороге жизни», что трофейные.

Хома тем временем включил фонарик. В его тусклом свете Шумахер впервые разглядел того, кто пытался его убить, – обыкновенный дядька, худой как жердь, жилистый, с залысинами на круглой, шишковатой голове.

– А чё он грязный такой? – спросил Пионер. – Что, не поваляешь – не поешь? Не мог уже чистым привести?

– Споткнулся он, – ответил Шумахер. – Упал, а там грязюка...

– И так восемь раз подряд? – хитро прищурился Пионер. – Знаем мы ваше «споткнулся», небось, сам его в грязь мордой тыкал?

– Да ни боже мой! – поспешил откреститься от обвинений Шумахер. – Я что, зверь? Руку заломал только, он сам пошёл, сознательный...

– Некому берёзу заломати, – фальшиво напел Пионер, подходя к пленнику. – Некому в милицию отдать... ну, рассказывай, орёл...

– Что рассказывать? – не понял пленный. Он даже не сразу врубился, что Пионер обращается именно к нему.

– Как что? – удивился Пионер. – Имя, звание...

– Дима, – ответил пленный. – Э... в смысле рядовой Дмитрий Горбачёв. Позывной Меченый.

– Уже хорошо, однофамилец генсека, – кивнул Пионер. – Какова была задача вашей ДРГ?

– Чего? – захолоп глазами пленник.

– На кой ляд вы попёрлись в наш тыл на ночь глядя? – перевёл Пионер.

– Так это... не знаю я... – потупился пленный. – Я человек маленький...

– Маленький он, вы посмотрите... – фыркнул Пионер. – Такую жердь на огороде вместо пугала воткнуть, ни одна ворона не подлетит.

Он достал из ножен трофейную финку с эбонитовой рукоятью и задумчиво повертел её в свете фонаря Хома:

– Что там ваша пропаганда говорит про нас? – спросил он. – Орки, дикари, орда? Туфта это всё, конечно, но знаешь, говорят, ежели человека постоянно называть свиньёй, он захрюкает. Я вот человек мирный, не злой... был. А потом сюда приехал. Из клуба у Никольского храма заложников выводил на днях, а твои... – Пионер нахмурился,

вспоминая слово, – побратымы по ним стреляли – по женищинам, детям, старикам... Такая картина даже из кота Леопольда тигра сделает безо всякого озверина. Так что колись давай, ссы... кхм, чучело, пока я тебя этой финочкой резать не стал, морда бандеровская...

Говорил командир беззлобно, тихо, но что-то в его голосе было такое, отчего у пленного Димы затряслись поджилки.

– Задач было две, – сбиваясь, затараторил он. – Во-первых, разведать территорию Никольского храма. У нас ходят слухи, что там сохранились какие-то фрески...

– И чем вам фрески не угодили? – удивился Пионер.

– Ваши бойцы могут посчитать это за чудо, – объяснил пленный. – Командование хочет убедиться, что история с фресками – не байка. А второй задачей было найти и уничтожить группу гражданских лиц, в которую входит отец Иоанн...

Глава 2. Гость из Москвы

С «большой землей» Попасную связывала лишь «дорога жизни». Потом я увижу что-то подобное под Бахмутом: вздыбленная искореженная земля, напичканная металлом, изуродованная сплошными воронками. Кто сказал, что снаряд дважды в одну воронку не прилетает? Тот, кто не видел настоящей плотности огня.

Сюда летело все и почти непрерывно. В двух километрах от дороги на Попасную – рукой подать – село Богуславское. Нацисты превратили его в узел обороны, оборудовав позиции минометов, гаубиц, танков – дорога была видна из Богуславского как на ладони и простреливалась на всем протяжении. Наши машины шли ночью, с погашенными фарами, но – тепловизоров никто не отменял, снабжали ВСУ всем западным «миром», так что темнота, хотя и помогала, спасением не была. Вряд ли стоит сравнивать эту трассу с той, ленинградской, но тогда, восемьдесят лет назад, для шедших через Ладогу грузовиков хотя бы ночью опасность снижалась. Здесь – нет. Били круглосуточно и безостановочно. Но там, в Попасной, ждали наши... Ждали боеприпасов, медикаментов, да просто еды!

Дорога жизни.

Богуславское освободили на пятьдесят второй день Спецоперации бойцы сто четвертого мотострелкового полка армии России. Но даже в конце апреля, когда зубы нацистской гадины были уже основательно повыбиты, здесь еще можно было угодить под удар дальнобойной артиллерии.

(Дневник Автора)

– Здесь – последнее безопасное место, – сказал наш провожатый с позывным Мамай. Родом он был из Волгограда, а по происхождению – из донских казаков. Привалившись к крылу армейского «Урала», Мамай пыхтел крымской сигаретой, по привычке прикрывая её рукой, так, что огонька не было видно. Для теплаков такое прикрытие было бессмысленным, но до противника здесь было чуть больше трёх километров, и тепловизоры на таком расстоянии не брали.

Я ехал в Попасную. Там уже была моя команда, отсняла материал, а теперь я ехал туда – не только для того, чтобы увидеть всё своими глазами. У меня была ещё одна цель, можно даже сказать, миссия.

Вокруг была темнота. У машин горели только габариты, но когда мы выедем, погаснут и они. По «дороге жизни» мы будем идти в кромешной тьме, благо и погода выдалась пасмурная, даже звёзды не будут освещать нам путь. Вести машину, да ещё и на большой скорости, чтобы скорее проскочить опасный участок, может только водитель-ас, но даже такая сверхрискованная езда не гарантирует того, что по нам не ударят. На «дороге жизни» есть участок, по которому из Богуславского работают танки нацистов. Две-три машины, танки или БМП, у них всегда на дежурстве, и если нас заметят, останется уповать только на скорость и милость Божью.

Больше даже на милость Божью... если нас заметят, огнём танков всё не кончится – когда мы прорвёмся на сортировку, по нам ударят дальнобойные орудия. Раньше было хуже, но сейчас позиции миномётов в Богуславском почти зачистила наша арта. Зато остались более дальнобойные системы – «Мста-Б» и американские «топоры»*. Может, ещё что-то, ребята говорили, что летели от хохлов и французские, и немецкие снаряды. Из РСЗО по нам, конечно, шмалеть не станут – с боеприпасами, со слов того же Мамай, у них сейчас похуже стало, ради одинокого «Урала» с уазиком сопровождения они ракеты тратить не будут, а вот из гаубиц приглубят, к гадалке не ходи...

– Безопасное, – фыркнул сопровождающий нас боец с пугающим позывным Могила. Сам он считал свой позывной счастливым – уже третий раз трёхсотился, и все три раза легко, хотя каждый раз всё могло закончиться плохо. Сначала в него в упор шмальнул бандеровец на штурме, пуля навывлет прошла плечо, даже связки не задев. Второй раз беспилотник сбросил на него гранату, прямо в окоп, но та, срикошетив от каски, улетела за бруствер и там взорвалась. Третий раз он промахнулся магазином мимо сброса, нагнулся, чтобы поднять, – и словно плетью по спине огрели – очередь из пулемёта прошла, зацепило, конечно, но не нагнись он – был бы двухсотым... – какое оно, нафиг, безопасное? Скажи ещё, что беспилотники здесь не летают... да и арта порой прохаживается.

– Летают, – согласился Мамай. – И арта бьёт, ежели срисуют кого-то. А раньше и для профилактики два-три раза за ночь постреливали. Теперь редко, снаряды они берегут, шелудивые...

Он затаился и добавил:

– Но на дороге другой разговор. Там они стреляют будь здоров. Хорошо ещё, что миномётчиков и агээсников отогнали, раньше от них житья не было.

– Да уж, АГС с тепловизором – та ещё заноза в жо... кхм, – согласился Могила. – Броняшке-то от них ничего, не пробьёт ВОГ даже мотолыгу или БРДМ, а водилам доставалось. Но для броняшки у них птурсы были, да и скорость у танка или БМП не та, чтобы быстро проскочить, тут и на танк можно нарваться.

– А почему бы это Богуславское не зачистить? – спросил я. – Ну, артой там или авиацией...

– Ага, – беззлобно, но со скепсисом, ответил Мамай. – Слыхал я, что у вас там на гражданке каждый второй думает, что умнее за наш Генштаб. Я же не совсем сивопалый, тоже в интернет захожу... ну, не сам, положим, мне внучка показывает, любопытная она у меня, даром что третий класс. Тоже вот вопросы задаёт...

* Гаубица М777

Он ещё раз затаился и, сплюнув, заскорузлыми пальцами, потемневшими от въевшегося мазута, загасил огонёк сигареты, докуренной почти до фильтра:

– Бросать надо, Могила прав. Курильщик – мишень, которая ещё и сама себя подсвечивает. Могила вон бросил, а я всё никак... В Богуславке у них полноценный укреп, капониры из бетона под два метра. Чуть наши огонь открывают – они ноги в руки и туда. А капониру-то что сделаешь? Тут даже «Малка» не поможет, надо либо линкоровский калибр... либо просто «Калибр»...

– Либо ФАБ, – добавил Могила, подтягивая ремешки разгрузки. Я тогда не привык ещё ко всей этой амуниции, и его действия казались мне какими-то сакральными, наполненными неизвестным таинственным смыслом. – Но тут загвоздка другая. У них все их доты прямо посреди жилой застройки. И жителей они из домов не выпускают, прикрываются ими как щитом.

– Как здесь, в Попасной, – добавил Мамай. Могила кивнул.

– Ага. Ну сам посуди, какой здесь ФАБ? Какой «Калибр»? Мы и арту применяем ну очень ограничено, только на контрах с их артой по данным АИР*. Вот и долбим Богуславку второй месяц, почитай, хорошо хоть, предполье зачистили... но беспилотники летают.

– Далась тебе эти беспилотники, – кашлянул Мамай. – Ночь на дворе. И, кстати, светать уже скоро будет. Выдвигаться пора.

* * *

Попасная встретила меня тишиной. Да, откуда-то доносилась канонада, на севере шли бои, и на окраинах гул арты был слышнее. И все-таки здесь царило безмолвие. Мертвое безмолвие мертвого города. Наверное, если бы его превратили в щебень, было бы не так страшно – развалины и развалины. Но изуродованные – язык не поворачивается сказать «уцелевшие» – дома высились искореженными скелетами. Почерневшими от огня или «всего лишь» разбитыми – где-то торчала одна стена, где-то три, где-то вздымался почти целый дом – только окна выбиты да крыши нет... Почти целый.

И – ни звука, ни движения. Изредка прогрехочет по развороченной улице накрытая для защиты от вражеских прилетов «мангалом» боевая машина или промелькнет разведгруппа, осматривающая руину за руиной – не просочилась ли вражеская ДРГ, пробирающаяся в наш тыл. И снова – никого.

Ни птицы, ни кошки, ни даже крысы. Не говоря уж о людях.

(Дневник Автора)

Остановив «Урал» у того, что недавно было заправкой – крыша, ранее накрывавшая заправочную площадку изогнулась как японский бумажный журавлик «оригами», заправочные колонки валялись возле

* АИР – артиллерийская инструментальная разведка; предназначена для точной засечки вражеских огневых средств. Точность современных средств АИР достаточно большая, чтобы поразить стоящую между домами гаубицу, не причинив вреда окружающим зданиям, но применяемые артиллерией средства маскировки порой не дают возможности поражать огневые средства противника с гарантией того, что мирные объекты по соседству не будут повреждены. В этих случаях от прямого воздействия на арту противника приходится воздерживаться, чем беззастенчиво пользуются «вояки» ВСУ.

изрешеченных пулями и осколками ржавых цистерн, в которых когда-то было топливо, а от будки заправщика осталась грудa щебня, уже зарастающая чахлым бурьяном, – Мамай махнул рукой: мол, выходим наружу, и, не дожидаясь моей реакции, выбрался из кабины, тихо кряхтя. Я тоже выбрался наружу – очень хотелось размять затекшие от напряжения мышцы...

Мы молчали всю дорогу, словно в далёкой, но всё-таки слишком близкой Богуславке могли нас услышать. Дорога была напряжённой; только сейчас я почувствовал, как болят мышцы челюстей – всю дорогу я плотно сжимал зубы, да и всё тело тоже ныло от напряжения. Может быть, где-то существуют люди, способные спокойно ходить под обстрелом, но я таких не встречал и сам к таким не отношусь.

Слава богу, нас не засекли, и это было сродни чуду – мы прошмыгнули под носом у бандеровцев, которые всеми силами пытались перекрывать эту дорогу, перерезать линию жизни, по которой снабжались наши штурма.

Война – странная штука; фактически, наши бойцы шли вперёд, находясь в полуокружении, и с Большой землёй их связывала только эта тонкая пуповина, находящаяся под прицелом укрепа в Богуславке... который, в свою очередь, сам уже находился в полуокружении, и этот котёл со дня на день должен был замкнуться. Должен был, но ещё не успел.

Опираясь на крыло «Урала», Мамай стоял и курил, не скрываясь.

– А как же конспирация? – спросил я.

– Здесь можно не ховаться, – махнул рукой Мамай. – Тут справа и слева кварталы за нами, враг дальше к северо-западу. А от Богуславских нас железка прикрывает.

Буквально в ста метрах от нас была насыпь железной дороги, на которой стояли вагоны. Ну, как стояли – часть из них сошла с рельсов, но осталась на насыпи, образуя как бы крепостную стену между нами и Богуславкой. Перед выездом я смотрел карту – нацисты были к северу, к западу, к юго-западу, но сейчас мы находились почти в центре расширяющегося во все стороны круга, защищенного нашими штурмами. Причём процесс расширения был и виден, и слышен – вдалеке слышались звуки стрельбы, а виднеющиеся на горизонте тёмные очертания высоток то и дело озаряли сполохи.

Было раннее утро; чернота ночи серела сумеречным светом, звёзды в небе тускнели, да к тому же подымался туман, постепенно скрывая от нас израненные вагоны на насыпи, груды камней – всё, что осталось от разрушенных до основания частных домов и далёкие здания жилых массивов.

– К северу промку зачистили наши основательно, – подтвердил мои выводы Мамай. – Там они уже на окраинах частный сектор зачищают. Хуже всего в жилмассивах на северо-западе – бандеры за них держутся, как чёрт за грешную душу...

Он затанулся и сплюнул:

– Но там, куда мы едем, всё зачистили основательно, и на то есть свои причины. Кстатти, видишь эту улицу? – он показал на дорогу, по которой мы ехали. То, что эта дорога была улицей, понять можно было лишь по руинам, окружавшим её со всех сторон – на всей этой длинной улице более-менее уцелело только два-три здания. – Вот за сколько ты её пройдёшь из конца в конец?

– Ну... – я прикинул расстояние, – полчасика, если не спешить.

– А наши бойцы её прошли за одиннадцать дней, – ответил Мамай. – Да ещё три дня через перекрёсток пробивались, там нацики «Рапиру» во дворе поставили, эта гадюка нам проходу не давала. Обошли, зажали в клещи... ладно, если хочешь подробнее узнать, вон у Могилы спроси, он там затрёхсотился, так что теперь не на передке, а у меня в экипаже... до полного выздоровления.

– А сам он где? – встревожился я. Несмотря на остановку, Могила из кузова, где ехал, так и не вылез. Это меня беспокоило.

– Та в кузове дрыхнет, – пожал плечами Мамай. – У нас тут всё просто, ежели есть возможность покемарить, так надо пользоваться, завтра, может, уже не получится на массу надавить. Обратно он поведёт, а я в кузове отосплюсь, ежели пассажиры позволят...

Ну вот, а я тут рассуждал о бесстрашных людях! Тёмной ночью, без огней, по дороге, мало чем отличающейся от бездорожья, мчится на предельной скорости «Урал». В любой момент его могут срисовать и долбануть чем угодно – от танковой 125-миллиметровой пушки до мины израильского 160-миллиметрового миномёта...

А в кузове, забившись в угол между ящиками с боекомплектom, тушиным, пластиковыми канистрами с водой и свёрнутыми в рулон маск-сетями, на сложенных бушлатах, положив под голову выдающую виды армейскую ушанку, спит боец.

Что ему снится, интересно, война или мир?

– Ладно, поехали, – ворчит Мамай, давя носком ботинка окурок, – надо успеть на днёвку заехать, пока туман. Потом беспилотники летать будут, срисуют «Урал» – обратно пешком идти придётся или следующий транспорт ждать, а когда он будет, одному Богу известно...

* * *

Свет и тьма. Порядок и хаос. Жизнь и смертельная чума.

Здесь, в Попасной, свет и жизнь шли с юга, с наступающими российскими войсками. Черная зараза упиралась, цеплялась, клубясь во-круг неразрушенных еще зданий, прячась за спины мирных жителей. А ведь оставшись без прикрытия живого щита, укровоая превращается в жалкого труса, лепечущего «не убивайте, я просто повар». И сдавались эти, из «лучшей армии Европы», даже имея численное превосходство. Но здесь, в Попасной, в материалах для живого щита недостатка не было.

Наблюдательным и корректировочным пунктом бандеровцы избрали колокольню Никольского храма, откуда весь город просматривался как на ладони.

В городских высотках, согнав жителей в подвалы, засели нацистские снайперы, пулеметчики, гранатометчики – и наши бойцы, наступая со стороны частного сектора, оказывались под непрерывным огнем. С колокольни не только корректировали огонь, оттуда же, видя, как движутся наши штурмовики, направляли переброску своих сил, маневрируя ими, блокируя наши атаки. А жителей перегоняли, как скот, с места на место, прикрывая возможные направления наших ударов. Тактика живого щита во всем своем чудовищном цветении.

Поэтому штурм города шел так медленно: Попасная, в сущности, невелика, и двадцати тысяч жителей не набиралось, и многокилометровых подземных укрытий, как в «Азовстали», там нет. Просто город-

ская застройка: где-то высотки, где-то частный сектор. Наши штурмовики отлично умеют работать в городских условиях. Но каждый раз на пути наших атак оказывался живой щит – его ведь постоянно передвигали, защищая свои драгоценные бандеровские тушки. Наши бойцы, как могли, старались не допустить гибели мирных жителей, поэтому оборону нацистов приходилось буквально продавливать, проламывать. Почти не считаясь с собственными жертвами – ради сохранения жизни мирных людей.

Об этом трудно говорить. Да и думать – даже сейчас, спустя три года, – не легче.

(Дневник Автора)

Мы ехали медленно; я смотрел на почти разрушенный пригород, на дома, где провалы в стенах ясно свидетельствовали о том, что здесь поработали штурмовики – тактика у них такая, подобраться поближе, в мёртвую зону и взрывом проделать проход внутрь занятого нацистами дома. За окном проплыло красивое двухэтажное здание – стены его были выложены цветной плиткой, вокруг здания виднелись детские площадки, кое-где полностью обгоревшие, кое-где уцелевшие.

И это здание тоже несло на себе отпечаток штурма – зияющие дыры в стенах говорили об обстреле, проломы в стенах указывали на работу штурмовиков, а тёмные пятна гари на разноцветных стенах, тянувшиеся от окон вверх, свидетельствовали о пожаре.

– Что это? – спросил я у Мамаю.

– Детский сад, – ответил тот. – А в синем крыле был дом малютки. Приют то бишь.

– Это оттуда дети? – спросил я. Мамай ответил неопределённо:

– Да. То есть нет. Смотря о чём ты спрашиваешь. Дети – да, из этого приюта, но во время штурма их там не было.

Он вздохнул, выворачивая руль – у садика мы поворачивали налево, и «Уралу» пришлось осторожно проезжать между воронками, которых на перекрёстке было немало.

– Сам видишь, как этот детский сад расположен – две параллельных улицы простреливаются и вот эта тоже. Вот бандеры его и заняли, укреп из него сделали. Тут ещё такое дело – мы-то думали, что они и детей там оставили, прикрываться. Крови нам этот садик попортил... мимо него ни проехать, ни пройти, а стрелять нельзя – вдруг по детям прилетит? Слава богу, взяли пацаны «языка», и тот рассказал, что детей в здании нет, одна бандера. Тех, что садиковские, родители разобрали, а детдомовских куда-то в другое место перевели. Ух, вот тогда-то наши оторвались! На следующий день садик зачистили, и вовремя, слава богу...

Машина затормозила на площади. Справа было большое одноэтажное здание в классическом стиле, с белыми когда-то дорическими колоннами, – сейчас колонны были все в выбоинах от пуль, но следов пожара не было.

Зато справа, за полностью разрушенной невысокой оградой, стояла церковь. И там этих следов было хоть отбавляй...

– Ну, и где это Шатун? – Мамай стукнул кулаками по рулю. – Скажи же, что будет встречать!

Я понимал его тревогу – Мамай должен был передать меня под опеку этого Шатуна, а сам уйти в какое-то безопасное от беспилотников

место под разгрузку. Мне предстояло передневать в Попасной, забрать... тех, кого я должен был забрать, а следующим вечером, вернее ночью, Мамай с Могилей должны были за нами вернуться. Сложно? Но тут по-другому нельзя.

И тут нам в борт постучали:

– Открывай, Мамай, Шатун пришёл! – голос у стучащего был весёлым. Не дожидаясь реакции Мамаю, я стал выбираться из кабины.

Меня встречали трое ополченцев с лицами, закрытыми балаклавами. Они по очереди представились: Шатун, Серый, Толстой. Я тоже представился.

– А остальные где? – спросил Мамай, выбираясь из кабины. Тем временем, из-за кормы грузовика появился заспанный Могила и принялся обниматься с бойцами – Толстым и Серым. Мы ограничились рукопожатиями.

– Где надо, – ответил Шатун – вот он своему позывному действительно соответствовал, реально был похож на здоровенного сибирского медведя. – В боевом охранении. И ты б не дымил, – добавил он, глядя, как Мамай выщёлкивает из мятой пачки сигарету.

– Думаешь, оттуда срисуют? – уточнил Мамай, мотнув головой в сторону жилмассивов.

– Оттуда нет, – покачал головой Шатун. – Далеко для теплака, да и для снайперки уже далеко. Но сам же знаешь, от ДРГ никто не застрахован. Сегодня за ночь две уколошматили, и кто поручится, что их не будет больше? Те две на техничках прорывались, ты же знаешь хохлов, они эти технички могли на убой пустить, а сами где-то в другом месте просочились пешим ходом...

– Так что ж мы тут торчим посреди площади? – распереживался Мамай. – Я тогда рву колёса на разгрузку, а ты уводи товарища писателя... куда там положено.

– Вот товарищу писателю шальная пуля ни разу не угрожает, – ответил Шатун. – Во второй группе взяли «языка», он распелся, даже лекцию читать не пришлось о пользе сотрудничества. Короче, вас, – Шатун обернулся ко мне, – приказано брать живым. И ваших подопечных тоже. Вместе с батюшкой.

Глава 3. Батюшка

– С высоты птичьего полёта всё кажется прекрасным.

Наверное, именно поэтому Создатель не дал человеку крыльев. Умей люди летать, они вообще не захотели бы опускаться на землю. Ведь с неба не видно ничего уродливого и безобразного – ни ухабов дорог, ни грязи городов, ни мелочности и суеты людей.

Птица, которая, парит в небе, видит только бездонную лазурь, пышные облака и устремившуюся к небу гору.

Когда-то на этой горе высился величественный храм, а на площадке перед ним радовала взгляд большая скульптура ангела. Тогда гора звалась Ангельской горой, и люди часто поднимались вверх по вырубленным в скале ступеням, чтобы оказаться ближе к Богу и вознести Ему свои молитвы, но чаще не молитвы, а мольбы и просьбы. Ведь Бог для человека прежде всего не Свет, а способ исполнения его желаний. Множество людей ходит в храм, как в магазин, – только когда им что-то нужно.

Но однажды некий юноша поднялся на гору не для того, чтобы войти в храм. Он страдал от несчастной любви и свёл счёты с жизнью, бросившись вниз с обрыва. С тех пор это место сочли осквернённым. Люди подумали, что Господь отвернулся от него, и перестали ходить в храм со своими мольбами и просьбами. И вот уж много лет как стоит храм заброшенным, печально глядя пустыми глазницами когда-то прекрасных витражных окон в небо – на пролетающих в высоте птиц. Не пощадило время и статую ангела. Она треснула вдоль, у неё отвалилась голова и одно крыло. Давным-давно уже никто не называет гору Ангельской. Теперь её именуют Горой самоубийц, потому что примеру юноши последовали и продолжают следовать десятки других людей, и молодых, и не очень. Те, кому становится не мила жизнь, поднимаются на вершину и бросаются с обрыва, чтобы упасть вниз и разбиться. А, может быть, чтобы взлететь в небо и стать подобными птицам. Ведь никто не знает, что ждёт нас после того, как мы перешагнём черту, отделяющую жизнь от того, что люди именуют смертью. Может, после этого мы все превратимся в птиц или даже в ангелов? Нет, конечно же, не превратимся. Но об этом можно хотя бы помечтать...

(Олег Рой. Пёрышко)

– Батюшка, а мы, когда умрём, тоже станем ангелами? – спрашивает Варюшка, самая младшая среди деток, прижимающихся к отцу Иоанну.

«Должно быть, я сейчас похож на наседку, вокруг которой сгрудились её цыплята», – мысленно улыбается старый священник.

В какой-то момент холодной гадюкой прокрадывается мысль: странно, что человек вообще может улыбаться, пройдя через **такое**. Вот Лазарь Четырёхдневный, которого воскресил Господь, тот Лазарь, который четыре дня был в аду, – он после своего воскресения лишь раз улыбнулся... но улыбнулся же! Жизнь сильнее смерти, об этом ему постоянно напоминают его «цыплятки», доверчиво жмущиеся к батюшке. Трёхпалая ладонь пожилого священника опускается на макушку Варюшки, ерошит тусклое золото её кудряшек – пока ещё тусклое. Кажется, за три дня волосы Варюшки стали светлее, золотистее, как будто с них нехотя сползла тень того ужаса, который его цыпляткам удалось пережить, с Божьей помощью.

– Мы все станем ангелами, солнышко, – говорит отец Иоанн, ласково глядя девочку по темечку. – Но для этого сначала надо хорошо прожить эту жизнь. Достойно. Чтобы Господь знал нас по имени, чтобы прийти к нему не с пустыми руками...

А с чем к Господу придёт он, протоиерей Иоанн, в миру носивший «революционную» фамилию Матюшенко? Не так давно он думал, что ему жить осталось всего ничего, – лёжа на цементном полу, истекая кровью, он готовился умирать, но боялся не смерти, не новых пыток, а того, что, может, завтра, увидит своего Господа – и что он сможет Ему сказать? Как отчитается за свою жизнь, в которой было всякое...

– Варь, ну не отвлекай батюшку! – говорит тёзка протоиерея Матюшенко, Ваня, по совместительству старший брат Вари и вообще старший, ему уже семь, или, как он сам говорит, «в августе будет восемь».

Будет. Обязательно будет. И хотя они ещё не избежали опасности полностью, но протоиерей Иоанн верил – они спасутся. Не зря Господь

вывел их из того ада, в котором они были... сколько? Четыре, пять дней? Время стало тягучей смолой ещё там, в плену, и до сих пор не спешило превращаться в тихую светловодную речку...

Они сидели в темноте – электричества не было уже давно, ещё до начала Спецоперации его начали отключать практически на всю ночь, а теперь, когда весь город лежал в руинах, электричество и водопровод казались чем-то невероятным и точно невозможным здесь и сейчас. На дворе была ночь, а ночью детям полагается спать, но это там, в далёкой мирной жизни. **Эти** дети спали мало, урывками, просыпаясь с криком или плачем. Большое зло позади, но человеческий разум не сразу принимает то, что угроза миновала, да и не миновала она совсем, если честно. Вот когда детей вывезут, тогда угроза и минует. Там, в прекрасном далёко, с детьми будут заниматься психологи, им помогут забыть всё, что было здесь, воспринимать это как кошмар, рассеявшийся поутру. Отец Иоанн вспомнил те годы, когда был ещё мальчиком Ваней. Они жили с мамой в небольшой комнатёнке фабричной малосемейки, и Ваня тоже часто просыпался с криком или в слезах – после того как его отец погиб у него на глазах, когда Ване было пять лет. И тогда мама говорила:

– Это только сон, маленький. Ночь уйдёт – сон пропадёт.

В кромешной тьме отец Иоанн рассказывал детям сказки. Он делал это, когда был в плену, он делал это и после освобождения из плена. Сказки закончились. Детская Библия тоже. Сейчас Отец Иоанн пересказывал книжку, прочитанную им в плену.

* * *

– Птица смотрит вниз и видит раскинувшийся у подножья горы маленький городок. Этот городок затерялся среди миллионов других, точно таких же маленьких, неприметных и невзрачных, как он. Посреди городка главная площадь. В праздничные дни она оживает, заполняется гуляющими, украшается ярмаркой, уставляется рядами палаток, где народные умельцы торгуют плодами своего труда. Но праздники бывают редко, и в большинство дней главная площадь так же скучна и неуютна, как весь остальной городок, как разбегающиеся в стороны от неё улицы и переулки. С высоты птичьего полёта городок кажется однородной серой массой, скоплением однообразных домов, унылых и безнадежных, как пасмурный ноябрьский день.

Из крыла птицы выпадает перо, но птица этого не замечает. Тот, кто способен подняться в небо, не обращает внимания на мелочи.

Оброненное птицей перо падает медленно и плавно, опускается на одну из улиц и пролетает мимо одного из серых зданий.

В этом неприметном здании в верхнем этаже открыто окно, у окна стоит юная девушка с прелестным полудетским личиком, обрамлённым растрепавшимися белокурыми волосами. Она протягивает руку, ловит перо и смеётся так радостно, словно получила чудесный подарок.

Девушку эту в городке называют дурочкой, чокнутой и блаженной. Уж так повелось, что люди всегда считают дураками или блаженными тех, кто на них не похож, кого они не могут и не хотят понять. А эта девушка действительно не похожа на других. Ей уже почти шестнадцать, но она ведёт себя и относится к жизни и к миру, как пятилетний ребенок, и доверчиво улыбается каждому встречному. Она по-детски радуется всему, что только видит и слышит вокруг – цветам, дождю,

солнцу, зелени деревьев и пению птиц. Целые дни девушка проводит у окна, но смотрит не вниз, на улицу, а вверх – на небо. Говорят, что на небо смотрят все люди, только одни видят в нём птиц, а другие – ангелов...

Девушка живёт с матерью, уставшей, погасшей и рано постаревшей женщиной. Той нет и сорока, и ещё видно, что когда-то она была очень красива, но тяготы и невзгоды намного раньше срока превратили её почти в старуху. Женщина работает день и ночь, но её заработка хватает только на скудную еду да плату за каморку под самой крышей, которую она делит с дочерью. И то жена хозяина дома постоянно напоминает женщине, что держит здесь её и её дурочку-дочку лишь из милости.

Почти каждый день мать уходит из дома рано утром, ещё до рассвета, а возвращается уже почти ночью. Соседи не видят её улыбки, потому что улыбается, хотя и печально, женщина только тогда, когда рядом дочка. А та никогда не ложится, пока женщина не вернётся домой. Дочка ждёт маму, зная, что та принесёт ей ужин, а потом уложит спать, споёт красивую колыбельную песню, а если не очень устанет, то даже расскажет одну из чудесных историй о святых и ангелах, которые так любит её дочь.

(Олег Рой. Пёрышко)

Эта история напоминает отцу Иоанну его собственное детство. Мальчика, запоем читавшего книги, тоже все считали блаженным. Даже родная мать порой говорила о нём, мягко, конечно: «он у нас не от мира сего». От этих слов Ване становилось больно. Это потом, намного позже, когда он впервые развернёт Книгу Книг, он прочтёт там такие с детства знакомые слова: «вы от мира сего, Я же не от мира сего» – так Спаситель говорил фарисеям. И боль детства станет для молодого послушника радостью. Но это будет нескоро. Сначала будет техникум лёгкой промышленности, призыв на военную службу, Афган, ранение, госпиталь. В госпитале он встретился с Богом впервые. Проникающее осколочное ранение брюшной полости – штука опасная, живот – это место у человека одно из самых уязвимых. Абсцесс, травматический перитонит, прогноз самый неблагоприятный... Он запомнил это время по постоянной сухости и мерзкому привкусу во рту, по опоясывающей боли, которая нарастала, пока не стала невыносимой.

Он мог умереть, более того – он буквально **должен был** умереть, но его спасли. Спас его пожилой хирург, но когда уже выздоравливающий Ваня Матюшенко слабым голосом попытался благодарить врача-чудотворца, тот ответил:

– Я сделал то, что должен был. Благодарите Бога, ведь успех любой операции – в его руках.

Сейчас протоиерей Иоанн уже не помнил всех подробностей – как состоялись его первые беседы с доктором Богданом, вытаскившим его с того света, как тот рассказал ему о Боге... да и первые свои шаги в христианстве помнил плохо. Был трудником в восстанавливаемом после долгих лет государственного безбожия монастыре, где остро не хватало рабочих рук, потом его рукоположили в диакона, потом – уже в «незалежной Украине» – семинария и приход в родной Попасной. Приход, настоятелем которого он был почти столько же, сколько существовало на карте государство со странным названием «Украина».

* * *

Раньше отец Иоанн не любил вспоминать прошлое. По сути, служение Богу было единственной радостью в его жизни. Четыре года он был женат, но детьми их с женой Бог так и не сподобил, а потом и жена покинула его, отправившись на нашу общую небесную Родину. Было Происхождение Честных Древ Креста Господня, в народе называемое Медовый Спас, один из тех дней, когда народ вспоминает о существовании храма и спешит к нему, чтобы освятить что-нибудь – мёд на Медовый Спас, яблоки на Преображение, орехи на Спаса Нерукотворного...

Было очень жарко. Матушка помогала мужу освящать – шла чуть позади с подносом, на который иногда кто-то из прихожан клал мелочь или что-то из продуктов, только что освящённых её мужем. Дойдя до поворота очереди желающих освятить – не только мёд, что только не приносили на освящение, даже водку! – Катерина тяжело вздохнула.

– Что с тобой, солнышко? – спросил отец Иоанн.

– Что-то душно мне, – призналась его Катя. – В груди давит, солнце, небось, напекло.

– Так посиди в притворе, – предложил батюшка. – А поднос Иришка поносит. (Ирочка была дочкой одного из прихожан и часто помогала в храме.)

Катя ушла, и отец Иоанн продолжил освящать. Люди всё приходили и приходили, очередь казалась бесконечной. Закончил к трём часам и тут же стал искать Катю. Искать пришлось недолго – она сидела в притворе...

Врачи сказали, что Екатерина Матюшенко умерла примерно три часа назад, почти сразу как вошла в притвор. Врождённый порок сердца, не обнаруженный украинскими медиками. В этот день жизнь отца Иоанна разорвалась пополам, как завеса в Иерусалимском храме, но он нашёл в себе силы жить дальше, служить Богу, помогать ближнему и каждый день поминать покойную супругу, ушедшую к Богу так рано. Был две тысячи четвёртый год. Через три месяца после смерти Екатерины случился самый первый Майдан...

Глава 4. Дети

– Девушке скучно целый день одной, и она часто просит мать:

– Давай приютим у себя какого-нибудь бездомного котёнка или щенка? Вон их сколько на улицах – несчастных, одиноких, брошенных! Я бы взяла себе хотя бы одного из них и любила бы его, и заботилась бы о нём.

Мать в ответ только качает головой:

– Нет, дочка. Нам самим-то есть нечего, а тут ещё придётся кормить твоего питомца. Если хочешь, я заведу тебе птицу. Она ест немного, её можно прокормить одними крошками да букашками. Мы бы поставили около окна клетку, птичка сидела бы в ней и целый день пела тебе песенки.

Но тут уже возражает дочь:

– Нет, мама, ни за что! Птиц нельзя держать в клетке, это грех. Птица в неволе никогда не поёт так, как на свободе, разве ты этого не знаешь?

Помнишь, как в прошлом месяце у тебя был свободный день и мы ходили гулять в лес? Как прекрасно там пели птицы, какие дивные цвели цветы, как чудесно они пахли! Я набрала целый букет, принесла домой и поставила в банку, и это было так красиво... Скажи, мама, отчего ты не отпускаешь меня гулять одну? Я бы каждый день ходила в лес, слушала бы птиц, собирала цветы и приносила бы их домой...

– Нет, дочка, не хочу я, чтобы ты ходила одна на улицу, – снова качает головой мать. – Ты слишком наивна и доверчива, тебя каждый может обидеть. А люди бывают жестокими, очень жестокими...

Девушка не хочет этому верить. Ей кажется, что все люди на свете добрые и хорошие – как ангелы в тех чудесных историях, которые мама рассказывает ей перед сном.

Но однажды девушка всё же выходит на улицу одна. Это случается вечером, почти ночью, когда её мать допоздна работает в большом доме, глядящем окнами на главную площадь. Там празднуют юбилей одного городского богача, и женщина очень рада, что её наняли помыть посуду и убраться после вечеринки. «Пусть я буду гнуть спину до рассвета, – говорит она, – но зато мне, надеюсь, разрешат взять себе кое-что из объедков, оставшихся от угощения. Я принесу домой что-нибудь вкусное, и у дочки тоже будет праздник».

Мать уходит, а дочка садится у окна ждать её возвращения. Время течёт медленно, заходит солнце, темнеет, восходит луна, окна в домах загораются, потом по одному гаснут, а матери всё нет. И вдруг в окно девушки стучится птица. Девушка смотрит – птица точно зовёт её за собой. Она отлетает от окна, и девушка выбегает на улицу.

(Олег Рой. Пёрышко)

Отец Иоанн стремится вспоминать далёкое прошлое, пусть даже болезненное, – лишь бы память не обращалась к тому, что было недавно. И ему ещё хорошо – у него есть что вспомнить до 22 июля 2014 года. Большинству... нет, всем его детям вспомнить нечего – они родились уже после начала оккупации города бандеровцами.

Даже странно, что те какое-то время стремились поддерживать имидж цивилизованных людей (втайне при этом ненавидя население города, которое в своём абсолютном большинстве было пророссийским). Работали школы, поликлиники, детсады, причём в одном из них, самом большом, построенном при «кровавом диктаторе Януковиче», был открыт дом малютки, а попросту говоря – детдом для сирот и беспризорников. «Интересно, – думал отец Иоанн, – в городе что-то строилось только в те периоды, которые официальная украинская история зовёт диктатурой – при царях, при СССР, при Кучме и Януковиче. А вот в периоды правления “демократических лидеров” – Кравчука, Ющенко, Порошенко, Зеленского – ничего не строилось, всё только разрушалось».

Так вот, о детях.

Это потом, намного позже, станет ясно, что детдом этот, который носил издевательское название «Вэсэлка» (то есть, радуга на том, что эти изверги именуют «украинской мовой») изначально был со «вторым дном». Некоторые из детей действительно были сиротами – война на Донбассе началась не в двадцать втором, как утверждают украинские пропагандисты, а намного раньше – осенью четырнадцатого, сразу после госпереворота. А некоторые из детдомовцев даже сиротами не были. Только с точки зрения бандеровской власти...

* * *

Птица летит вдоль улицы, и девушка бежит за ней. Улицы пусты и темны – люди давно закончили свои дневные дела, разошлись по домам и легли спать. Но тут слышатся громкие голоса и пьяный смех – это бредёт из одного кабака в другой группа загулявших юнцов. Впереди сын мэра – высокий и статный парень, его лицо было бы красивым, не будь оно таким злым и капризным.

– Глядите, девчонка! – замечает он.

– И верно, – поддакивают его дружки. – Бродит одна по улицам в такой час. Не иначе, ищет приключений на свою голову!

– Ну так мы ей их обеспечим! – хохочет сын мэра. – Эй, красотка, идём с нами!

– погоди, да это ж чокнутая, городская дурочка, – узнаёт один из дружков, худенький рыжеволосый юноша.

– И что с того?! – сын мэра уже раззадорился. – Это даже лучше, она никому ничего не расскажет. Сейчас мы с ней позабавимся!

– Стой, не делай этого, не надо, – пытается остановить его рыжеволосый юноша. – Она же сумасшедшая, блаженная. Это как ребёнка обидеть...

Но ни сын мэра, ни его дружки не слушают юношу. Они хватают девушку и затаскивают в какой-то тёмный сарай. Девушка так наивна, что даже не понимает, что с ней сейчас произойдёт, но сердцем чувствует, что это будет что-то плохое. Она умоляет отпустить её, кричит, зовёт на помощь и пытается отбиваться, но разве это возможно, когда её держат так крепко?

– Зажми ей рот! – приказывает сын мэра рыжеволосому юноше.

Тот отшатывается и убегает. Приказ исполняют другие. Сын мэра презрительно сплёвывает вслед убежавшему дружку.

– Слабак! – цедит он сквозь зубы и поворачивается к девушке. – Ну, сейчас мы оторвёмся! Весёлый у меня получится мальчишник, будет что вспомнить после свадьбы!

В сарае грязно и пыльно, пахнет голубиным помётом, и в пробивающемся через маленькое оконце луче лунного света почему-то летают птичьи перья. Наверное, кот растерзал голубя.

(Олег Рой. Пёрышко)

История эта совсем не детская, конечно, но для этой дюжины детей, которые остались от всего детдома, в ней нет ничего шокирующего, ничего незнакомого. Их детство растоптал сапог нациста, и с этим они жили не дни – месяцы и годы. Ване с Варей «повезло», да простит Господь за это слово, – их дом вместе с родителями, бабушкой и дедушкой накрыло реактивным снарядом, когда они гуляли на детской площадке.

Другим повезло меньше. У Антона папу с мамой расстреляли, у Вадика – повесили. У Жени отца застрелили, мать – сгорела в доме, который подожгли. У Славы (Ярославны) отца забили ногами, мать и сестру насильовали, потом мать тоже били и расстреляли, когда она уже была не похожа на человека. Сестру Роксолану какое-то время держали в «Вэсэлке» отдельно от всех. Потом она то ли сбежала, то ли ещё что – ясности с этим пока нет. Свету (она чуть младше Вани) саму несколько раз насильовали...

«Воины света». «Если свет в вас – тьма, то какова же тьма?» – говорил Христос. Отцу Иоанну, знавшему всё это, было страшно смотреть на этих... бывших людей, с чёрными провалами на месте душ. Особенно теперь – когда он мог видеть их в плену. Какими же они были жалкими! Кого пальцем ткни, то всё повара да водители, но отец Иоанн сам побывал на их адской кухне. Порой одного присутствия батюшки хватало для того, чтобы «ушедшие в отрицалово» боевики «раскалывались».

При этом они становились ещё более жалкими, как рыба-капля, поднятая тралом из океанских глубин. Но слово «жалкий», по мнению отца Иоанна, плохо описывало этих людей. Жалкий – это тот, кого жалеешь. Можно жалеть преступника, такого, как Родион Раскольников – имеющего смелость взглянуть в глаза своему преступлению; можно жалеть бусифицированного взэушника или даже подростка с промытыми со школьной скамьи мозгами, добровольно пошедшего на войну с «москалями».

Но этих... как их можно жалеть? Говорят, в рядах ВСУ воюет сын небезызвестного Чикатило. По мнению отца Иоанна, он не стал главнокомандующим ВСУ не потому, что не имеет офицерского образования.

Другие ещё хуже.

И для этого необязательно быть карателем. Можно сидеть за рычагами танка, обстреливающего из Богуславки «дорогу жизни». Можно быть артиллеристом, заряжать в ствол поставленной НАТО гаубицы кассетный снаряд с лепестками – а затем хладнокровно бить по координатам детского сада или рынка. Можно быть пилотом – стервятником, выпускающим нурсы по корпусу больницы. Можно вообще сидеть в тылу и делать вид, что играешь в компьютерную игру, наводя ударный беспилотник прямо в центр красного креста на крыше санитарной машины...

Или работать в мошенническом «колл-центре», разводя доверчивых пенсионеров на их гробовые деньги. Или врать на телемарафоне, в соцсетях, в телеграмме, придумывая сказки про Бучу и тому подобное, а по сути – зеркала то, что делаешь сам...

* * *

...Спящую, измученную девушку в разорванной грязной одежде находят на следующее утро – мать, вернувшись домой и увидев раскрытую дверь, к этому времени успела уже обежать полгорода.

– Сама виновата, не надо шляться по ночам, – бурчит полицейский, ни разу не посмотрев матери в глаза. – Не буду я заводить дело из-за какой-то городской сумасшедшей.

– Сама виновата, – судачат кумушки. – Дурочка-то она дурочка, да говорят, такие самые охочие до этого дела-то и есть.

– Она сама виновата, – пожимает плечами сын мэра в ответ на упрёки рыжеволосого друга. – И отвали от меня со своими нотациями, мне не до этого, свадьба на носу.

И правда, вскоре в городе большой праздник – мэр женит своего сына на дочери самого богатого человека в округе.

Идут дни, проходит лето, вот уж и осень стучится в дверь. Мать девушки в отчаянии – она поняла, что дочка беременна. Что делать, где искать заступничества и помощи? Она ведь даже щенка или котёнка

не могла дочке завести, потому что кормить нечем, а тут родится ребёнок. Как его растить, на какие деньги? И только девушка ничего не понимает. Случившееся с ней будто не тронуло её, ведь чистого душой человека не испачкает никакая жизненная грязь. Девушка вся будто светится изнутри, целыми днями напевает и рисует угольком прямо на стенах каморки птичьих пёрышки, одно за другим. И смотрит в окно на высокое небо, где кружат птицы. Наверное, Всевышний специально поселил людей и птиц рядом, чтобы каждый человек видел, как легко подняться над всем мелочным и стать выше любой грязи и суеты.

(Олег Рой. Пёрышко)

А на деле, не так-то это просто. Христос учил прощать врагов. Почему? Потому, что месть порождает зло, которое может поглотить человека без остатка. Как там у Шварца? Убивший дракона сам становится драконом.

Но есть один нюанс – мы можем и даже должны прощать своих обидчиков, но не имеем ни малейшего права прощать тех, кто творит зло против других. Против нашей семьи, веры, Родины. Против слабых и беззащитных. Против детей.

У итурмовика с позывным Шумахер из пятёрки Пионера хранится амбарная книга. Книгу он забрал, когда освобождал уцелевших детей «Вэсэлки». Когда садик на перекрёстке зачистили, один из пленных, выклянчивая прощение, рассказал, где дети. Питомцев «Вэсэлки» заперли в погребе, где до того хранились овощи. Выбраться из подвала самостоятельно у обессилевших крох не было ни малейшего шанса.

В гробсбухе, найденном в том же подвале, насчитывалось триста шестьдесят пять имён. Был указан возраст – от трёх до семнадцати лет. Из подвала итурмовики вынесли на руках двадцать два ребёнка. Двадцать два, причём четверо умерли уже после спасения. Для них это спасение запоздало.

Куда делись остальные триста сорок три ребёнка и подростка? Некоторые умерли или были убиты – чуть меньше сотни, восемьдесят семь. Их братскую могилу в куче компоста показал всё тот же трясущийся, как иудина осина, «вояка». Напротив фамилий остальных были имена или названия организаций. Имена вряд ли могли что-то сказать обычному человеку, но были хорошо знакомы тем, кто работает по линии Интерпола. Продавцы живого товара.

Ещё интереснее оказались организации: Проктор энд Гэмбл, «Астра Зенека», «Пфайзер»... а ещё – Форт-Детрик и Портон-Даун.

Что стало с этими детьми? Остаётся только гадать. Но гадать, по мнению отца Иоанна, – дело пустое. С этим разберутся те, кто компетентен. Сам он записал в свой помянник триста сорок семь имён, за упокой души которых молился.

И старался сохранить тех, кто выжил. Он ведь был всё это время с ними – и в подвале, и до того, в «Вэсэлке». После пыток ему предложили стать нянькой в этом приюте. И он стал, стараясь заботиться о сиротах, успокаивать напуганных, ободрять тех, кто упал духом, заботиться об ослабших.

А теперь в голову отца Иоанна нет-нет да и закрадывалась мысль – а не был ли он для этих бедных детей «козлом-провокатором», вроде тех, кто ведёт доверчивых овец на бойню? Да, он не знал, что происходит в «Вэсэлке», но он же видел, что дети пропадают, уходят и не возвращаются!

И может ли послужить ему оправданием, что он всеми силами заботился об этих детях? Что однажды спас от изнасилования одним из охранников двенадцатилетнюю Фаинку? Фаинка-то всё равно потом пропала, и против её имени стояло имя одного из поставщиков живого товара для ближневосточных «чёрных» борделей...

Или то, что именно он, когда стрельба приблизилась, а бандеры в садике забежали, как потревоженные внезапным лучом фонарика тараканы, потихоньку стащил тот самый грессбук, который теперь хранится у бойца с позывным Шумахер из пятёрки Пионера, которая, в числе других, штурмовала бывший детсад, успевший побыть настоящим концлагерем почище латвийского Саласпилса...

Глава 5. Перекрёсток

Попасную вычищали дом за домом, квартал за кварталом, улицу за улицей. И каждый освобожденный участок нацисты тут же принимались яростно обстреливать. Не столько российских воинов выцеливали, сколько по площадям лупили. Может, потому что именно так «воюют» их западные кураторы? Десяток-другой мирных жителей в каком-то здании – пустяк, ведь там «может скрываться боевик». Не обязательно боевик там и впрямь засел, зачистка, в их понимании, дело такое: разбить все в хлам, авось, кого и накроём. А что под руинами останется десяток-другой мирных – что ж, это сопутствующий ущерб. Погляди-те на Газу, вспомните Югославию, Ирак, Вьетнам... список длинный. А быть может, бандеровцы осознали, что Попасную не удержать, и лупили по принципу «так не доставайся же ты никому»?

И превратили город, который еще вчера называли своим, в декорации для апокалиптического фильма: все мертво, лишь рухнет время от времени обломок бетона, сорвавшись с подточенной осколком арматуры.

(Дневник Автора)

– Да вот хотя бы этот Дом культуры, – Шатун указал рукой на белое здание с колоннами, стоявшее прямо напротив сгоревшего храма – буквально через дорогу. У ДК на стенах тоже виднелись пулевые отметины, но в целом, на фоне храма и прочих зданий, окружавших площадь, где сходились важнейшие дороги, выглядел он более-менее прилично. – Что вас удивляет?

– Можно на «ты», – предложил я. – Я не так сильно вас старше, чтобы мне выкать.

– А сколько мне, по-твоему? – уточнил Шатун.

– Ну... – я замялся. Даже когда боец был без балаклавы, его возраст определить было непросто. – Пятьдесят?

– Угу, – хохотнул Шатун. Пятьдесят... да десять. Шестидесят первый годик пошёл, в марте этого года.

– Хорошо выглядишь, – улыбнулся я.

– Ты тоже, – ответил Шатун. – Выходит, ты меня ещё и моложе на три года. Ладно, так что скажешь про этот Дом культуры?

Я внимательно посмотрел на здание. Кажется, война куда меньше его повредила, чем время, – побелка отставала крупными кусками, лепнина тоже местами осыпалась, а то, что рам в окнах не было, не говоря о стёклах, для города, через который прошла война, скорее

правило. Мой взгляд скользнул по свежей, но уже затёртой надписи: «Осторожно! Заминировано!»...

– Какой-то он подозрительно целый на фоне всего остального.

– В точку, – ответил Шатун. – Хочешь знать почему?

И, не дожидаясь моего ответа, продолжил:

– Попасная не первый год на ЛБС. В четырнадцатом тут ополченцы стояли, но мало их было, вооружены чем попало – с ружьями охотничьими, даже с пневматикой были, хотя оно ж не оружие, а игрушка. Чуть ли не с вилами и черенками – и заметь, тогда речь о независимости Республик вообще не шла, только о самоуправлении. А нацики против них бригаду аэромобильную бросили да батальон их морпехов. Ребята постреляли, дождались, пока семьи с места уйдут, да и отошли сами, к своим. А в город бандеры зашли. Сразу за репрессии, человек триста постреляли по подозрению в сотрудничестве с Россией. Случайных в основном, особенно под вечер первого дня, когда они все на радостях накрились. Поутру прилетело от наших в распорягу мокряков*, которых командование заселило в общагу техникума на окраине, но с тех пор бандеры в городе и окопались.

Народ у нас смекнул, что эти оккупанты к ним надолго, и потихоньку рассосался. Остались только те, кто уж совсем не смог уйти, – старики в основном. Так вот, когда мы к городу ещё только подошли, бандеровцы почти всё население согнали в этот клуб. Там внизу подвал, бывшее бомбоубежище. Цементные стены, ни света, ни воды, ни уборной – и шестьсот с гаком человек народу... ну, то есть было шестьсот. А главное, что придумали, ироды, – занесли нашим дезу, что их штаб в этом самом бомбоубежище расположился. Грамотно занесли, с трёх независимых источников.

– Зачем? – спросил я, хотя и сам понимал зачем.

– Чтобы мы по этому ДК саданули – РСЗО или фабом, – подтвердил мою догадку Шатун. – У них и съёмочная группа тут была, говорят. Но мы ж не какие-то там лошки пробитые – у нас всё проверяется. Разведка шатнулась сюда, и всё на месте срисовала – в подвале мирняк, наверху – вертухаи из нацбата, а на втором этаже, кстати, твои будущие подопечные. К тому же, у нас ведь и раньше инфа была, что нацики ДК используют как тюрьму и пыточную. Сейчас всё подтвердилось, в сквере за клубом, где раньше ёлки росли, человек сорок эксгумировали со следами пыток. Мужчин только трое, остальные – женщины, дети, старики... – Шатун сплюнул. – С мирняком воевать проще...

Он помолчал и добавил:

– Тут некоторые наши после ранения вернулись. И зашли тёрки, мол, у вас эту войну там, на большой земле, несерьёзно воспринимают. Говорят, мол, бандеровцы трусы, воевать не могут и не умеют, и пеняют Генштабу, что Киев ещё не освобождён и мы в Тисе берцы не моем. Так вот, что я тебе скажу: да, нацики – те ещё крысы, но крысы бешеные. За шкуру они трясутся – будь здоров, но если в угол зажать – сопротивляются как скаженные. Трус ведь тоже опасен – именно потому, что со страху на что угодно способен. А там ещё

* Мокряк – ироническое наименование кадров ВМС Украины, включая морпехов. Игра слов с отсылкой к существительному «морьяк», прилагательному «мокрый» и командиру экипажа одного из бронекатеров ВМС Украины, пытавшихся прорваться через Керченский пролив к Мариуполю. При появлении российских пограничных катеров бронекатер нацистов отважно сдался в плен.

дурь да синька, на которых каждый первый сидит. И главное – они постоянно за мирняком ховаются, вот потому мы ещё не в Киеве и не скоро будем.

Есть у нас тут хирург в госпитале. Торпедо, был у нас такой штурмовик, сейчас уже на дембеле, как-то противопехотную мину зацепил – повезло, что она легла неудачно, когда из каскеты вылетела, но всё равно – ногу парню разнесло будь здоров, не нога, а от колена просто ошмётки висят. На той стороне ему бы эту самую ногу по колено от-тяпали, если повезёт, а у нас Юрич её как мозаику собирал – три часа угробил. Собрал, даже ступню, хотя, конечно, до той, что Бог дал, ей далеко. Но опереться есть на что, не протез – и слава богу. Кость отпилить можно за три минуты. Всё остальное – сосуды закрыть, мышцы обрезать, культю сформировать – ну ещё минут десять. А тут три часа человек угробил. Он спал в тот день меньше, чем резал!

А всё почему? А всё потому, что Юричу... да не только ему, всем нашим врачам, храни их Боженька, не всё равно, что с парнем будет. Каким он вернётся к маме-папе, к любимой девушке, невесте, жене... В том-то и разница.

Было бы нам всё равно – мы бы эту Украину как бог черепаху за трое суток катком прокатили. Как пиндосы в Раке – мы там были с ребятами, от города одни руины остались, и в этих грудах камней триста тысяч мирняка закопано. А мы видел как идём? Как хирурги, блин, как сапёры на плотном минном поле. Смекаешь почему?

* * *

Бандеровцы частенько палили по людям – по мирным жителям – не из необходимости, а просто для развлечения. Их пьянила вседозволенность и, как им казалось, всемогущество. Всю Украину фактически превратили в один гигантский концлагерь. Словно новый Филипп Зимбардо проводил свой чудовищный эксперимент, разделив население на наблюдателей и заключённых. Добавив в условия право на убийство.

Впрочем, и в Попасной, и в Мариуполе, и в Бахмуте, и в десятках и сотнях других городов и поселков – убивали не всех. Нацисты очень быстро сообразили – или их натовские «наставники» подсказали? – что из недобитого населения получается отличный живой щит. Загони людей в подвал и напиши на стенах крупно «ЛЮДИ» – и пожалуйста, на верхних этажах можешь устраивать хоть минометное гнездо, хоть снайперское, да хоть центр управления.

Потому что русский солдат с мирными не воюет. Он их – спасает. Иногда и ценой собственной жизни.

(Дневник Автора)

– Потом они этот ДК собирались взорвать, – продолжил Шатун, – вместе с запертыми там людьми. Чтобы обвинить в этом Россию. Как сделали в Буче. Но заминировать клуб изверги не успели, мы продвигались быстрее. Помню, как мы выводили жителей из здания клуба. Они не выходили – выбирались, почти выползали наружу – высохшие, обезвоженные, полуживые, едва стоящие на ногах. Как узники какого-нибудь Равенсбрюка или Дахау. Тут ещё бой шёл, нацики закрепились вон в тех домах, – Шатун указал рукой на едва различимые в рассветном тумане остовы нескольких двух- или трехэтажек, похожих на те, которые после Великой Отечественной строили пленные немцы. – Дома

там добротные, их фашисты пленные в сорок девятом строили, – подтвердил он мою догадку. – Как будто не дом, а дот с «линии Зигфрида».

Мы мирняк в сумерки выводить стали, а до этого на бандер накат сделали. Ясное дело, выбить их из домов даже не надеялись, они за те руины зацепились, как клещ за собаку, но хотя бы заставили голову пригнуть. И выпустили мирняк. Ну, как выпустили – пришлось бойцам за ними спускаться, они в таком состоянии были, что некоторые не то что по лестнице подняться – встать не могли без чужой помощи. Доходяги совсем. Вывели первых людей, ну, а бандеры всё это срисовали. У них теплаки натовские через одного, им что сумерки, что тьма кромешина – без разницы. Да ещё и птичку подняли, чтоб наверняка. В сумерках дрон, конечно, хуже видит, чем в светлое время суток, но и ты его в небе тоже не различишь – жуужжит сверху, а где – непонятно. И давай они по заложникам лупить из чего ни попадя – и АГС, и станкачи, и ручные пулемёты, и автоматы – всем, чем можно достать, били, хорошо хоть снайпера у них не было с собой, хотя снайпер в сумерках тоже не то, что ясным днём. Пару человек уложили – старушку, бывшую продавщицу из газетного киоска, и пацана какого-то мелкого. Ну, мы тогда и поняли, что просто так они залог не отдадут. Раз уж не получилось у нас Бучу организовать, то всех завалят, а из подвала не выпустят.

Что делать? Смотрю, а Серый... это боец мой, познакомишься ещё, тоже парень с интересной историей... так вот, Серый свой броник с каской снял и на старика какого-то напялил – потом выяснилось, ветеран войны, при Януковиче хотели почётным гражданином сделать, поскольку он Попасную освобождал, да не успели – Майдан. А у новой власти новые герои, а старые для них враги. Мы с другими командирами знаками перебросились, пацаны быстро всё скумекали, может, и сами уже думали в эту сторону. Самых крепких выставили между ДК и санитарной мотолыгой – слава богу, какая-никакая, а броня, а у бандер ничего тяжелее агээса не было, да и поди ещё попади в мотолыгу удачно – вогом и на предельной дальности! В общем, сформировали боевое охранение, начали перестреливаться, били по вспышкам выстрелов. А остальные ребята свои броники и каски на заложников надели, так и вывели всех.

– Много людей потеряли? – спросил я, думая о тех ребятах, что снимали с себя спасительную броню, надевая на детей. Чужих детей. Пока ещё граждан формально другого государства, если этот бандитский анклав можно было назвать государством.

– Ты знаешь, не много, – ответил Шатун. – Тут все направления стрельбы невыгодные, от прямой наводки храм перекрывает. Он тогда нас как ангел-хранитель заступил... – Шатун вздохнул. – Веника с Боряном задвухсотили – Веник пулю в лицо словил, был на первой линии, но без каски, каску мамке отдал с девчушкой мелкой. Пуля в висок... А Боряну в спину прилетело, когда он заднюю дверь мотолыги закрывал. Трёхсотых больше было – да почитай все, кто мирняк выводил, что-то словили, но тяж только один – Сыроеду из Саранска в челюсть прилетело, половину снесло, в Москву увезли, в Бурденко, и сейчас там, говорят, до сих пор состояние тяжёлое.

Ладно мы! Солдат стреляет в солдата – это нормально, на то она и война. Но как они могли бить по своим же? По женщинам, по старикам? Хотя... чего я удивляюсь? Я за это время такого навидался – не был бы уже седой, так враз бы поседел, как наш Серый.

Он огляделся вокруг и добавил:

– Светает... Идём, отведу тебя в ДК, покажу всё внутри, там всё нетронутое осталось – и Бухенвальд в подвале, и Саласпилс на втором этаже.

– А какие вообще наши дальнейшие действия? – спросил я. В общих чертах я знал, но хотелось конкретики.

– Ждём, когда сменится группа Пионера, – ответил Шатун. – Вместо него выйдет Рувим, а Пионер нам сюда подбросит один интересный документ. К вечеру подойдёт батюшка со своими крохами, а ближе к полуночи вас заберёт «Урал» Мамая. Так что у нас целый световой день.

– А где, кстати, был штаб убандеровцев? – спросила я. – В застройке?

– Хуже, – ответил Шатун. – Они его прямо в храме расположили.

Глава 6. Страсти

Однако ж беда редко приходит одна. Наступает осень, становится холоднее, женщина простужается и заболевает. Она больше не может работать, с трудом поднимается с кровати, а потом и вовсе перестаёт вставать. Девушка преданно ухаживает за ней, но много ли она может, когда нет денег не только на лекарства, но даже на еду и тепло? Приходит зима, наступает Рождество, но в каморке под крышей совсем не радостно. Через несколько недель женщина умирает. Её хоронят в самом дешёвом гробу на краю заснеженного кладбища, на похоронах никого нет, кроме священника и дочери. Когда носильщики, ворча, что им бесплатно приходится копать мёрзлую землю, опускают в могилу гроб, на него падает маленькое птичье пёрышко, белоснежное и чистое, как слеза ангела. Откуда оно здесь?.. Ах нет, это не пёрышко, а просто комочек снега...

После смерти матери хозяин дома выгоняет девушку из каморки. Он, может быть, пожалел бы бедняжку, но его жена, уперев руки в бока и топая ногой, требует, чтобы беременную дуручку немедленно вышвырнули прочь.

– Жаль блаженненькую, может, пусть живёт? – неуверенно спрашивает хозяин дома. – Всё равно каморку никому не сдать, никто не захочет в ней жить, под самой-то крышей...

Но супруга только смеётся ему в лицо.

– Тоже мне нашелся ангел! Если ты её оставишь, люди, чего доброго, ещё скажут, что это твоего ублюдка она носит!

И девушку гонят на улицу.

(Олег Рой. Пёрышко)

Сегодня страстями называют бурные чувства, душевные порывы – одна, но пламенная страсть, но изначально у этого слова было совсем иное, чуть ли не прямо противоположное значение. В изначальном русском языке слово «страсть» происходит от глагола «страдать» и означает, по сути, страдание. Все, например, знают о страстях Христовых – под этим словосочетанием подразумевается страшное время от взятия Его под стражу до смерти на Кресте.

При президенте Порошенко отец Иоанн умудрялся служить. Поначалу его вообще не трогали – вялые попытки перетащить его с приходом в раскольничий «Киевский патриархат», продолжавшиеся

едва ли не с момента ухода гражданина Денисенко* от Православия, несколько усилились, но раскольники здесь, на Донетчине, не имели такой силы, как в центре.

Прихожан с каждым днём становилось всё меньше – народ разбегался из прифронтовой Попасной, а те, что оставались, боялись лишний раз пройти по улице – в городе хозяйничали боевики. На местных они смотрели в лучшем случае как на граждан второго сорта. Схватить человека на улице по подозрению в «пророссийской ориентации», всласть над ним поиздеваться и отпустить было для них любимым развлечением. Хорошо хоть, активничали они в основном по вечерам...

На Большой земле находятся такие, кто обвиняет священников РПЦ, служащих на территории, называемой Украиной, едва ли не в пособничестве бандеровцам. Что сказать? Бог им судья. Быть православным священником, не раскольником, под бандеровской оккупацией – это уже подвиг. Вести службы, зная, что в любой момент в храм могут вломиться вооружённые боевики, – никому такого не пожелаешь. На службу отца Иоанна тоже вламывались, но Бог миловал – голос священника до поры, до времени умиротворял даже вечно полупьяных боевиков, и ни разу богослужение не было сорвано. Бог хранил редующий приход батюшки – до тех пор, пока власть не сменилась.

Да уж, назвать Петра Алексеевича Порошенко порядочным человеком – всё равно, что назвать акулу вегетарианкой. При нём сформировались нацбаты, при нём обстреливали города Донбасса – Донецк, Луганск, Горловку; при нём каратели зверствовали в Мариуполе и других оккупированных городах, при нём нацисты не раз и не два пытались отрезать республики от России – и всякий раз оказывались в котле.

При нём террористы взорвали ЛЭП, поставляющие в Крым электричество, при нём перекрыли канал, снабжающий полуостров водой. При нём возобновились массовые гонения на Православие (хотя они и при Януковиче не останавливались, просто затихали до поры), начался отъём храмов, был получен проклятый томос...

Но всё-таки Порошенко был чересчур аккуратен, по мнению его западных хозяев; он не спешил серьёзно задирать Россию, отчасти понимая, что даже при поддержке НАТО Украине в этом случае ничего хорошего не светит, отчасти – потому, что не хотел терять свои активы на территории России.

Поэтому нерешительного Порошенко решили заменить на совершенно безбашенного комика. Смешно сказать, но Зеленский изначально позиционировал себя как чуть ли не пророссийского, обещал закончить войну на Донбассе... и ведь закончить войну на Донбассе он действительно планировал – надеялся разбить силы республик до того, как Россия начнёт что-то предпринимать, и зачистить мятежную донецкую землю от «сепаров» проверенными методами гестапо. А в качестве полигона такой зачистки использовали захваченные бандеровцами города Донецкого края – Мариуполь, Славянск, Краматорск, Соледар...

И, конечно, Попасная.

* Михаил Денисенко (1929–2026), именовавший себя «патриарх Филарет» – бывший митрополит Киевский и Галицкий. Претендовал на место Патриарха Московского, но уступил первенство патриарху Алексию II. Из обиды на РПЦ организовал на Украине раскол, но не преуспел – его «Киевский Патриархат» так и остался маргинальной организацией с крайне малым числом последователей.

* * *

Февраль, день Святого Валентина. Идёт снег, такой крупный, что кажется, будто с неба падает птичий пух. На площади развернулась шумная праздничная ярмарка. В толпе гуляющих много счастливых влюбленных пар, а девушка идёт, легко одетая и беременная, совершенно чужая в этой толпе. На неё оглядываются, показывают пальцами, мальчишки свистят ей вслед, и все кому не лень перешёптываются за спиной дурочки.

– Да лучше бы она сдохла, чтобы так жить! – кривит личико нарядная, одетая в дорогую шубку девица. – Не дай бог, окажись я на её месте, я бы с Горы самоубийц сбросилась.

Девушка слышит её слова, останавливается и смотрит на гору. Затем решается и направляется к ней. Идти ей трудно, живот уже большой и мешает, каменные ступени обледенели. Но девушка упорно взбирается по скользкой дороге, оступается и падает, разбивает колени, но снова встаёт и идёт дальше. От боли и ветра на глазах выступают слёзы, текут по лицу и замерзают на щеках, но девушка не всхлипывает, а улыбается.

– Я прыгну и улечу. Навсегда улечу отсюда. Я знаю, есть такое место, где всё по-другому, я видела его во сне. Я улечу, улечу туда... – бормочет она себе под нос.

Обними меня, ветер, за плечи,
Распуши мои белые крылья.
Унеси ты меня далече
В край счастливый, где нет бессилья...

И вот она уже на вершине, откуда и небо, и птицы кажутся так близки... Девушка видит развалины церкви, от которой остались только полуразрушенные стены. А рядом разрушенная фигура ангела – отведённое в отчаянном усилии крыло, словно кто-то, напрягая все мышцы, пытается разорвать невидимый кокон.

Там, на вершине, девушка спотыкается снова и падает перед самой фигурой ангела, но поднимается вновь. Снег идет всё гуще, и хлопья всё крупнее, словно ненастоящие.

(Олег Рой. Пёрышко)

*Днём вспоминать **недавнее** прошлое было проще. Днём, когда светит солнце, тьма кажется немного нереальной. В январе двадцатого в город стали прибывать войска. Готовилось что-то серьёзное. Батюшку взяли в феврале, бросили в подвал ДК, где уже было несколько десятков таких же, как он, задержанных по подозрению в «работе на Москву» и «сепаратизме». Некоторых вытаскивали наверх, на второй этаж, где проводили допросы, попросту говоря, пытали. Пытали почему-то в библиотеке – какая-то у бандеровских палачей извращённая любовь к библиотекам. Отец Иоанн до сих пор без дрожи не мог вспоминать тот день, когда оказался в этой библиотеке сам – это было в начале апреля, на последней седмице Великого Поста. Сначала его не пытали, просто предложили подписать бумагу о переходе прихода в ПЦУ и передаче храма украинской армии на добровольных началах. Обещали выделить для богослужения помещения в ДК на втором этаже, напротив библиотеки.*

Он отказался. Его не били, просили подумать. Как бы невзначай показали пятна крови на стенах, окровавленный хлыст... в Вербное воскресенье спросили о его решении.

Он опять отказался. Его не трогали до полуночи среды. В среду начали пытать.

Пытали не особо изощрённо. Избивали хлыстом, милицейскими дубинками, самодельным шокером. Раздели до исподнего, переодели в какую-то хламиду из дерюги. Подходили, кривляясь, просить благословения – и били куда попало. Два дня не давали спать – едва закроешь глаза, рывком ставят на ноги и бьют. «Радуйся, слуга Божий!»

В четверг отрубили два пальца. В пятницу выбили зубы и едва не выкололи глаз. Прижигали раскалённым шомполом раны от предыдущих побоев. От боли он терял сознание – его приводили в себя, вливая в горло чистый спирт, который он рефлексивно сплёвывал... Ещё раз предложили отречься – он отказался уже почти что механически, не сознательно. Но отказался.

В какой-то момент отец Иоанн понял, что скоро умрёт – и ошибся.

После обеда пытать перестали, и его мучители куда-то ушли, оставив его наедине с парой молчаливых охранников. Он лежал на залитом его же кровью паркетном полу, боясь пошевелиться – болело всё.

Потом пришли двое. Подняли его, как мешок, отволокли в подвал и бросили там. В подвале народу стало меньше – четверо старушек, все из его прихода, да двое каких-то пожилых рабочих, ему незнакомых. Они, как могли, обтёрли его раны влажными тряпками, собирая ими влагу со стен – никакой другой помощи они ему оказать не могли.

Субботу он лежал на полу и ждал смерти. Вместо смерти ночью опять пришли те двое, а с ними ещё один, в форме без шевронов и знаков различия. Холёный такой блондин, лицо даже интеллигентное. Посмотрел на него, поцокал языком и велел вытащить наверх.

Наверху им занялся местный коновал. Обработал раны, наложил стяжку на обрубки пальцев, правую руку и правую голень забрал в шины. Всё происходило под наблюдением того неизвестного, что пришёл за ним в подвал. Когда фельдшер закончил, тот уселся на кушетку, неведь как оказавшуюся в ДК (вроде раньше отец Иоанн такой мебели там не видел), и сказал:

– Вы крепкий орешек. Сами понимаете, приход вам не вернут, в храме служить вы больше не будете. Но мы предлагаем вам возможность выжить...

– Переходить в ПЦУ... не буду, – еле слышно прошамкал отец Иоанн.

– И не надо, – ответил бандеровец. – У нас тут дети, нужно, чтобы за ними кто-то присматривал и не задавал вопросов. Вы согласны?

Отец Иоанн кивнул, а затем, видимо, исчерпав свои силы, потерял сознание.

* * *

– Смотрите! – кричат внизу. – На вершине кто-то есть! Очередная самоубийца.

– Вот дураки, – качает головой старуха, торгующая пряниками и леденцами в форме сердечек. – Чуть не каждый год в этот день кто-то так и норовит с этой скалы спрыгнуть. Любовь, говорят. Да и в другие дни тоже бывает...

– Молодые. Глупые. Жизнью не дорожат, – вторит ей другая торговка, продающая подушки-сердечки.

По площади идут двое молодых людей, один из них задирает голову, чтобы посмотреть на вершину горы, и шапка падает с его рыжих волос.

– Так это та самая... дурочка... – догадывается он. – Жалко её...

– Ишь ты, какой жалостливый стал! – хохочет его приятель – сын мэра. – У тебя спина не чешется, случайно? Крылья не растут? Нашёл, кого жалеть! Да туда ей и дорога. Мир только чище будет. Чем меньше на свете таких уродов, как она, тем лучше... Ну ладно, будь здоров! Пойду домой к жене, а то она меня совсем запилит. Ох уж эти беременные со своими капризами...

Поднявшаяся над суетой девушка ничего этого не слышит. Она подходит к обрыву скалы и хочет шагнуть вниз. Налетевший ветер толкает её в грудь, отбрасывая от края, и на руку ей опускается маленькое пёрышко. Девушка смотрит на него, бормочет: «Значит, не время», – и поворачивает назад. Идти вниз по скользкой лестнице без перил ещё тяжелее и страшнее, но девушка улыбается, и слёз на её щеках уже нет – точно солнце после дождя выглянуло из-за туч.

Девушка находит себе пристанище на заброшенной голубятне, где ещё остались голуби. Она собирает их перья и пух, они служат ей подстилкой. Девушка счастлива – теперь у неё есть питомцы, и не один, а целая стая! По ночам голуби воркуют, и девушке кажется, что это мать поёт ей колыбельную. А кто-то из городских кумушек рассказывает – вот те крест, своими глазами видела! – будто холодными вечерами голуби слетаются к девушке и окружают её со всех сторон, словно согревая своим теплом. Чего только не придумают люди!

Живёт девушка милостыней, которую просит на главной площади – ведь с тех пор, как рухнул храм на горе, в городе больше не осталось церквей. Подают беременной дурочке мало и неохотно, но, видимо, ей всё-таки как-то хватает, раз она доживает до тепла.

(Олег Рой. Пёрышко)

– Это какая-то очень страшная сказка, – говорит маленькая Варюшка. А вот Света качает головой – она понимает, что эта страшная сказка не страшнее жизни. Её – так точно.

– Сказки часто бывают страшными, – говорит Слава. – Но всегда хорошо кончаются. Эта сказка закончится хорошо, да?

– Я не знаю, – честно говорит отец Иоанн. Он и правда не знает. Эту не-сказку он прочитал в плену, когда выздоравливал. Его держали на втором этаже, в том самом помещении, где ему предлагали сделать храм ПЦУ. Там тоже были книги, и в перерывах между молитвами отец Иоанн читал их. Читал он быстро, но у его книг не было или начала, или конца – книги были разорваны, без обложек, с выдранными страницами...

У этой истории не было конца. Точно так же, как и у истории концлагеря «Вэсэлка».

Сначала его перевели в садик, потом – когда в Попасную уже вошли **наши** – отправили в ДК, но не в подвал, а в уже знакомую комнату наверху, где было много книг. Отправляли в спешке, и именно тогда отец Иоанн сумел стащить грессбух, с которым носился Чёрный человек – тот самый, что спустился за ним в подвал. Отец Иоанн так и не узнал, кто это. Говорил он с едва заметным акцентом, с упором на шипящие, иногда глотал гласные. У «Вэсэлки» он был кем-то вроде коменданта. Проверял каждое утро и каждый вечер детей по списку.

Присутствовал при том, как их уводили куда-то, откуда они больше не возвращались.

Их заперли в комнате, и отец Иоанн жадно приткнулся к окну, из которого ещё не вылетели стёкла, глядя на свой храм. Такой близкий – и такой далёкий. Дети сгрудились вокруг него и тоже смотрели. Снаружи был бой – не прямо на площади, а справа от неё. Бой приближался.

О них словно забыли. Хотя почему «словно»? Наверно, о них действительно забыли. Когда перестрелка приблизилась к перекрёстку, отец Иоанн убрал детей от окон, и вовремя – через минуту шальная пуля выбила стекло. Какой-нибудь голливудский супермен, наверно, воспользовался бы этим для того, чтобы спасти детей из плена, но отец Иоанн не умел летать, как ангел, или лазать по стенам, как человек-паук, поэтому просто собрал всех детей в самом дальнем углу и читал им сказки под звуки стрельбы. К окну он подошёл лишь однажды, вернее, подбежал – когда снаружи так сильно гроыхнуло, что даже уши заложило, и ночь озарилась яркой вспышкой. Сердце в груди сильно сжалось, и, как оказалось, не зря – Никольский храм был объят пламенем...

Глава 7. Дом спасения

Собор святого Николая Чудотворца – Никольский храм – возвели более века назад, в 1909 году. Он пережил революцию, гражданскую войну и Великую Отечественную, его закрывали, превращая то в зернохранилище, то в конюшню, то в Дом пионеров – и всякий раз храм восставал, возрождался, оживал...

И вот теперь он стоит передо мной – истерзанный храм в истерзанном городе. Крыша провалилась внутрь, лишь каркасы над приделами, как скелеты, обозначали места, где раньше сияли купола...

На войне всякое бывает: и шальные осколки, и снаряды не всегда летят туда, куда намечено. Но по храму святого Николая Чудотворца били прицельно. Сознательно. Намеренно. По воронкам легко было определить, откуда стреляли – все снаряды летели с севера, куда откатились вышвырнутые из города нацисты. Видно было, как старались они убить святой храм.

Внутри выгорело все. Даже иконостас сгорел. Даже роспись стен сменилась выжженной чернотой. Лишь контуры святых ликов кое-где еще можно было разглядеть. И – бесчисленные следы бандеровских пуль – словно в бессильной своей злобе они расстреливали даже святые лики. Впрочем, почему – словно? И расстреливали, и жгли, и взрывали.

Убивали храм безжалостно. А он – выжил!

(Дневник Автора)

– Вы, когда сюда ехали, распадок проезжали, – под берцами Шатуна похрустывает что-то, словно он идёт по битому стеклу. – Овраг такой здоровенный, он нам во время штурма очень помог. А когда-то по этому оврагу шла тайная тропа от Запорожья на Дон. Тогда Запорожская сечь была форпостом Русского мира в Дикой степи. И однажды казаки, проезжая по этому оврагу, остановились попить у ручья, который по нему протекал, и обомлели – на дереве висела икона святого Николая Чудотворца. И висела так, будто её туда повесили, когда деревцо совсем маленьким было, а дереву-то уже лет сто было. Мимо него казаки не раз проезжали, и никакой иконы на нём не было!

Образ бережно сняли, привезли в Сечь, и тогда атаман Сирко – был такой деятель, сподвижник Хмельницкого, гонял ляхов да турок с татарами по Южному краю* – повелел на месте обретения иконы за сечевого счёт построить храм. А потом уж вокруг и станица выросла, из которой, в свою очередь, и развилась Попасная. Казаки на местных лугах сменных коней выпасали, так название города и появилось.

Умиротворяющий рассказ Шатуна резко контрастировал с тем, что я видел вокруг. Храм выгорел весь, сгорел иконостас, стены были замазаны чёрной копотью, краска на них тоже обгорела. Кое-где виднелись всё-таки контуры святых, некогда воплощённых на фресках, и я с ужасом видел на этих контурах пулевые раны. Не такие, как пуля или осколок оставляют на излёте, а такие, словно по образам кто-то специально стрелял.

Шатун подтвердил мою догадку:

– Бандеры, когда штаб тут свой держали, над храмом глумились. Расстреливали иконы, писали на стенах похабщину. Может, даже и хорошо, что огонь тут всё очистил. Но есть то, с чем им не удалось совладать. Хочешь, настоящее чудо покажу?

Я кивнул головой, и Шатун потянул меня наружу, во двор, где всё было изрыто воронками.

– Нацисты снова и снова стреляют по храму, но сейчас так уже не развернёшься. Мы их арту срисовываем и сразу по ней работаем, так что прилетает сюда нечасто, но бывает, что прилетает. Пару раз РСЗО пускали, мы перехватили. БПЛА-камикадзе залетают порой.

– Что же им так покоя не даёт? – удивился я.

– Сейчас увидишь, – пообещал Шатун, и я действительно увидел, буквально сразу же.

Позади меня были остатки поклонного креста – фигурке Христа на нём хорошо досталось, вместо рук и ног – обрубки. А прямо передо мной на стене были две фрески. Несмотря на то, что и на них были следы от осколков, не узнать тех, чьи лики смотрели на меня, было невозможно – апостолы Пётр и Павел, называемые Первоверховными...

– Помню, как мы первый раз их увидели, – сказал Шатун, осеняя себя крестом; я последовал его примеру, – как стояли перед этими ликами солдаты России – бойцы ВС РФ, вагнеры, ополченцы, совсем молодые и почти старики. Стояли плечом к плечу православные, мусульмане, буддисты, вовсе неверующие – молча, глотая рыдания, не давая пролиться жгучим яростным слезам. Но они пробивались, оставляя на потемневших щеках светлые дорожки... Немыслимо, невероятно, этого просто не могло быть, что могло уцелеть в этом аду? Те, кто жизнью и смертью своей засвидетельствовали Христову проповедь, оказались сильнее взрывчатки и автоматных очередей, осколков и пламени. Чудо. Знамение!

И суровый Шатун благоговейно склонил голову.

– Надо забрать их отсюда! – с пылом сказал я. – Ведь нацики их в покое не оставят. Ваша разведка говорит, что о них знают, что попытаются уничтожить!

– И как ты их отсюда заберёшь? – спросил Шатун. – Стену придётся пилить. Краном снимать. Думаешь, бандеры будут на это

* Факты, приведённые Шатуном, не точно соответствуют историческим событиям, но Сирко действительно реальная историческая фигура и на самом деле был пророссийски ориентированным, хотя и не без нюансов.

смотреть безучастно? Слышал, дрон пролетал? Это наблюдатель, а иногда и боевые прилетают. Мы их сбиваем, конечно... а если сюда технику подогнать, так нацики могут и чем-то посерьёзнее садануть – «Точкой», «Смерчем», «Ураганом»...

– Так что же, ничего не делать? – спросил я, глядя на профиль Шатуна. Тот продолжал, чуть склонив голову, смотреть на иконы. – Ждать, пока они не найдут способ...

– Да, – перебил меня Шатун, оборачиваясь ко мне. – Именно так. Я верю, что это – чудо Божье. Что Бог не просто так сберёг эти лики. Не для того же, чтобы бандеры их уничтожили, верно?

Я машинально кивнул, но в душе всё равно был не согласен. А если у них получится? Мало, что ли, храмов они уже уничтожили, начиная с 2014 года? На момент начала СВО только в ДНР бандеровцы полностью разрушили семьдесят храмов и почти столько же в ЛНР!

Подойдя к иконам, я опустил на колени и совершил земной поклон, а потом, поклонившись, сказал тихо, но твёрдо:

– Я вернусь за вами. Обещаю, что вернусь.

Мы пошли обратно к ДК, где нас уже ждал Пионер с журналом детского концлагеря. Это важно – вывезти из города уцелевших детей, которым пришлось пережить настоящий ад, доставить на Большую землю свидетельства преступлений нацистской хунты. Это не менее важно, чем спасти чудесные образа, которые Бог сохранил невредимыми в горниле боя...

Выходя, я внезапно услышал тихий, незнакомый голос:

– Ты вернёшься, когда придёт время.

– Я так им и сказал, – ответил я Шатуну, думая, что говорил он. – Что вернусь за ними.

– Кому сказал? – удивился боец. – Ты о чём вообще?

* * *

В храме бандеровцы устроили свой штаб. На колокольне у них был наблюдательный пункт, который очень сильно мешал нашему продвижению. Казалось бы, чего проще – один удар «Пионом» или фабом – и колокольня рухнет грудой кирпича, похоронив всех нацистов в общем кургане... И ведь все это у нас было: и штурмовая авиация с могущественными фабами, и «Пионы» – самые мощные в мире системы полевой артиллерии, и крылатые ракеты, которые невозможно перехватить.

Но – бить по храму?

По храму, по школе, по больнице, роддому, кладбищу.

Они – бьют, не задумываясь. Мы – нет.

Если бы мы воевали, как израильтяне в Газе – СВО закончилась бы за неделю. Попасная не простояла бы и суток. Превратилась бы в груды щебня вперемежку с гигантскими, с дом, воронками.

Ей и так досталось.

В этом разница между нами и ими. Мы воюем ради жизни. Они несут смерть и разрушения. Мы спасаем. Они уничтожают.

(Дневник Автора)

В ДК нас встретила суета. Ещё на подходе было слышно, что перестрелка на севере усиливается. Незнакомый мне боец с гробсбухом под мышкой бросился к нам:

– Что случилось, Шумахер? Где Пионер?

– Отправился на передок, – отрапортовал тот, протягивая мне журнал. – Мне велел вас дожидаться и тоже двигать. Вот...

– Это та самая папка? – спросил я у Шатуна. Он кивнул и спросил у Шумахера:

– А что на севере-то?

– Бандера прёт, як скаженный, – ответил тот. – Даже танки подбросили. И говорят, что разгружается дальнобойная арта. Небось, хотят контрудар делать, чтобы нас с площади выбить, только их... только они скорее устанут. Всё, я к своим...

– Перелёт вызывает Шатуна! – ожила рация на подвесе разгрузки моего сопровождающего. – Шатун, бери своих, БК побольше и двигай на передок. Гостю скажи, пусть дожждётся Мамаю с Могилой.

Шатун посмотрел на меня чуть растеряно:

– Всё слышали? Приказ есть приказ...

– Ага, – кивнул я. – Ну, с Богом тогда. Как вернусь, свидимся.

– Дай-то Бог, – ответил Шатун и поспешил к своим бойцам.

Шатуна я больше не увидел. В тот день он погиб, отражая контратаку ВСУ. Погиб Серый, погиб Шумахер, Пионер был тяжело ранен и отправлен в Москву; он уже три года на лечении, из них год провёл в коме.

Но контратака была отбита.

Мне велели спускаться в тот самый подвал, служивший тюрьмой, и пережидать артналёт. Отец Иоанн с детьми уже были там. Мы познакомились, и до того, как по нашу душу приехал «Урал», за рулём которого теперь был Могила (а Мамай, раненный, сидел в кузове – пока суд да дело, они поучаствовали в отражении нападения нацистов. Мамаю прострелили плечо, а Могила даже не царапнуло), я успел узнать и его историю, и историю его «цыпляток». Ужасную историю каждого из тех, кого отец Иоанн называл так ласково...

Отец Иоанн помог погрузить детей в «Урал», но сам с нами не поехал:

– Моё место здесь, – сказал он. – Рядом с храмом. Среди бойцов, среди тех, кто останется здесь жить.

– А как же сказка? – разочарованно спросила его малютка, которую, как я знал, зовут Варя. – Ты же нам её не досказал.

– Вам вот этот дядя доскажет, – улыбнулся батюшка. – Он сам пишет сказки, и эту тоже он написал.

– Какую? – спросил я, и отец Иоанн назвал мне одно из моих произведений. У меня глаза на лоб полезли от удивления.

– Я читал эту книгу, – признался отец Иоанн, – когда был в плену. Правда, у книжки не было конца...

– Ой, дядя, это правда вы написали? – затараторили дети. – А вы нам её расскажете? А там всё закончится хорошо?

И я понял, чем буду заниматься, пока «Урал» без огней на предельной скорости будет мчаться по «дороге жизни». Я перескажу им эту историю, правда, наверно, чуток изменив её, чтобы сделать конец ещё более счастливым. Эти дети нуждаются в сказках со счастливым концом, пусть даже страшных. Их собственная жизнь тоже была страшной сказкой, но какой же я писатель, если не смогу сделать так, чтобы у этой сказки был счастливый конец?

Под звуки далёкого боя наш «Урал» тихо покинул площадь перед храмом и двинулся в сторону Дачного, а святые Пётр и Павел, перед которыми оказались бессильны обстрелы бандеровцев, провожали нас своими взглядами...

Вместо эпилога (Из дневника Автора)

Вернуться в Попасную мне удалось только через три года. Всё это время храм и святые лики то и дело приходили мне в снах или просто всплывали в памяти. И всё это время храм продолжали убивать: обстрелы, совершенно бессмысленные с точки зрения военной да и какой-либо иной логики, следовали за обстрелами, превращая и без того израненный собор в руины.

Петр и Павел продолжали строго и скорбно взирать на творящееся бесчинство.

Когда нацистов отбросили настолько, что уже и дальнобойная арта до Попасной не доставала, обстрелы сменились атаками дронов.

Лики Петра и Павла, со следами огня и шрамами от осколков, продолжали глядеть все так же твердо и сурово.

Храм мы, разумеется, восстановим. Но не прямо сегодня. А чудом уцелевшие образа нужно было спасти. Наша команда получила одобрение и поддержку на всех уровнях. На всех, понимаете?

И в 2025-м мы двинулись к храму, от которого в 2022-м уходили к Дачному. Почти три года Петр и Павел глядели на проходящих мимо святых стен наших воинов – и безмолвно благословляли их. Как когда-то святой Сергей благословлял воинов Дмитрия Донского. И у каждого вздрагивало сердце: что, если один из дронов все же сумеет исполнить свою чудовищную задачу?

Наша команда, в общем, представляла, что нужно сделать технически: выпилить кусок стены с драгоценной фреской, погрузить на машину, вывезти в безопасное место, потом доставить в Москву, где ждали реставраторы.

Вырезать, погрузить, вывезти – звучит не очень сложно. Вот только в любой момент наши действия могли срисовать с дрона – и ударить, уничтожая шанс на спасение святых ликов.

Но – глаза боятся, руки делают. После длинного переговорного дня – где взять оборудование, машину, кран для погрузки, кто поможет, кто за что отвечает, – я провалился в сон, как в пропасть. Завтра предстоял тяжелый день. Справимся ли? Вдруг стена, когда мы станем вырезать ее часть, рухнет, рассыпаясь на обломки, дробя святые лики?

Проснулся как от удара. Там, в сонных глубинах, надо мной прозвучал голос, тот самый, что я слышал, когда покидал территорию храма:

– Не надо пилить стену! Образа закреплены на штифтах, достаточно перепилить их, и обе фрески можно будет легко снять.

И мы сели еще раз пересматривать сделанное возле храма видео: медленно, останавливая то один, то другой кадр. И – увидели! Разглядели те самые штифты, что крепили фрески к основной стене!

Кто-то скажет, что мы и раньше это видели, просто не осознавали увиденное. А во сне оно превратилось в тот самый голос, что подсказал решение. Может, и так. В некотором смысле. Потому что решение пришло очень уж вовремя. Мне думается, что мозгу для прозрения требовался некий толчок. И небеса – а как иначе? – дали этот толчок.

Остальное – по-прежнему опасное, но после столь явного благоволения небес уже не столь пугающее – было делом техники. Мы сняли фрески и со всей мыслимой и немыслимой осторожностью, со всем благоговением доставили лики апостолов в Московский музей Победы на Поклонной горе, в руки опытейших реставраторов.

Потом их вернут в Никольский храм. В возрожденный, восстановленный, прошедший через ад – и выживший. Смертию смерть поправ.

И Попасная перестанет быть городом-призраком. Восстанет из руин и пепла. Поглядите, с какой скоростью возрождается Мариуполь. И планы восстановления Попасной уже разработаны. В отстроенные жилые кварталы вернутся жители, откроют свои двери школы, примут первых посетителей новые современные поликлиники, и над детскими площадками – они тоже появятся, и много! – будет звучать не гул канонады, а лучшая в мире музыка – детский смех.

И поплывут над ними голоса колоколов. И вековой храм вновь откроет свои двери, а ставший военным священником протоиерей Иоанн снова принесёт бескровную жертву и будет раздавать Тело и Кровь Христову своим прихожанам, среди которых наверняка будут те, кто уезжал из Попасной по «дороге жизни», слушая, как я читаю свой рассказ, найденный когда-то священником-узником в библиотеке Дома культуры, который нацисты пытались сделать домом смерти.

Те, кто пытался убить этот Храм, зовут себя воинами света. Но – по делам их познаете их.

Они расстреливали безмолвные лики, метя в глаза, что смотрели с немим укором на тех, кто был создан по образу и подобию Божьему, и потерял и образ, и подобие, обратившись в грязных свиней с натовскими автоматами. То, что в них еще оставалось от живой человеческой души, от совести, от тихого голоса Бога, жгло их. Насквозь пронзали взгляды кроткого Христа, скорбящей Богоматери, бесчисленных святых. И они стреляли, жгли, взрывали – чтобы погасить святые глаза – глаза, что глядят прямо в душу. В то, что от нее еще осталось.

Они взрывают храмы и памятники, оскверняют кладбища, отрекаются от предков, сжигают библиотеки и школы, продают старинные иконы и книги – а если не удастся, просто уничтожают.

Они – армия тьмы, чумы и смерти, воинство дьявола, бесы смердящие.

И с этими силами сражается в СВО русская армия. Многонациональная, многоконфессиональная. Во многих частях есть и свои храмы. И священники есть. И православные, и мусульманские, и буддистские. И сражаться им нередко приходится плечом к плечу с теми, кого окормляют. И награды боевые носят с почтением и гордостью. А после, когда можно отложить автомат, идут спасать и поддерживать. Вrachевать души.

И благословлять воинов, идущих на битву с самой смертью. Благословлять на тяжелую – но такую необходимую – работу.

– Что ты делаешь? – спросил я каменотеса.

– Я строю храм, – улыбнулся тот, расправляя усталые плечи.

И Никольский храм вновь восстанет. И лики апостолов Петра и Павла вернутся в возрожденный храм – на свое место. Святое место.

Послесловие: эта повесть написана на основе реальных событий, но не полностью им соответствует. Мне хотелось охватить много тем, связанных не только с Попасной и Никольским храмом, но и со множеством других городков и храмов Донбасса. Поэтому не надо говорить, что на самом деле всё было не так.

Если близко подойти к картине великого художника, вы увидите полотно, покрытое мазками краски. Но если отойти подальше,

то эти мазки превращаются в прекрасную картину. Я хотел нарисовать картину того, что происходило и происходит сегодня на Донбассе.

У всех моих героев есть реальные прототипы, все события происходили в действительности – в разных местах на огромной территории Спецоперации. Художественная книга позволяет собрать это воедино, чтобы показать читателям всю полноту того, что происходит.

Но главное то, что есть Никольский храм, который, я уверен, возродится вместе с самой Попасной; есть чудесные образа, пережившие ужасную десятилетнюю войну, в том числе, почти пять лет находившиеся под угрозой уничтожения. Есть дети, которых спасает Россия, потому что для нашей Родины, для нашего народа нет чужих детей и ценна любая маленькая жизнь.

И есть герои – солдаты российской армии, бойцы «Вагнера», ополченцы – те, кто своей кровью, своими жизнями прокладывают путь к Победе.

И есть Бог, Который с нами. Потому, что наш враг несёт смерть и разрушение, а мы несём спасение и жизнь!

Владимир КРУПИН

Родился в 1941 году в селе Кильмезь, Кировская область. Сын лесничего. Работал слесарем, грузчиком, рабселькором районной газеты. Служил в армии в ракетных войсках. Окончил факультет русского языка и литературы Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской. Работал учителем русского языка в школе, редактором и сценаристом на Центральном телевидении, редактором в издательстве «Современник», преподавал в Литературном институте, в Московской духовной академии, был главным редактором христианского журнала «Благодатный огонь».

Автор десятков книг, многих повестей и рассказов, романа «Спасение погибших», путевых заметок о Ближнем и Среднем Востоке, о Константинополе, «Православной азбуки», «Детского церковного календаря», книги «Русские святые» и других.

Лауреат Патриаршей литературной премии им. Кирилла и Мефодия, Всероссийской литературной премии им. Святого благоверного князя Александра Невского. Награжден Золотой медалью им. А.С. Пушкина (Высшая награда Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь»). Обладатель Гран-при литературной премии «Моя Россия» За вклад в отечественную литературу, возрождение и сохранение духовных и исторических ценностей России (Высшая награда литературно-исторической премии «Моя Россия» Союза писателей РФ). Кавалер орденов Дружбы народов, Святого равноапостольного великого князя Владимира 3-й степени, «Высокая степень творения» правительства Палестины.

Член правления Союза писателей России. Живет в Москве.

В сентябре Владимиру Николаевичу исполнилось 85 лет.

Редакция журнала «Нижний Новгород» поздравляет крупнейшего православного писателя, публициста и нашего автора с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и Божьего благословения на новые литературные труды.

ЗАСТОЙНЫЕ ВРЕМЕНА

В тот давний морозный декабрь в Вятке, куда я примчался из слякоти и туманов Москвы, я был здоров, счастлив и молод. Первые мои рассказы, напечатанные в столичных журналах, дошли до родины, один даже с фотографией, что восхищало. Вот не вру, увидел в троллейбусе девушку, читающую мой рассказ. «Это – судьба», – забилося сердце. Я с ходу подсел, она покосилась, отодвинулась, а я сообщил: «Это я написал». Она ответила: «Иди, дядя, проспись». С тех пор не ищу контактов с читателями. С московскими. А Вятка? Вятка – это Вятка. Конечно, нет пророка в своем Отечестве, тем более в недоверчивой Вятке, но ведь родина. Родина. Родила и вырастила, как не мечтать чем-то отблагодарить. Вот и считал свои рассказы малым вкладом в «малую» родину. Малой родиной называли место рождения писателя. Для кого малая, а для меня – всесветная. Таковой же она была и для вятского русского поэта Анатолия Гребнева, живущего в Перми. Именно с ним мы встретились в эти морозы. Навестили писательскую и журналистскую организации, сходили во главе большого коллектива

пишущих в баню, естественно, в номера. Естественно, с допингом для увеличения радости жизни. Вымылись и выслушали новости светской жизни областного центра.

– Нет, Толя, – сказал я, когда мы остались одни, – это счастье, что мы живем не в Вятке. Счастье. Приехали и уехали, а живи тут постоянно? Ведь это надо было бы участвовать в «борьбе». Ну чего вот он (я назвал фамилию) с бабами связался?

– А этот, – Толя назвал другую фамилию, – уже рехнулся от сознания своей гениальности. Ты слышал, он говорит: я – вятский Гоголь.

Я передал Толе приветы и поклоны от Анатолия Кончица, прекрасного писателя, тоже, естественно, вятского, живущего в Москве. Он сын сосланного в Вятку белоруса и подосиновской женщины. Не женщина из-под осины, а район такой, Подосиновский. И пересказал Толе до сих пор не напечатанную повесть Кончица. О ней чуть дальше. Пока же закончу рассуждение о климате провинциальной культурной жизни в сравнении с московской. В провинции враждуют всерьез и подолгу. В писательской организации из десяти членов всегда восемь партий. Вражда идет до гробовой доски, закручивает события, втягивает и ближних, и дальних. В Москве враждовать некогда. Во-первых, в Москве никому ни до кого нет дела, во-вторых, в Москве много писателей, и все гении, в-третьих, событий, то есть сплетен, такое количество, что их не переварить. Утром узнаешь, что такой-то уехал в Израиль, к обеду – что такой-то оттуда вернулся, а такая-то ушла от такого-то к такому-то (так ему и надо), вечером в ЦДЛ подрались (вчера тоже дрались, но как-то не так, сегодня ярче, милиция была), такой-то выдвинут на премию, а такой-то задвинут (конечно, надо наоборот, да разве ж эти там, в секретариате, чего-нибудь понимают), того-то избрали, а того-то прокатили (надо было обоих прокатить), а эта сучка только приехала из Франции и уже включена в делегацию в Италию («а ты что ж, не знал, она же стукачка»), то есть такое количество событий, стычек, лагерей, заседаний, что когда уж тут подолгу враждовать. Одно было и продолжается противостояние: евреи и русские. Но как-то же уживались, сидели на одних совещаниях, пьянствовали вместе, делить, конечно, было что (издания, звания, премии, квартиры, поездки...), но как-то и это решалось. Я потом долгие годы был в Приемной комиссии, сейчас некогда, а надо бы рассказать, как принимали в Союз писателей. Если мы, русские члены Приемной комиссии, не принимали в Союз еврея, причем совершенно по объективным причинам (бездарен, тягомотен, мало написал, подождет), то члены комиссии евреи тут же автоматически зарезали русского, будь он хоть расталантлив. Но как-то все же договаривались. Напрямую говорили: «Утóпите нашего Сашку, мы вашего Лёву тормознём». Проходили оба, Союз писателей рос.

Именно в ЦДЛ я познакомился и мгновенно сдружился с Анатолием Кончицем, земляки же. Он часто звонил и забавлял, например, тем, что вот сейчас перечитал «Господина из Сан-Франциско» и понял, что в России только три прозаика: «Ты, я и Бунин». – «Тут у меня еще Женя сидит», – говорил я. «Да, и еще Женя». Но это он так шутил, а сам был скромнейший, совершенно не пробивной человек. Он написал повесть, где главный герой – унылый маленький человек нашего времени. Комната в коммуналке, зарплата ниже уровня моря, кто такого полюбит? Но однажды в его комнате вдруг отъехала в сторону стена, за ней открылся сад, беседки, выскочил швейцар в позументах и пригласил: «А пожалте, барин, для аппетита погулять». Вот такой сюжет. Швей-

цар, имя его Филимон, любил барина. У берега тихой речки, конечно с лебедями, пели девушки в сарафанах, доносилась свирель пастуха. И барин, совершенно разнеженный, говорил Филимону: «Дай-ка ты мне, братец, в руки пистолет да поставь-ка ты себе на голову яблоко». «А не портили бы вы яблоко, барин», – отвечал Филимон, нисколько не сомневаясь, что барин попадет не ему в лоб, а в цель.

Толя, посмеявшись, сказал вдруг:

– А что, барин, не мало ли мы погрелись?

Мы стояли среди морозного тумана. Окутанные седым снежным куржаком, извергая мгновенно замерзающие облака выхлопа, проносились автобусы. Скрипели валенки торопливых закутанных прохожих. Непонятное время как бы умершего от холода дня подстрекало к сопротивлению. Тем более после бани боялись простыть.

– Да, Филимон, – отвечал я. – Не будем портить радость от встречи разговорами о роли интеллигенции в ее личной жизни.

Но в тот же вечер мы снова нарвались на такие разговоры. Нас зарканила областная гроссдама (прошу только не думать ни на кого из знакомых вятских женщин), её давно нет в Кирове, тогда же она держала своеобразный салон. У неё, помню, были какие-то прыгающие по стенам и потолку пресноводные лягушки. Это добавляло ощущений. Театральная и околотеатральная публика, телевизионщики, еще кто-то пели и пили и говорили услышанное по «Голосу Америки». Наша интеллигенция, что для нее, увы, естественно, верила разным «голосам» сильнее, чем голосу Москвы. Виновата и Москва (очень дубовые тексты звучали над страной), но и сама интеллигенция, которой со времен предателя Курбского, а его демократы числят в основателях русской интеллигенции, кажется, что все заграничное лучше всего. Мне слышать то, что слышал-переслышал в ЦДЛ, было уже и невмоготу. Господи Боже мой, я на родине, в богоспасаемой Вятке, и снова должен слушать бесконечное: Сталин, евреи, свобода творчества, пример Запада, отношение к интеллигенции, оплата творчества по таланту (все же таланты!), сколько можно?

– Я ухожу, – сказал я Толе. – А ты, барин, как изволишь.

Игра в барина и Филимона уже привязалась к нам, только мы так и не поняли, кто из нас кто – кто барин, а кто слуга.

– И на кого ж ты меня покинешь? – отвечал Толя. Мы выбрались из-за стола вроде покурить, оделись в прихожей и самым примитивным образом эмигрировали. Так сказать, безвизно. Мороз еще подбавил. Троллейбусы уже не ходили. Стали ловить машину. Толя остался на остановке, поставив на скамью портфель и высказывая голосовать проезжающим, я перешел на другую сторону.

Машину-то мы поймали, а вот портфель у нас свистнули.

– Да, – сказал я, – очарование родиной продолжается. – Мы недолго бы переживали, если б портфель пропал без содержимого, но он пропал именно заряженным. Мы стали искать то, чем можно было б залить горечь интеллигентских дискуссий. Конечно, с высоты лет легко нас осудить: шли бы спать, и всё, но поставьте себя на наше место. Приехали на родину, давно не виделись.

Выручил писатель Владимир Ситников, спасибо. Он совершил нерядовой поступок, когда в глухую полночь вышел на наш звонок на площадку квартиры, сразу все понял и помог.

На улице у меня лопнула подошва зимнего австрийского ботинка. На такие морозы она явно была не рассчитана. А ведь знали же немцы,

что в России есть генерал Мороз. Быстро забыли. Нога моя заколела в минуту. Вприпрыжку мы побежали ночевать к моему брату.

Утром брат залил пространство щели на ботинке каким-то особым клеем.

– Погоду слушал, – сказал он. – У тебя, Толя, в Перми, гораздо теплее.

И вот эта случайная фраза брата о погоде решила нашу судьбу. Сидели на кухне и все прокручивали вчерашнее сидение с вятским бондом. Разговоры его ничуть не отличались от разговоров и в Москве, и в Перми, рассуждали мы. У интеллигенции всегда все виноваты, но не она. Любимая тема – говорить о привилегиях начальства. Это же показывает зависть говорящего. Вторая любимая тема – обсасывать уже прошедшие события истории, которые уже не изменишь. Но зато сколько возможностей показать ум. Третья тема – осуждение пишущих (рисующих, играющих) собратьев. Конечно, все бездари. И так далее.

– У нас в Перми, – сказал Толя, – есть два поэта.

– Два? А ты? А?..

– Два враждующих. Зовут Штепсель и Тарапунька. Один – два метра, другой – метр с кепкой. Метр с кепкой написал: «Мировоззрение окраин центростремительней ума». Завихрение, конечно, но имеет же право. А высокий, Тарапунька, стал высмеивать: у этого шплинта и мировоззрение. Что ты! Обида, вражда. Если один пришел в Союз писателей, другой не придет.

– И у каждого читателя, так ведь?

– Естественно. А поехали-ка, Филимон, на вокзал, – сказал Толя. – Выпьем там. Не для пьянства, а чтоб не отвыкнуть для.

Поехали. Моментально схватили такси. Вообще, в дореформенной России с такси не было проблем, в Вятке особенно. Такси можно было вызвать из уличного телефона-автомата. Звонишь – через три минуты выезжает из-за угла. Еще через пять минут водитель становится хорошим знакомым, а к концу поездки – преданным товарищем. Для начала Толя всегда читал стихи Передреева: «И вот стою и погибаю среди райцентровской грязи. Вот снова руку поднимаю, вот умоляю: подвези! Шофер берет меня, сажает, а я ему не сват, не зять. Шофер глаза свои сужает, соображает, сколько взять...» Вятские таксисты, в отличие от московских, глаза не сужали, брали по счетчику (что, кстати, было очень недорого), а один раз возивший нас таксист заявил: «Парни, это я вам должен платить, а не вы. Я с вами, парни, как в кино сходил». То есть умели мы поговорить с народом. Правда, народ был не нынешний. А таксисты, думаю, уже и забыли, когда возили простых людей.

Опять у меня перекидка в нынешние времена. Но, когда вспоминаешь, невольно сравниваешь. Поминая дни древние, поучаешься в них, говорит Псалтырь. Так и мы. Все познается в сравнении. Чем плохо жили? Да ничем. Главное, не боялись завтрашнего дня. Стали недовольны жизнью – получай. Недовольство жизнью всегда ведет к ее ухудшению.

Толсто замерзшие стекла вокзального ресторана не пропускали ни свету, ни изображения того, что происходило на перроне. Слышен был шум уходящих и приходящих электричек, гудки электровозов.

– С этими разговорами, – сказал я, – будто из Москвы не уезжал.

– А я из Перми. У нас же тоже и «Немецкую волну», и «Свободу», и «Голос Америки» слушают. Глушат, конечно, да что толку. Антенны насобачились делать, приёмники делают помощней. За высокую техническую грамотность! – поднял Толя бокал.

– И за низкую национальную сознательность! – поднял я свой на- встречу. – То есть за то, чтоб она возросла.

– Как всегда будет поздно, – хладнокровно отвечал Толя. Он закурил, порассматривал ногти на пальцах, поднял взгляд и весело предложил: – А поедем, Филимон, в Пермь. Сказал же брат – там теплее.

– Тогда уж в Москву. Там вообще оттепель. Мы почти посередине. Жребий?

– Жребий? – Толя уже достал спички и одну из них обезглавил. – Но! Вытянем Москву, а вдруг вначале пойдет на восток. Давай, барин, поедем туда, куда пойдет скорее.

– Давай.

Мы поднялись в кассовый зал, к расписанию. Вышло в Пермь. Билеты, правда, были в общий вагон, но что с того.

– Зима, мороз, и все куда-то едут. Ну мы-то хотя бы освежить взгляд зрелищем заснеженной России, а все-то куда? – спрашивал Толя, проверяя запасы огня и дыма, сигарет и спичек.

Поезд, на диво, пришел и отошел вовремя. В вагоне было так натоплено, что по нему бродили в майках. Плакали дети, орали динамики. Вагон был чуть ли не двадцатый, хвостовой. Выехали за привокзальные стрелки – и все равно мотало. Толя уже узнал, что в поезде ресторана нет, есть буфет, но что и это не то.

– Почему?

– Как говорят психологи, выслушай информацию со знаком минус: в буфете только аква минерале. – Толя сделал паузу. – А теперь выслушай информацию со знаком плюс: в первом вагоне у проводника, официальная кличка Игорь, есть. Правда, надбавка за подпольную продажу, ну-к что ж. Идем? Водка от гонений крепнет.

Тогда, опять же кстати, качество спиртного было данным, то есть надежным. Демократического пойла, убивающего людей, вроде «королевского» спирта «ройаль», вроде чудовищной ацетоновой бормотухи не было и в страшном сне.

Мы оставили полушубки и пошагали налегке. Представьте эти два десятка вагонов, в которых жар и духота, и эти снежные тоннели тамбуров, эти тяжелые обросшие ледяным свинцом двери. Вечность мы шли до этого Игоря. Он оказался на месте, выслушал пароль от нашего проводника, назвал сумму. Мы к тому времени уже умели не удивляться. Купили расположение этого Игоря еще и тем, что сообщили: одну распечатываем с ним, одну берем с собой. Платим за обе.

– Вот такой пошел клиент у тебя.

Добру добро откликается – в служебном купе появились и горячая картошечка и рыба, также огурчики-помидорчики, вызвавшие в памяти частушку: «Эх, огурчики-помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике». Хоть и не убивал, а в частушку для закрепления в народной памяти попали оба. Посидели душевно, пошли. И снова эти контрасты жары и полярного холода, снова эти перемерзшие окна, за которыми что-то проносилось.

– Как в метро едем, – сказал я на середине пути.

– Слушай, барин, беря в рассуждение то, что от этих сквозняков и мороза ни в одном глазу, а также трудность добывания горячего, а также то, что все равно снова идти, то...

– Не из горла же.

В том же вагоне, в котором пришло разумное решение, мы обратились к проводнице как близкие друзья Игоря. Да и без Игоря мы были

в своем народе. Огурчиков не было, но чистые стаканы, но хлеб, но шоколадка предстали в ту же минуту. Посидеть с нами проводница от-казалась. Оставила нас из деликатности одних, пошла подметать.

– Надо бы ей стих сочинить, – предложил я. – Еда на уровне минис-тров, да и обслуживают быстро.

Толя подхватил:

– Нам так понравилось сидеть, что захотелось к вам опеть.

Мы все прибрали, вышли в тамбур. Толя курил, я мёрз. Пытался продышать глазок в стекле. Вроде протаивало, но как только отслонял-ся, чтоб набрать воздуха, глазок затуманивался, как засыпающий.

– Удмуртию, наверное, проезжаем.

– Не Удмуртию, а Глазовский уезд Вятской губернии, – поправил Толя. – Мы вятские, чужого нам не надо, но наше отдай. Нас вообще кругом обтяпали. Чайковский был наш, стал удмуртским, это что? За-болоцкий отошел к марийцам, Шалапин к татарам, Шишкин к ним же. Что ж осталось? Васнецовы только. Ну что, Филимон, к Игорю?

Игорь уже был не проводник, а полупроводник, как мы его потом на-звали. Но, выпивая, он не хамел, цены не прибавлял, только все обещал начистить морду электрику состава.

– Он же всю дорогу дрыхнет. Вот и отоварил Райку. Нет, начищу! Будет блеснуть, будет!

– С мордой не связывайся, – посоветовал Толя. – Пристрели и вы-кинь. Проще. Вместе с Райкой.

И опять этот поход из головы в хвост. По пути благодарили про-водницу, обещали написать ей стих. В этот раз все-таки решили пойти до своего вагона, а то как бы наши полушубки не скоммуниздили. В вагоне полушубки были на месте.

– Филимон, давай пока не будем открывать, давай вначале сочиним, обещали же.

Соседи по купе засобирались выходить. Верещагино.

– Уже Верещагино! – ахнул Толя. – Да, барин, вот как, оказывается, надо преодолевать пространство. Преодолевать его в движении. Лежа мы бы так быстро не ехали.

Мы улучшили жилищные условия, то есть перебрались с боковых мест на перпендикулярные им. Стали сочинять. Я письменно, Толя устно.

В жаре, на полке боковой,
Над колесом, у туалета,
Я ехал к крестнику домой,
Он был поэтом.
Крик жен, храпенье их мужей,
Хрипенье радиоэфира,
Казалось мне, что нет уже
Другого мира.
И обескровленный листок
В окне метался.
Изнемогая, на восток
Я продвигался...

Окончание я забыл, да это и неважно. Толя, как профессионал, со-чинил гораздо лучше: «Надоело болтать и стограммить под хмельную чечетку колес. Я сумею состав застопкранить, я успею уйти под откос. Вы меня ни за что не найдете, мне на вас глубоко наплевать. Ах, какие на поле ометы, я в ометы уйду ночевать. Добреду до ближайшей соло-

мы, с головою заруюсь в лучи и усну в золотистом уюте как у мамы на русской печи. – В конце стояло: – Не забыт он, не предан, не запит родниковой отчизны исток. Мне на Вятку, на запад, на запад, но колеса стучат на восток».

Толя щедро похвалил мои способности к рифме, но поправил:

– То, что я твой крестник, ты верно отобразил, но почему про этого крестника: он был поэтом? Был? Если так, то я сумею состав застопкранить. Все будут как обескровленные листки метаться.

– А на кого это тебе глубоко наплевать?

– Как на кого, на врагов России.

В Перми от мороза, прямо на вокзале у меня лопнула вторая подошва, и первая, та, которую лечил брат, тоже треснула, но не по склеенному, брат сделал на совесть, а рядом.

– У тебя дома клей есть?

– У меня, как в Греции, все есть, – отвечал Толя. – Но ты что, думаешь сдаваться? У меня и жена есть, даже и вятская, то есть даже больше, чем хорошая, да ведь жена-а. Но! Барин, сейчас хоть и темно, а ведь еще и шести нет. Помнишь шутку: до семи пьют семиты, а после семи антисемиты. Поехали в Союз, там точно кто-нибудь есть.

О, эти бесконечные пермские улицы, проспекты, гигантские площади. Ну зачем, скажите мне, иметь в городе улицу, конечно, имени Ленина, длиной в семьдесят километров? Одно утешало, что в Перми есть своя Царь-пушка размерами больше Царь-пушки, стоящей в Кремле. Причем важное отличие: кремлевская пушка так и не выстрелила, а пермская и стреляла, и еще вполне может стрелять. Сведение, ценное для нынешних времен.

Приехали в Союз писателей. Там было народисто. Рядом с Союзом писателей был клуб МВД, конечно, имени Дзержинского. В нем мы быстро достали все необходимое для радости встречи. Вот, кстати, тоже глагол: достать. Этот глагол гораздо энергичнее, нежели глагол «купить». Купить любой может, а ты достань. Достать – дело творческое. Загрелась казенная посуда, с меня требовали московских новостей. Но я всегда замечал, что в провинции больше знают о Москве, нежели в самой Москве. Высокий поэт, назовем Александром, завладел вниманием.

– Этот шплинт, – сказал он, – этот шибздик имеет мировоззрение.

– Хватит тебе! – закричали присутствующие.

– О! – вдруг встрепенулся Толя, сидящий рядом. – Ведь Славка рядом живет. – Толя вышел. Потом я понял, что он звонил поэту маленького роста, просил прийти в Союз.

Тут началось и блистательно произошло событие, положившее конец поэтической вражде. Событие задумал и провёл Толя. Он примерно рассчитал время прибытия Славы и наполнил бокалы.

– За Пушкина! – возгласил он.

Возражений не было. Только встали (за Россию, за Пушкина, за женщин – стоя), как в дверях появился Слава. Александр поперхнулся, Слава попятился, но Толя подскочил к дверям, загородил Славе выход и закричал:

– Тих-ха! Саш, скажи только одно: хуже или лучше Пушкина ты пишешь? Мы знаем, что ты прекрасный поэт, ты заработал бессмертие, но вот кто лучше: ты или Пушкин?

Александр помялся, переступил (все ждали ответа) и угрюмо проворчал:

– Ну, Пушкин.

– А ты, Слав? – тут же обратился Толя к маленькому ростом. – Ты лучше Пушкина пишешь, а?

– Что глупость говорить? – ответил Слава. – Пушкин же.

– Итак! – поднял руку Толя. – Вы оба пишете хуже Пушкина, так чего вам делить? Чего? Ну-ка, брудершафт!

Мы загудели одобрительно, стали подталкивать противников друг ко другу. И – свершилось: Толя с помощью Пушкина покончил с враждой, вырвал её корни. Славу и Александра посадили вместе. Александр отечески подливал соседу и гудел:

– Плюнь ты на эти мировоззрения, пиши проще. Как у Пушкина: мороз и солнце, понимаешь, прибежали в избу дети... так и молоти.

Сидение закончилось. Тогдашний секретарь пермского отделения Союза писателей Николай Николаевич Вагнер позвал нас к себе. Много лет назад он похоронил жену, больше не женился, жил одиноко, но очень чисто в трехкомнатной квартире. Сразу отказался от нашего предложения посидеть на кухне, стал накрывать в большой гостиной. Любо-дорого было смотреть, как он постилает чистейшую скатерть, достает из серванта и перетирает хрусталь, фарфор, раскладывает мельхиоровые приборы, извлекает из морозилки запотевшие емкости, нарезает дефицитные продукты. Опять отвлекусь: это была чисто русская советская загадка тех времен: при пустых магазинах изобилие продуктов в домах. На Западе в магазинах все ломилось, а придешь к ним домой – пусто, экономно, ужимисто. У нас всегда полная чаша. Сейчас более начинаем походить на Запад.

Николаю хотелось поговорить с московским гостем.

– Вот этот, – он назвал модную фамилию, – ведь еврей?

– Ну?

– Я сразу понял. Не успел напечатать роман, как уже шквал аплодисментов. А ведь в зубы нечего взять, просто гигантский очерк, а не роман. А вот этот (фамилия) русский, прекраснейшая повесть, и никто ни звука.

– Ни слова о евреях! – закричали мы.

– При Сталине... – начал Николай.

– Ни слова о Сталине, – закричали мы.

– Значит, молчать?

– Есть же третья тема, – о женщинах.

Потом мы воспели этот вечер в стихах: «Коля жил как отшельник игумен, лишь с печатной машинкой дружил, и в горячке писательских буден без излишеств, без пьянства он жил. Только надо ж такому слушаться – был покой монастырский сметён, вдруг явился к нему из столицы барин в туфлях, а с ним Филимон...» Про барина и Филимона мы, конечно, Николаю рассказали.

– С женщинами я вам не помощник, – ответил Николай. – Но пригласить могу.

– Приглашай, – распорядился Толя. – Желательно постарше. Для общения, для интеллекта.

Я вызвался чистить картошку и жарить мясо, они пошли звонить. Слышно было, как Толя энергично уговаривает:

– В такой мороз надо держаться ближе друг к другу. На полчаса? Отлично. В нашей жизни и пять минут могут стать вечностью.

Одну уговорили. Стали звонить второй. Вторая, объяснил Николай, была очень важной женщиной, со склада запчастей. Познакомился, ког-

да ездил доставать что-то для своих «Жигулей». «Писателей, говорит, уважаю. Телефон дала домашний».

И вторую уговорили. И мясо у меня подошло и томилось под чугунной крышкой. Обе приехали чуть ли не враз. Первой та, которую Толя уговаривал особенно жарко. Зрелище было страшным. Потом мы его описали так: «Филимон возле дамы хлопочет, возле дамы ужасной своей, у которой ни сердца, ни почек, ни волос, ни бровей, ни грудей». Вторая была раза в два моложе, но тоже сильно в годах.

Я сидел напротив Толи и видел, что он и страшится, и мужается поглядеть на соседку. Другая, со склада, была проще и веселее. Чем-то ей понравился именно я. Она предложила спеть интеллигентскую песню: «Миленький ты мой, возьми меня с собой». Спели и стали анализировать: кто в центре песни? Эмигрант? Скорее, еще не уехавший, но отправивший в «край далекий» и жену, и сестру. Ведь в краю далеком есть у него и жена, и сестра. Заставили Толю читать стихи. Все было душевно.

Полночь, однако, приближалась. Женщина со склада вполне освоилась в квартире, сообщила мне, что нам надо занять одну из комнат, что уже люди устали, надо дать им отдохнуть, и нам пора. Николай, наклоняясь ко мне, вдалбливал, чтоб я непременно к утру достал крестовину для его «Жигулей». Вот женщина, прихватив в одну руку рюмки, в другую графин (Николай же не мог опуститься до того, чтоб наливать гостям из бутылок), лягнула меня в плечо бедром и пошла. Николай стал меня толкать вслед за ней, повторяя: «Крестовина, крестовина!» Так он меня и затолкал в камеру пыток.

– Миленький, – хлопнула в ладоши женщина, – контрольный звонок, и...

Этот контрольный звонок меня спас. Оказывается, муж женщины уехал в тот день проверять отопление на даче и собирался там ночевать, а приехал туда – все отопление полопалось, трубы перемерзли, и он возвращается. Хорошо еще, заехал к знакомым гаишникам и позвонил с поста. Эти сведения женщина получила от матери, взвизгнула и мгновенно собралась. Я фальшиво и радостно кричал:

– Как? Так сразу?

Вызвали такси. Оно, как и в Вятке, подрулило моментально. Женщина исчезла. Вскоре отправили и вторую. Можно себе представить радостное мужское застолье, которое вслед за этим продолжалось еще дня три-четыре.

Но в этих днях были: и баня, и покупка мне зимних ботинок, не австрийских – отечественных, теплых, надежных, были и встречи с трудящимися и учащимися. Продолжалась игра и в барина, и в Филимона, причем я до сих пор не понял, кто из нас кто. Ослабев здоровьем, я уже не мог ехать поездом. Тем более если б я поехал поездом, то как бы я проехал Вятку? А на нее уже не оставалось сил. И я улетел самолетом. Все было настолько доступно, и настолько мы все это не ценили, что... что теперь!

В Москве измученный Уралом организм схватил простуду уже на трапе самолета при выходе, и вечером того же дня я отправился лечиться. Куда? Конечно, в ЦДЛ. И там, конечно, сидел Анатолий Кончиц, которому я и рассказал о воплощении его литературных персонажей, что его повесть, так сказать, каким-то боком вышла все же в люди.

И какова же, как говорил знакомый писатель кавказских кровей, какова же «марал»? Он не видел смысла в рассказе, если в нем не было любовной морали.

Да, какова «марал»? А никакой. Чего теперь, когда всё в России – и власть, и финансы, и особенно средства массовой информации, театр, кино, – все захвачено, я не скажу – нерусскими, но скажу – антирусскими людьми. Именно так. И мы сами помогли этому. Одно утешает – все это захвачено, а захватчики трясутся от страха. Они же понимают, что Россия осталась с русскими.

Но как же помогли? Очень просто: тем, что подвскивали кухонным борцам, желающим публично говорить правду, желающим жить в другой стране или переделать эту страну. Мало было, что говорили везде и говорили, кто что хотел. Но ведь так хотелось кайфа – тиражировать то, что говоришь на кухне, обнажаться хотелось публично. Ну, обнажились, ну, переделали страну, что ж вам невесело, господа либералишки?

В кратком послесловии сообщаю, что та женщина со склада сама привезла Николаю несколько крестовин, полюбила литературу, выпрашивала мой адрес. Николай выстоял, семья моя сохранилась.

Вот такие воспоминания из времен, когда картошка стоила десять копеек, а в школе детишек учили любить Родину.

НА ТРОИХ

Неистребима мужская тяга к выпивке «на троих». Она сплачивает. Были незнакомые, а через полчаса будто век дружили. Вот летний вечер. На ресторан денег нет, да и неохота и некогда в нём сидеть, на воздухе лучше. День был тяжёлый, стряхнуть напряжение хочется. Как говорится: подшипники смазать. Двое у магазина познакомились, соображают: бутылку на двоих – многовато, можно завестись, а вот на троих в самый раз. А так как рыбак рыбака видит издалека, то тут же находится и третий. Торопился куда-то, но встретились глазами, и всё понятно. Скинулись на пузырьёк, на минимальную закуску, отоварились, ушли в уголок сквера, разлили. Подняли стаканчики разовой посуды. Соприкоснулись ими.

– Звону нет.

– Тебе что, колокола нужны?

– Ну что, как говорится, погнали наши городских!

Новый знакомый выпил, утёрся, вскочил:

– Ну что, парни, спасибо, я побежал.

– Куда? Как тебя?

– Дима.

– По-русски говори, какой Дима? Митя. Чего ж ты так сразу рванул? Поговорить же надо.

– Да я, да я, да к женщине я, в общем, так вот.

– К определённом часу?

– Нет, вообще договорились: вечером приеду. Свататься как бы, в общем.

– Ну, ещё же не вечер. А ты, – первый обращается ко второму, – женат?

– К сожалению.

– А чего жалеть? И женатые живут. Хотя с трудом. Наши жёны в пушки заряжены, вот где наши жёны. Мы бы их в красный угол посадили, да всё бы на них любовались. Ну, пока не получается: то пьянка, то партсобрание.

– Точно. Нормалёк. И у нас собрание. Нет же ничего случайного. Как это так: выпить и сразу разбежаться и не поговорить? А о чём говорить?

– Как о чём? О стране, о международном положении. Вот тезисы: Довели страну, и политика – полное дерьмо, согласны?

– Да, да, трижды да. Как иначе: бабы в генералах, а мужики-генералы воруют, бизнесмены воруют, телевидение врёт, война на дворе, гробы над Россией летят, а смотришь на Москву – сплошь карнавал. Один разврат и ржачка на экране.

– Сажать надо, сажать! Или на лесоповал!

– В окопы!

– Но нельзя же зады повторять, нельзя же опять: рабочим винтовки, буржуям верёвки. Прошли и это. Не помогло.

Разгорячились, выговорились, вроде полегче стало. Третий снова:

- Ну что, парни, побежал я. Или как?
- Ты что, только начали говорить.
- Да, уже сблизились, уже единомыслы. Так что, конечно, будет «или как».
- Мы объявляем пьянству бой, но перед боем надо выпить.
- Повторяют. Хорошо пошло. Митя уже не дёргается.
- Между первой и второй перерывчик небольшой.
- И закуски у них уже побольше.
- Ты что, на свадьбу набрал?
- Ну. Как у меня отец говорил: «С такой закуской с литра не качнёт».
- И вообще, если разобраться, плохо разве посидеть вот так, вечерочком, с понимающими людьми. И хорош в это время московский закат. Ну машины, ну шум, асфальт, но есть и деревья. Находятся и новые темы для разговоров. Они же переживают за страну.
- Где, где ты видишь хоть одну вывеску на русском языке?
- А лица русские видишь? Много их? Сплошная Азия да Кавказ. Чернеет Москва.
- Сибирь желтеет. Китайские драконы.
- А слышите, как командуют? Не кричат: «огонь», а говорят: «выстрел». Зачем два слога? Нет энергии! Резкости нет.
- Надо вернуть суворовское «пли!».
- А ты служил?
- А как же. Срок оттянул. В Заполярке.
- А я в Германии, в погранцах. Ещё до того как Мишка-Борька нас предали. Клоуны хреновы. Ещё и плясал перед ними в Берлине. Стыдоба!
- На могилу ему пивные банки и бутылки бросали. Заработал. А как при вас тогда, там в Германии, немцы с вами общались?
- Ты что! Шёлковые!
- А я тянул в Молдове. Вина попили! Не задаром, конечно, мы им плату, они под колючку баллоны катают. Старшина у нас был макаронник, ворюга, издевался как мог, всю жизнь помню. Западэнец: «Скажи: паляныця».
- Знаете, как по украински команда «Оружие на ре – мень?» «Железяку на пузяку – гэп!»
- Они и обиделись и сочинили: «Москаляку на гиялку – гэть!»
- Да забей ты на это, как моя внучка говорит. О, она меня насмешила. Дали ей домашку, стихи Пушкина учить. Не учит. Говорю: не стыдно? А если бы его ты встретила, Пушкина, какое бы его стихотворение прочитала? И – слышите – отвечает: я бы с ним сфоткалась. Вот радости Александр Сергеичу.
- Государство шестерило перед западным образом жизни, два поколения прогавкало.
- Сильно ты умный.
- Ну не три же.
- А у меня сын говорит: «Правильно ты меня шлёпал». А ведь было – без шоколадки в детсад не пойдёт.
- Не шлёпать, а пороть надо было.
- Ну что, парни? Какой вариант, а? По домам или как?
- Конечно, или как.
- Знаете, у меня, честно говоря, карманные ресурсы выработаны. Осталось, да. Но, но на цветы надо. На шампанское. Хотя можно и без цветов.

– Митя, деньги свои оставь. Сделай всё красиво. Они цветы любят. К нашему сердцу путь через желудок, к ихнему через цветы. А цветы, не я придумал, – остатки рая на земле. Твой вклад – рысью марш! Бери мою карту и беги. Чего получше возьми. Пивка пару приплюсуй.

– Водка на пиво – человек на диво.

– Пивка для рывка.

Митя побежал. Телефоны у приятелей зазвонили. Конечно, жёны. Беспокоятся. Один ответил: на работе тормознули, другой отвечать не стал.

– Скажу: телефон разрядился. А если отвечу, припутает. По голосу поймёт. А так, мало ли что. Сплошные пробки. Застрял, скажу.

– Лучше скажи: автобуса не было. Зачем лишнего врать. Придумал причину, и хватит.

– Именно так. Но сегодня ещё проблема – гости. Конечно, кого Бог любит, тому гостя пошлёт. Ещё и выпить с ними. Но уже в трусах по дому не походишь. Да мне тут и лучше.

– Про гостей знаешь правило? Первый день гость – золото, второй день – серебро, на третий – медь, куда хошь, туда и едь.

– Нормально. А у тебя нормальная жена? В смысле, понимает, какво мужикам?

– Нормальная. В общем и целом. Но на хлеб с ножом бросается. А так – лучше всех. Когда спит. Зубами к стенке.

– А вот чего мы не тормознули? Ведь если Митька не придёт, все равно же продолжим.

– Придёт. Не променяет же нас на бабу. Это только Стенька Разин променял. Но потом опомнился и её утопил.

– Может, он в очереди стоит.

– Какая сейчас очередь? Это раньше очереди за вином из космоса было видно.

– Знаешь выражение: сто грамм не стоп-кран: дёрнешь, не остановишься?

– На эту тему есть лучше: «Взять сто грамм – мало, двести – много, рванём два по сто пятьдесят».

Митя прибежал. Разлили ещё.

– Чего ты столько еды набрал? А это зачем?

– Ничего, правильно. Люди не свиньи, всё съедят.

– Сейчас кассирши везде как попугаи квакают: Хорошего вечера, хорошего вечера.

– Чего не квакать: ограбили и рады. Цены-то какие.

– Так говорили хотя бы: хорошей недели, месяца.

– Тогда уж вообще: хорошей жизни.

– Видели про укров вчера? У них уже бабы воюют.

– Так на мужиков у них надежды нет. У них мужики ещё с той войны бандеровцы. Кукурузник выпустил: родня.

– И у нас воюют.

– Медики! Как без них? О, к случаю вспомнил, из юности армейской песня: «И вот, приходит мне повестка, явиться в райвоенкомат. Мама-ша в обморок упала с печки на пол, сестра сметану пролила... – Дальше война, ранение. – Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка: Давай тебя перевяжу». В порядке вещей.

– Нет, ну все равно, бабы-то зачем? Им надо рожать – главная задача. Смотри, чернеет Россия, южане прут. Рожают без передышки, наши не хотят. Это что, сбой в ритме жизни?

– Не хотят, потому, что во власть пошли. От того и у мужиков пьянка.
– Во всё суются. У меня кошка женского рода, то о штаны трётся, то ничего не жрёт.

– О, животные всё лучше нас понимают. И чувствуют. Я с балкона голубям, если хлеб засохнет, размочу и брошу. Они клюют. А тут вдруг разодрались. Птицы – голуби мира, символ Святого Духа, подумайте, разодрались. Это нам знак. Конец света!

– Да не зашкаливайся.

– А как ты думал: умирать всегда рано, но никогда не поздно.

– Друзья, мы всё на молодёжь валим, а знаете государство Урарту? До новой эры? Письменность на глиняных табличках. Ставим их в параллель к берестяным новгородским грамотам. И что? И там и там: «Какая ужасная идёт нам на смену молодёжь».

– Она сейчас ещё ужаснее. Вообще отпад.

– Сели на шею и ножки свесили.

– Да, всё под откос.

– Не всё! Золота не хватает, да зажритесь им: на Луне платины, она дороже золота, запасов на три эпохи вперёд. Мегатонны!

– И ближе Луны есть. Аляска-то! Наша Аляска. И золото наше. Читали «Золотую лихорадку» Джека Лондона? Вот! Пора Аляску вернуть. Не валяй дурака, Америка.

– А под Ледовитым океаном сколько всего. Кладовая! Сплошной сейф! Отмычки у нас.

– Надо до властей донести: проблема экономическая решаема. Президента обрадовать.

– Да ты и во сне до него не дойдёшь. Да и чего доходить, будто он не знает.

– Тут есть ещё. Тебе налить?

– Ни за что!.. не откажусь.

– Слушайте, а Трамп рыжий или красится? Только его и показывают. Уже и Америку называют Трамп-пункт.

– Сам придумал? Неплохо. Но он бы при царе или при СССР не посмел бы так говорить. Санкции! Больше им и сказать нечего. Спасли Европу, вот благодарность. Да тьфу на них.

– Меня знаете, что прямо трясёт: телепузик этот полечудесник. Вдумайтесь: где Поле чудес? Оно в Стране дураков. То есть где? Получается в России? Публично издеваются! Телепузики, элита хренова. Я вот почему вспомнил, он спрашивает женщину: «А вы кем работаете?» Она: «Я учительница». Он: «Так вы училка? Ха-ха, училка!» Ну такая он мразина!

– Ну, телеящик у нас ещё тот. «Раз пошли на дело, я и Рабинович».

– К чему это ты? Можно без Рабиновичей?

– К тому, что вместе пошли. Знаменитая песня: «Рабинович выстрелил, как он промахнулся, и попал немножечко в себя». Понял? Кто русским яму копает, сам в неё провалится.

– Дай пять! Всё по делу. Надо к голосу народа прислушаться. Голос народа! А он в чём звучит? В сказках, именно в сказках. Жадные всегда терпят поражение. Бедные воспаряют. Америка жадна, ей скоро кирдык. Россия бедная...

– С чего ты взял?

– Её же разворовывают. Вот прямо сейчас, в эти минуты, пока мы выпиваем.

– Ты дослушай. Господь именно России дал природные богатства, а их буржуи – жуки навозные, считают своими.

– И что в этом нового?

– Друзья-товарищи, Россия в женском облике Василиса Премудрая, а в мужском – Иванушка. Предсказано, что Иванушка женится на принцессе. А принцесса-то для России – вот она. Кто? Луна!

– Крепко! А я прямо сейчас открытие сделал. При вас. Луна для Земли, как Ева для Адама. Ева из его ребра, а Луна от Земли произошла. Из экватора.

– Ничего себе, сказанул.

– Тогда уж из Полярного круга.

– Богатая невеста. Приданого у неё – таскать не перетаскать. Надевать корабли доставки и возить платину. Чего тут трудного – два раза вспотеть.

– За что Луну-то грабить?

– Отблагодарим, озеленим. Оттуда платину, а с обратным рейсом, чтоб не было холостых пробегов, семена и саженцы. А кислород уже из камней добывают.

– С луной главное, когда она зарождается, её слева не увидеть. Этого ещё Пушкин боялся. Ехал со свидания несолоно хлебавши, «и месяц с левой стороны сопровождал его уныло»... Подожди, о чём это я? А, о Пушкине. Луны боялся. Сейчас у нас что? Новолуние, полнолуние?

– Сейчас у нас начало двенадцатого. Ночи, если вам угодно. Вы не возражаете?

– О-о. Так это что, пора сдаваться?

– Куда денешься. «Летай иль ползай, конец известен». Не знаю, как у вас, а у меня чётко: заявиться попоздней, тогда, ори она не ори, я сразу в горизонталку.

– Слушайте, а вы по сколько раз ночью в туалет встаёте? Я два-три.

– Я, если вечером без кофе и чаю, то дрыхну до семи.

– А я цикорий пью. Изжогу снимает. Да тут-то что, какая тебе проблема? Никого же нет. Отойди подальше, да и всё.

– А у меня, наоборот, от цикория изжога.

Встают. Пустую бутылку отправляют в урну к двум предыдущим. Честно признают, что многовато приняли на грудь, но бодрятся.

– Хотели по маленькой хлопнуть и финалить. Нет, затянуло. Но вообще, у меня мама всегда: «Выпить можно, напиться – грех». За девятносно прожила. О, она прямо как скажет, так скажет: «Раньше, говорит, мало знали, да всё понимали, а сейчас много знают, да ничего не понимают». А ещё объясняла, почему народ всё хуже: Бога, говорит, забыли. Вот.

– За это и выпьем?

– Может, закодироваться надо, а?

– С чего бы? У тебя что, силы воли нет? Когда кодируются, злыми становятся. Не хочешь пить, не пей. Дважды два. Или культурно выпить. Как мы сегодня: пили на свежем воздухе, хороший разговор, значит, не распьянеем.

– Вообще, феерия, блин!

– Именно! Друзья-соратники! Надо это место запомнить: никто тут нас, никакие менты не тревожили, и мы никому не мешали. Будем сюда приходить.

– Вообще, это только представить, сколько проблем!

– Ничего, глаза бояться, бабы сделают.

– А небо-то чернеет. Кажется, дождик собирается. Как в мультфильме: «Кажется, дождик собирается».

– Отлично: воздух освежит, а то дышать нечем.
– Какой Бог вымочит, Тот и высушит.
– А что ж мы за родителей-то не выпили? А?
– Да, прокол. Но это знак: раз не выпили, то обязаны снова собраться и за них выпить.

– Надо, как не надо. Жить-то осталось полпонедельника.
– Слушайте, а давайте часами меняться. Снимаю.
– А у тебя они точно идут? Или иногда?
– Какая разница. Сейчас вообще всё земное время сместилось.
– Да, я читал: время сжимается.
– Да и мы сжимаемся. Богатыри не мы.
– Ничего, ещё упрёмся.

Крепко жмут Мите руку:

– Ого, ты, брат, силён! Давай женись, не одним нам страдать.
– Да я уже по второму разу пошёл.
– Да хотя бы и по третьему – всё едино. Сколь ни выбирай, ошибёшься.
– Как это: не выбирай? Именно выбирай. Сердце выбирай! Женщины без сердца, что уха без перца.

– Она же живая, значит, с сердцем.
– Не-ет, Митенька, я о женском, настоящем сердце. Которое женственно. Остальное неважно. Женственность, видишь, я даже указательный палец поднял, ничто не заменит.

Сколько их, красотуль, прыгает, где они через пять-шесть лет? В разводе. Причём по их инициативе. Цепляются за всякую хреноту: за косметику, фитнесы всякие, а женственная женщина, это... это...

– Да что ты лекцию развёл? И так ясно. Митёк, своё сердце слушай. Своё! Ну, салют!

По-разному их встречают жёны. Мужья, поговорившие от души, решившие все русские и мировые проблемы, надеются, что жёны одобрят их усилия, но жёны – они же женщины – ничего же не понимают. Одна ругает. Самое выразительное из её краткого монолога, это слова: «Не нажрался ещё? – Но всё-таки говорит: – Там, на плите». Другая подаёт шлёпанцы и укоряет: «А ведь ты обещал, ведь тебе же нельзя, у тебя давление. И гости огорчились, не дождались».

– У всех давление. Люда, мы так хорошо поговорили. Люда, а Путин – это всё путём. У нас был момент истины! Люда, а от гостей ничего мне не осталось? Люда пойми, мы выработали план действий. Люда, до чего довели страну!

– Прости меня, да кто же и довёл-то, как не вы?

А третья женщина, та, что ждёт Митю, всё ещё ждёт.

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами поиска внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки», директор издательства «Книги». Член Национального Союза библиофилов.

Автор многих книг стихов и прозы и многочисленных журнальных публикаций. Участник антологий «Русская поэзия. XXI век», «Молитвы русских поэтов. XX–XXI», «Антология военной поэзии». Лауреат ряда литературных премий: города Нижнего Новгорода в области литературы (трижды), имени Шукшина «Светлые души» (Вологда), Б. Корнилова (Нижний Новгород), финалист премии «Ясная Поляна» (2013) за книгу «Четыре с лишним года. Военный дневник», шорт-листер премии «Золотой Дельвиг» (2013) за роман «Когиз», премии имени И. Бунина (2012) за сборник стихов «Утки не возвратились». Лауреат XIV Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2023) за книгу «Свинцовая строчка». Награжден медалью Пушкина.

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

ШАМАН ВЕРНУЛСЯ*

11

Во многих крупных городах базары становятся не то чтобы культурными центрами, но иногда важными и незаменимыми визитными карточками. Взять к примеру блошинные рынки «пук» в Париже или каирский Хан – крупнейший рынок в Африке. А Черкизон или Привоз вообще стали именами нарицательными.

В начале девяностых, когда система централизованного снабжения, а точнее обеспечения, населения товарами народного потребления и продуктами была окончательно разрушена, стали стихийно возникать, словно городские лишаи, продовольственные и вещевые рынки, на которых можно было купить и греческие шубы, и польские духи «Шанель № 5», и китайские кроссовки «Адидас». Контролировали эти рынки, конечно, не облпотребсоюз и не милиция, а бригады братков, и контролировали успешно.

Несмотря на то что Нижегородская ярмарка уже существовала и проводила всероссийские выставки, и форумы, и товарные биржи, на которых заключались солидные сделки, работали – но для того, чтобы купить пиджак или приличные туфли, приходилось ехать на такой стихийный рынок.

Шаман со своей Соней планировали поехать с утра на Мещерский базар, совершенно естественным образом занявший огромный пустырь чуть выше Стрелки. Сотни палаток, вагончиков, шатров, брезентовых

* Окончание. Начало в № 2, 2026.

временок занимали огромную площадь. Тысячи горожан приезжали сюда, чтобы прикупиться.

Но Шаману прикупиться не удалось.

С самого утра, когда Шаман со своей Раей ещё только собирались ехать на рынок, к ним домой заявился Павел Вербловский, весь в расстрёпанных чувствах и как всегда страдающий с похмелья, но одновременно гордо наполненный какой-то важной новостью.

– Послушай, Шаман... Нет, сначала дай... Нет, сначала послушай – это важнее. Помнишь, Жмуркин рассказывал тебе про братьев Коршуновых, Сашку и Вовку, у которых, возможно, сохранилось изумрудное кольцо, которое турецкий шах подарил жене Айвазовского? Так вот, Сашку Коршунова вчера арестовали, точнее – задержали пьяного в жопу в угнанном автомобиле, в «Волге», которую угнали в их же дворе два дня назад. Он сейчас в ментовке на набережной, его ещё можно оттуда вытащить, пока дело не заведено, и брат его Вовка ищет, кто бы мог ему помочь это сделать. Жмуркин послал меня к тебе: ты же понимаешь, что это удачная подводка к тому кольцу, если оно ещё живо и находится у них.

– Павлик, можешь не продолжать, я всё понял. Держи стакан и чеши к Жмуркину. Скажи ему, что я жду его через полчаса в театре.

Шаман достал из горки чистый хрустальный стакан и налил половину из початой бутылки с коньяком. Павлик зажмурившись выпил и шепотом поблагодарил:

– Спасибо, старик, спас ты меня.

– Раечка, милая, – позвал Шаман супругу, – моя поездка на рынок откладывается. Ты езжай одна. Возьми денежки и покупай всё, что тебе хочется. А я вечером дома заценю твою работу – ты же знаешь, как я люблю рассматривать твои обновки. У меня снова срочные дела.

Жмуркин ждал Шамана у входа в театр – сидел на лавочке и курил. Как всегда, он одет был с иголки, словно банковский работник средней руки: белая рубашка с коротким рукавом, темно-серые брюки и серые туфли. Шаман уселся рядом.

– Ну, рассказывай.

– А чего рассказывать? Утром встретил я во дворе приятеля своего, капитана Барабанова, он в том же райотделе служит, где сейчас Сашка в подвале сидит. Вот он мне всю эту историю и рассказал. По словам Сашки, он поздно ночью, в хлам пьяный, где-то в микрорайоне увидел эту «Волгу», которая принадлежит профессору Семенову, его соседу по дому, преподавателю университета, и решил, что вот до дома-то профессор его и довезёт. Машина открыта была – он уселся на водительское сиденье и заснул. Патруль увидел его и задержал, а при задержании Сашка драться начал, сорвал погон с младшего лейтенанта. Так они его ещё за это и поколотили маленько. Как там этот младший лейтенант Лямкин из нашего райотдела оказался – не знаю. Только сейчас Сашка с разбитой мордой на набережной в отделе в подвале сидит, а профессор заявление об угоне ещё вчера написал, но пока ещё он не знает, что машина уже найдена и во дворе закрытом ментовском стоит. Так что против Сашки там целый букет собирается: пьяный за рулём, угон машины, сопротивление при задержании. В общем, хреново всё. Следователь будет настаивать, что угнал машину сам Сашка, и, я думаю, что докажет. А младший лейтенант этот, Лямкин, что ли, по отделу всё утро бегает и визжит просто, что Сашка теперь сидеть будет. Они там все просто ненавидят братьев: наглые они, золотая молодёжь.

– Ну, ты тоже – золотая молодёжь, что ни говори.

- Нет, я другое дело. Так вот я думаю...
- Что ты думаешь? Поехали быстро!
- Я думаю, что у Вадика Сухого есть менты прикормленные – он бы мог выдернуть Сашку из ментовки. Поговори с ним.
- Исключено! Нам Сашку надо выдернуть или кольцо турецкое поймать? Вадик сможет всё сделать, только игрушка эта окажется у него в руках, и нам там ничего не обломится. Есть у меня другие подходы для решения Сашкиной проблемы.

12

Выяснив у дежурного, где сидит капитан Барабанов, друзья поднялись на второй этаж и, разыскав нужный кабинет, зашли. Капитан в кабинете был один, сидел за столом и подписывал какие-то бумаги, изредка почёсывая ручкой за ухом, и был он похож на школьного учителя. Подняв голову, он заметил вошедших и равнодушно вполголоса пробормотал:

– О, Шаман, ты вернулся к нам. Недолго погулял – пять дней, и снова к нам?

– Капитан, я ценю твой юмор. Мы с тобой много лет знакомы, сколько дел совместно раскрыли. Я к тебе с маленькой просьбой.

Шаман вынул из кармана стодолларовую купюру и положил на стол прямо перед Барабановым.

– Это что? – спросил тот.

– Тут у тебя в подвале сидит мальчик один – Коршунов. Дай нам с ним перетереть с десяток минут – должок за ним. Прямо сейчас надо.

– Большой должно-то?

– Да нет – копеечный, но надо сегодня решить.

– Ну, пошли!

Капитан поднялся, сунул купюру в карман, и все втроем они вышли из кабинета.

Коршунов сидел один в подвале, в камере, словно в собачьей конуре: три на три метра с деревянным топчаном у стены. Вид у него был довольно пришибленный: маленький, худенький, черненький, волосы патлами висят, налезает на уши и на глаза; чем-то напоминал он прославленного барабанщика Ринго Стар.

– Здравствуй, Саша, – начал Шаман, – у нас десять минут, поэтому решения надо принимать быстро. Мы тут не на толковище, и объяснять мне ничего не надо: даже если ты сумеешь от всего отбрехаться, в смысле от угона автомобиля, оторванный погон у младшего лейтенанта Лямкина – дело принципиальное, и менты такое не прощают. Трояк тебе обеспечен, а может, и пятак – будешь лес валить. А сосны-то, они ведь на картинках у Шишкина красивые, а в лесу они знаешь какие – не обхватишь. Только у колоды фарту нету – что сдала, тем и катать. Я вот с товарищем твоим специально пришел, с одноклассником твоим, чтобы свидетель был. Ты его хорошо знаешь. Есть у вас с братом дома коробочка, а в ней безделушка турецкая. Ты понял, о чём я говорю? Жива она ещё?

– Да валяется где-то.

– Тебя уже допрашивали?

– Четыре раза за ночь. Трёх следователей поменяли.

– Если следователей меняют – хорошо. Значит, решение будут принимать завтра. Выдерну я тебя отсюда, но коробочку надо будет отдать твоему однокласснику, господину Жмуркину. Решай.

– Я согласен, а Вовка?

– Сейчас пойдём с Вовкой договариваться. Он же любит тебя. Он сейчас тоже по городу бегают и не знает, что делать.

– Да Вовка тут, около входа в райотдел стоит, – врезался в разговор Жмуркин, – видел я его, только не стал заговаривать, чтобы не тянуть время.

– Ну так пойдём к Вовке.

Шаман постучал в дверь – их выпустили, и они вместе пошли на улицу.

Вовка дожидался наших дипломатов прямо у входа в райотдел: топтался и курил.

– Брата ждёшь? – спросил Шаман.

– А ты кто?

– Я Шаман! И не придурай – ты меня знаешь. Я сейчас поеду домой обедать, и мне надо посоветоваться кое с кем, а вы дуйте к Жмуркину и сидите на телефоне – ждите моего звонка. Да, Вова, с турецким колье надо будет расстаться, отдадите его Михаилу Петровичу. Он тебе всё объяснит.

13

До обеда было далеко, Рая с рынка ещё не вернулась, и Шаман, не теряя времени, набрал номер майора Мороза.

– Александр Александрович, Шаман это, здравствуйте. Есть минутка?

– Узнал, Николай Иванович, говори, минутка есть – сижу в конторе, бумажки почитываю. Работаю.

– Александр Александрович, при нашей последней встрече вы как-то заикнулись, что, мол, будут проблемы – звони. Так вот, проблемы образовались, но не у меня, а у знакомого моего хорошего, Саша Коршунова. Он сын Сан Саныча Коршунова – был у нас такой партийный деятель.

– Помню я такого, Сан Саныча Коршунова, и про сыновей его что-то неприличное слышал.

– Ну так вот, его сынуля, Сашка Коршунов, сейчас в подвале в нашем райотделе сидит: задержали его сегодня ночью пьянувшего, спящего в угнанном автомобиле. Так он при задержании ещё и драться начал – сорвал погон с младшего лейтенанта. Там сейчас в отделе дело на него заводят: и угон, и сопротивление при задержании – как бы помочь ему выскользнуть? Заявление об угоне было подано ещё за сутки до его задержания, а он, дурак пьяный, просто залез в знакомую машину, принадлежащую его соседу по дому, профессору Семенову – думал, что тот довезёт его до дома. Его спящего за рулем патруль и обнаружил. Так он у патрульного младшего лейтенанта ещё и погон с кителя оторвал при задержании. В общем, я подумал, что у вас там, в отделе, есть наверняка свой человек, к которому можно обратиться за помощью.

– Да, есть у нас там свой майор Носков, который отвечает за работу отдела. Только, ответь мне честно – твой-то какой в этом интерес? Ведь есть интерес?

– Есть, конечно! У него, у Сашки Коршунова, дома есть безделушка, которая меня очень интересует. При случае я вам расскажу эту историю. Я не видел эту безделушку, бусы из изумрудов, но провенанс её, то есть история происхождения, интереснее самих этих бус.

– Ну, так рассказывай сейчас – я не тороплюсь. А то ведь вляпаешься снова в какую-нибудь историю! А ты мне ещё можешь понадобиться.

– Бусы эти или колъе из изумрудов – не видел я ещё их – подарил когда-то шах персидский жене художника Айвазовского в благодарность за портрет, который тот написал с его любимой жены.

– Как так? У них же, у мусульман, запрещено писать портреты людей!

– Ну вот это уж я не знаю! За что купил, за то и продаю. С Сашкой и братом его Вовкой я только что говорил – они готовы безделицу эту мне продать, если я помогу выдернуть его из подвала. К Вадику Сухому обращаться – гнилой номер: лучше уж я вам должен буду.

– Понял я. Ты дома сейчас?

– Дома.

– Сиди, жди моего звонка, отзвонюсь.

Ждать пришлось долго. Уже и Рая вернулась из своего похода на барахолку, грустная пришла или сердитая – не поймёшь, только свалила все пакеты на диван и молча пошла на кухню обед готовить.

Мороз позвонил часа через два.

– Ты слушаешь? В общем, решили мы всё, майор Носков решил! Кошмар какой-то: за три года изнасиловали всю страну, прокорруппировали! Значит так: ты едешь сейчас в отдел, идёшь к капитану Барбанову, с ним забираете своего «уголовника» неудавшегося из камеры, идёте с ним в дежурную часть, там Коршунов приносит извинения младшему лейтенанту прилюдно, при всех, а ты передаешь конверт с тысячей баксов ему лично со словами «на новый китель». Штуку долларов-то тебе, надеюсь, не жалко?

– Как – при всех? Меня же там же за взятку и повяжут!

– Не повяжут! Они там все только этим и живут и не стесняются! Я же говорю – кошмар какой-то в стране творится: ни стыда ни совести. После этого идёте домой решать свои дела или пиво пить. Коршунову потом скажешь, что я с ним свяжусь – должен он теперь мне будет. Об исполнении доложишь, потом как-нибудь надо и нам встретиться. Работай! И ещё совет: Слюняеву в Москву пока что не звони – проблемы у него там случились, не беспокой его пока что.

Рая тем временем на стол обед собрала: окрошку и кашу гороховую с маслом душистым подсолнечным.

– Знаешь что – никуда я с тобой не поеду! Без обиды! Старая я уже на пляже лежать, да и ты там, в Ялте, скучать будешь, а зло своё на мне срывать. Занимайся своими делами, а я встретила сегодня двух своих старых подружек и уговорили они меня ехать с ними в Кисловодск: в санатории каком-нибудь задержимся на пару неделек, водички лечебной попьём, по парку местному погуляем. Как ты? Не против?

– Раечка, солнце моё, езжай отдыхай, только не скучай. А я должен ещё один звонок сделать.

Шаман снова сел за телефон и набрал Жмуркина..

– Как вы там? Ещё не треснули от ожидания? Вроде всё складывается. Давайте собирайтесь – встречаемся около райотдела через полчаса.

В дежурной части отдела кроме Шамана были какой-то старший лейтенант, два сержанта и младший лейтенант Лямкин, мелкий, суетливый, всё время пытавшийся что-то говорить и перекладывающий со стола на стол разные бумажки.

Когда там появились капитан Барабанов с Сашкой Коршуновым, а с ними ещё и солидный мужчина в штатском, уже в годах, в затемнённых очках и с большой залысиной посреди головы, Шамана вдруг взволновал вопрос, а как Сашка будет обращаться ко всей этой компании: «товарищи милиционеры», или «господа офицеры», или ещё как-то? Этот, с залысиной, был, очевидно, майором Носковым, и вёл он себя по-хозяйски – уселся за стол.

Сашка, из-под налезавшей на глаза копны волос, смотрел только в пол. Он потоптался с минуту:

– Братцы, – пробурчал внезапно он, большим пальцем руки откинув волосы с глаз, – простите меня, Христа ради простите, виноват я! Скажите, что надо сделать – я сделаю.

И замолчал.

Тут выступил вперёд Шаман и протянул конверт младшему лейтенанту Лямкину:

– Старик, это тебе на хороший китель, пошей новый, я прослежу. А этого дурака отдай мне.

– Забирай, забирай, – засуетился снова младший лейтенант, засовывая конверт себе в карман, – надоел он нам. Противный такой. Но и сам учти: в следующий раз он так легко не отделается. Хорошо, что он майору Носкову зачем-то понадобился.

Майор Носков ни слова не произнёс, а только встал из-за стола и первым вышел из комнаты.

Всё складывалось как по писаному. На улице Шамана с Сашкой ждали Жмуркин со старшим Коршуновым.

– Идиот! Как бы дал только! – Вовка замахнулся на брата. – Полгорода пришлось на уши поставить из-за тебя.

– Потом ругаться будешь, сейчас мне освежиться надо, а то меня уже колотит. Да помыться бы, от всей этой грязи ментовской. Прямо чувствую, как от меня воняет.

– Поедем домой. Надо вот с благодетелями нашими рассчитаться. А уж потом и помоешься и освежишься.

– Мы с вами не поедем, – прервал его Шаман, – мы сейчас пойдём в «Колизей» – какой-то новый ресторан открыли на Свердловке. Поедим мы там с Михаилом Петровичем холодной осетринки с хреном и будем вас там ждать. А вы не задерживайтесь. И чтобы не искать вас потом. Коробочку туда в «Колизей» принесёте.

Осетрины с хреном в меню не оказалось, пришлось взять сациви из осетрины и триста граммов водочки.

Водка была холодной и сладкой, она горячей струйкой пробежала за грудиной и согревала сознание.

– Ну что, Михаил Петрович, как по-твоему: не придётся нам с тобой теперь разыскивать братьев по всему городу? – спросил Шаман у своего компаньона, тщательно пережёвывая сочный кусок осетрины.

– Нет, что ты, Шаман, через пять минут прибегут – неумытые, неопохмелённые, грязные. Они же тут рядом живут. А ты такой спектакль сегодня заказал всем, что про него легенды складывать можно. Вот теперь и я громко, во весь голос скажу: «Шаман вернулся!» А что ты планируешь делать с этим колье?

– Не знаю – я его ещё вообще в глаза не видел. Покумекаем вдвоём – ты теперь стопроцентный мой компаньон. И, знаешь, что я тебе ещё скажу, Миша, мы сейчас вступаем в новый передел не только материальных, но и культурных ценностей – я так это явление назову. Таких

периодов было два, и теперь наступает третий. Вот после революции, в двадцатые годы, все коллекции, хранившиеся в дворцах и усадьбах князей, купцов, промышленников, которые убежали за границу, были разграблены и перекочевали в деревенские избы и пригородные рабочие бараки. И раздолье было для людей, понимавших толк в искусстве. Второй такой же лакомый период случился после войны, когда наши солдатики, офицеры и генералы притащили в страну миллионы мировых шедевров из Германии к себе на родину, не отдавая себе отчет в их подлинной ценности. А ведь Германия, в свою очередь, успела стащить к себе, в свой «фатерлянд», всё добро из порабощённой Европы. Мне известен случай, когда десять лет назад в Лыскове (городок в десять тысяч жителей) была куплена шикарная работа Модильяни. Как она там оказалась? А тогда же в Бурнаковке, куда переселялись ленинградские блокадники, была приобретена папка с рисунками Бакста. В доблокадном Ленинграде находилось восемьдесят процентов всего русского антиквариата. Так что сейчас наступает третий золотой период, в котором мы можем принять участие. Почти вся советская партийно-хозяйственная номенклатура, в чьих домах хранятся безделушки, интересующие нас, оказалась не у дел. А их потомки захотят кушать. Так что Шаман, то есть я, вернулся прямо к столу! У нас с тобой работы – непочатый край.

В этот момент они заметили, как мимо окон ресторана прямо ко входу торопливо прошествовали братья Коршуновы, а уже через минуту к их столику подошел метрдотель и, наклонившись к Шаману произнес вполголоса:

– Шаман, тебя там, в вестибюле какие-то два одяшки спрашивают.

– Коля, и ты здесь? Приятно! Ты же в ресторане аэропорта служил – какие первоклассные котлетки по-киевски у вас там были.

– Да, Шаман, меня хозяин, Седов Владимир Иванович, разыскал и предложил поработать тут – моё мастерство метрдотеля снова потребовалось. Так ты выйдешь? Я этих опоек сюда впустить не могу.

– Да-да, иду.

Братья сидели на диване и если и не дрожали, то напряжение, которое они излучали, наполняло весь вестибюль. Шаман уселся напротив.

– Ну что, бедолаги, давайте посмотрим, чем вы меня порадуете.

Вовка Коршунов протянул ему большой полиэтиленовый пакет. Шаман вытащил из пакета коробку, завернутую в старые газеты. Газет было много.

– На, сам разворачивай! – Шаман протянул свёрток назад Коршунову.

Коробка была обтянута белой кожей, чуть пожелтевшей на сгибах, а внутри на кремовой шелковой подложке с выпуклым приливом посередине красовалось большое кольцо из безумного количества изумрудов разной формы, обсыпанных бриллиантовой крошкой. Изумруды, а их было больше сотни (можно и не считать) удивляли различием формы: кабошоны, капли, багеты; и все они обрамлялись мелкими бриллиантами, которые собирали свет и наполняли им крупные зелёные камни.

Шаман закрыл коробку.

– Ну всё, братцы, я пошел пить водку, да, и вы можете теперь вздохнуть свободно. Если что-то интересное увидите, звоните Жмуркину.

Осип ФУФАЧЁВ

Родился в 1985 году в Лесосибирске, Красноярский край. В 2001 году переехал в Нижний Новгород, учился в Нижегородском художественном училище и Нижегородском театральном училище. Работал грузчиком, строителем, археологом, преподавателем рисунка и живописи. Дипломированный фотохудожник, дизайнер.

Автор романа «Стекло» (под псевдонимом Осип Бес). Издатель и составитель сборника «Плохое время для героев» (2011), сборника «Души прекрасные порывы» (2017) и сборника прозы и поэзии «Мои лабиринты» (2021). Печатался в журналах «Нижний Новгород», «День и ночь», «Идель», «Невский проспект», «Перископ-Волга», в альманахе «Земляки» и других изданиях. Лауреат премии журнала «Нижний Новгород» (2022) в номинации «Проза». Первое место в номинации «Проза» на Слёте молодых литераторов в Большом Болдине и на Всероссийском форуме молодых писателей в Челябинске в 2024 году. Вошел в короткий список премии «Болдинская осень» в номинации «Проза» (2024).

Живет в Нижнем Новгороде.

ХАРЛИ КВИНН

Олегу Миронову. Другу. Брату

*Справка: В сентябре 2025-го
Олег Миронов пропал без вести
на Покровском направлении
на территории ДНР*

– Теперь ты видел сиськи Харли Квинн.

– Кто такая Харли Квинн? – спросил ты. Оторвал голову от скрещенных на барной стойке рук, пошарил по столешнице пятерней в поисках очков и сощурился на меня.

– Ну...вон же, на сцене пляшет. С косичками, – я искренне не понял вопроса.

– Официантка, что ли?

– Администраторша, но, в общем, да, – рассказывать тебе о происхождении суперзлодейки вселенной комиксов сквозь пьяное бормотание Паука и завывание гитар я посчитал бесполезным.

Да и на хрена это надо?

Сколько я знаю тебя, курилка? Молодой парняга в кепке и берцах когда-то встречал нас, похмельных нижегородских литераторов, пронзительным майским утром, у вагона нашего первого гастрольного поезда. И поезд тот примчал нас от площади Революции прямехонько на площадь Восстания.

Происходило ли такое? Память лучится обманчивой рябью между гранитных берегов упрямых чисел или изумрудной поволокой ночи стелется над Обводным каналом. Скользит от метро по Ново-Петергофскому мосту, мимо витрин и светофоров, и вползает на 12-ю Красноармейскую, ищет на ней арочное окно.

Ту комнату я снял благодаря тебе в самый разгар моих питерских скитаний, которые окончатся только в четырнадцатом, с приходом Крымской Весны. А пока весну две тысячи десятого подытожило две тысячи десятое лето.

Воспоминания о событиях, естественно, связаны с локациями, в которых они происходили. Так и комната на Болтах служит одной из декораций тех дней, а также одним из самых странных мест моего проживания.

К тому времени я пообтерся в питерских коммуналках и мало чему удивлялся. Помнишь, наши друзья, поэт и писатель Саша Яшин и партиец Вова Стреляй, снимали комнату на Чернышевского? Огромное, с потолками в четыре, если не в пять метров, полутемное помещение. Тусклая лампочка не могла справиться с таинственным мраком в углах и испуганно моргала, отчего бегали по сбитой лепнине живые и веселые тени. В круге, куда падал свет лампочки, парни ставили палатку и спали в ней.

В моей комнате было окно. Кроме окна там еще стоял шкаф и старая стиральная машина. Но что это было за окно! Арочное, два с половиной метра в высоту, оно легко компенсировало все другие неудобства, а их хватало. Не было посуды, не было мебели, сидеть и спать приходилось на полу, на подаренном мне Яшиным одеяле.

Габариты комнаты тоже вызывали недоумение. Длинное и узкое пеналоподобное пространство с высоченным потолком, возможно, служило когда-то частью парадного входа, пока вследствие строительных манипуляций не отошло к жилому фонду. Стены комнаты, выкрашенные буро-зеленой эмалью, той же самой, что красят подъезды, наводили именно на эту мысль.

Но окно покорило меня. Пьяная вечерняя брань с улицы и лучи утреннего солнца одинаково гармонично вписывались в его дряхлую, но изящную раму. На его широком подоконнике мы готовили еду, пили пиво и нарезали листовки. Свет фар проезжавших автомобилей на недосягаемом потолке, летние ливни, мертвое насекомое в стеклянном плену под аркой высокого неба. По ночам я долго курил у окна, глядя на мигавшие внизу светофоры.

Чем мы тогда занимались? Особенно ничем. Болтались без дела и денег по городу, строили революционные планы и писали стихи. Плевали с моста в буро-зеленую воду Обводного канала.

Сохранилась фотография, где мы, питерские и нижегородские поэты и писатели, друзья-партийцы, стоим под памятником Пушкину перед провальной презентацией нашего первого сборника. Молодые и веселые. И живые.

Вова Стреляй поедет тем летом в еще не наш Крым в археологическую экспедицию и встретит там тихую и скромную Настю. Вскоре они поженятся, и Настя с рыцарской стойкостью бросится в бой с необратимым Вовиным алкоголизмом и проиграет его. Вова по пьянке споткнется в своем подъезде, ударится головой о ступеньку и умрет.

А тебя, кажется, тем летом в первый раз посадят в тюрьму.

Зима две тысячи тринадцатого. Ветер гуляет в спальных районах, хлопает дверьми подъездов, качает по ночам фонари, Москву замает белая выюга листовок. Из этой выюги, как настоящий обитатель лесотундры, с притороченными к рюкзаку оленьими рогами, на столичные улицы вывалился ты.

К тому времени ты женился, у тебя родился сын, и ты осел в городе Инта республики Коми, словно ржавый осадок на дне раковины. «Там даже вода ржавая!» – жаловался ты.

Я вообще слабо себе представляю, как после питерских вписок, концертов, алкогольных угаров и нарко-трипов ты закатился на родину, на Крайний Север, в тундру, в бескрайнюю зиму мертвого моногорода. Полез в берлогу, раны зализывать?

Нализался, приехал, «загоню» – кивнул мне на рога. Ухмыльнулся обветренными губами на красном от мороза лице, и тундра швырнула колючим снегом в теплоту штаба из-за твоей спины. Ей стало ясно, что назад ты не вернешься.

Мы же не догадывались о тех событиях, которые развернутся вскоре за семьсот пятьдесят километров от этих мест, на желтых полях под голубым небом, и разберут на пазлы сложившуюся картину бытия.

Намечался митинг за пересмотр итогов приватизации, и мы с утра до ночи засеивали столицу печатной агитацией. Зернышко к зернышку, в каждый почтовый ящик, подъезд, дом и район.

Но зерна не взошли. Горстки партийцев, словно мулы, волочили по городу тяжелые, нашпигованные листовками сумки, боронили ими грязные сугробы, упирались копытами и подставляли злому ветру свои провинциальные рожи.

Затея не выстрелила по вполне понятным причинам. Мы распикивали листовки в почтовые ящики всей Москвы, а толку от них было не больше, чем от рекламных проспектов «Пятерочки». Никому не нужные листовки попросту никто не читал. Сизифов труд и, как следствие, нулевой результат.

Однажды, здорово растянув ногу в непрерывных агитрейдах, я высказал Колесу все, что думаю о наших потугах. Колесо, легендарный партиец Дмитрий Колесников, дежуривший тогда в штабе, обронил в ответ на мой возмущенный монолог, что, мол, когда он, Колесо, придет ко мне в Нижний, то правила стану устанавливать уже я. «Приказы не обсуждаются», – добавил Дмитрий.

Колесо в Нижний так и не приехал. Через два года под Марьинкой он поймал восемь осколков в голову. А многим позже, в две тысячи двадцать пятом, не будучи мобилизованным, негодный к воинской службе, страдающий эпилепсией инвалид, он погибнет под Дмитровом на передовой. Громоздкий военный аппарат не нарушит стального хода, перемолов между валами досадную помеху. Аппарат привык дробить безразличными зубьями неудобные кости.

Митинг состоится, но спальные районы не проснутся от шума на улице и лая мегафонов. Люди придут, но придут люди мотивированные или знакомые, знакомые знакомых, пользователи, сагитированные в интернете, просто зеваки, кто угодно, только не жители тысяч и тысяч домов, в чьих ящиках пылился белый клочок бумаги. А мы встретимся через год уже совсем в другом мире.

Все рухнуло разом, и «прошлое будущее» перестало существовать. На привычных путях истории, будь то судьба человека или жизнь целых континентов, встречаются подлунки, налетов на которые весь состав летит к чертовой матери совсем в другую реальность. Подлункой может оказаться прикопанный партизанами фугас, а может и просто монетка, оставленная на рельсах школьником Васей в перерыве между уроками.

На песчинки рассыпались монолитные стены замка моих предсвадебных планов, а с ними и все прилегающие постройки, которые я воз-

водил без малого десять лет. Обвалились мосты между мной и моей любимой, а Первого Мая мы шагали с недавними товарищами уже совсем в разных колоннах.

Раннее июльское утро. Мы сидим во дворе штаба партии на «Войковской» на синем железном заборчике, терпко пахнут тополя, а синяя краска забора, разогретая солнцем, неприятно липнет к нашим задницам. В моих камуфляжных карманах хрустят не пропитые пока купюры, и наша задача немедленно их пропить. Чем мы и заняты.

– На войну, значит, собрался? – покачивая полупустой пивной полторашкой, спрашиваешь ты и наблюдаешь, как на пластиковых боках оседает кислая пена.

– Ну, а хрен ли? – Я отбираю у тебя полторашку и делаю пару глотков. Пиво мерзкое, теплое и выдохшееся, и вдобавок, кроме кислой пены в посудине плавает туман сигаретного дыма. Мой косяк, люблю пить пиво через затяг. – Но пока я в Москве останусь, вам в помощь, – добавляю я.

– И на кой тебе все это надо?

– Я в деревне последнее время жил, хорошо там, спокойно. Но, знаешь... – Я замолкаю, подбирая слова. – Когда в жизни вокруг тебя только лужайки да березки – значит, ты дерево. Ну, в общих чертах. Понимаешь?

– В общих чертах, – скалишься ты и бросаешь окурок в недопитую полторашку. – Пойдем за водкой?

Весь июль палило солнце и пузырился асфальт, Москва воняла пропитанным потом метрополитеном и шавухой в сырном лаваше. В синих палатках добровольческого движения «Интербригады», в которых в то время активничали мы с тобой, проходило наше две тысячи четырнадцатое лето.

В палатках висел зной и табачный дым, а за их брезентовыми стенками вздрагивали миражи далеких поселков, нависали над головами тени зубатых терриконов и касался издали чуть слышно кожи бриз Азовского моря.

Стопки бумажной агитации к концу дня таяли. Мы снимали уставшие за день флаги республик, паковали вещи и подземными путями мчались в штаб, прочь с раскаленных улиц.

Дни спешили за днями без промежутков, грохоча неизменным составом метро, бурлило перед глазами людское варево, дни расплескали его на улицах вокруг нашей палатки. Ночной перекур на кухне штаба на «Войковской» стал для меня необходимостью. Терпко пахли во дворе тополя, выцветала краска на синих заборчиках.

Курсировали грузы, собиралась гуманитарка, закупалась амуниция для добровольцев, война причмокивала радостно с желтых полей из-под синего неба.

Я привез в столицу аппарат УЗИ. То есть я его только доставил, дальше аппарат отправлялся в Луганск.

– Давай пропьём? – зевнул Сильвер, лениво наблюдая, как я вытаскиваю из партийного жигуленка коробку с грузом. – Его все равно там пропьют, нам ничего не достанется.

– Не, Серега. Мне уже три раза предлагали, ты не первый. Мне сказали доставить – я доставляю, остальное меня мало волнует, но пока я за эту коробку отвечаю, пропивать ее я не дам.

– Ну как знаешь... – совсем заскучал Сильвер, он же Сергей Максимов, ветеран партии.

Меньше чем через месяц Сильвер попадет под минометный обстрел под Луганском, осколки повредят ему плечо, и левую руку парализует, но вскоре Сергей вернется в строй. Многим позже, при штурме Авдеевки, он лишится глаза. Ранение, конечно, вызовет немало острот, связанных с прозвищем Сергея. А до меня дойдут слухи, что аппарат УЗИ в Луганске все-таки пропили.

О том, что тебя посадили, я узнаю уже дома. Меня не будет в Москве, когда ты сорвешь концерт одного человеколюбивого рок-певца, назвав его предателем Родины. Концерт задержат на пять минут, но он состоится, а тебя безмозглые служки слепой Фемиды запрут на долгих три года в неприглядных мордовских краях.

Ирония заключается в том, что сам певец, как ни в чем не бывало, продолжит позировать с флагами вражеской страны, глубокомысленно рассуждая об агрессивных действиях страны собственной, вздыхать и охать, а после начала официальных военных действий, в статусе иноагента, сбежит в Израиль, роняя ноты. Но загремишь в застенки системы, безусловно, ты. Символично, что по прошествии каторжных лет твоим позывным станет фамилия человеколюбивого рок-певца – Макаревич*.

Апрель две тысячи семнадцатого, мы на машине пробираемся по федеральной трассе Р-158 в сторону поселка Ударный республики Мордовия. Трассой дорогу можно назвать с большой натяжкой, и Дед, Андрей Ларионов, еще один партийный старожил из города Сарова, матерится, объезжая колдобины.

Как только мы въехали на территорию республики, изменилась не только дорога, которая покрылась рытвинами, словно лицо зараженного оспой больного, но и весь остальной пейзаж за окном автомобиля. Голые леса с куцыми деревьями сменяли бурые развалины каких-то построек, из-под жухлого снега на обочинах вытаивали пустые бутылки и разноцветный мусор, и висели над нами набрякшие дождем, болезненные тучи. И зоны, зоны вдоль дороги тянулись одна за другой.

В придорожной кафешке, в которой мы сквозь зубы цедили кофе из пластиковой тары, кроме нас находились лишь изможденная продавщица с синеватым лицом и трое вертухав в грязном камуфляже. Подавляющее большинство встреченных нами людей, и женщин, и мужчин, носило специфическую камуфляжную форму. Дети нам не попадались, но я смутно догадывался, что их с рождения пеленают в грубые казенные лоскуты ткани расцветки «тень», изначально определяя их судьбу и поведение в безжизненном краю тюрем и лагерей.

Когда ты вышел, я сидел на корточках поодаль от глухих железных ворот, старался унять подкатившую к горлу тошноту и разглядывал витиеватый узор колючки на тюремном заборе.

- С похмелья? – спросил ты, пожимая мне руку.
- Пил всю ночь, – ответил я, нехотя поднимаясь.
- Не в мою ли честь?
- Не дожدهшься.

Мы обнялись и рассмеялись.

Машина мчалась в большой мир мимо куцых деревьев и жухлых сугробов, мимо зон и развалин, и казалось, что люди-тени стоят вдоль дороги, не в силах преследовать нас.

За спиной оставался безрадостный край, и колючие ветви хватали ржавыми пальцами автомобиль на границе с республикой. Но весна до-

* Минюст РФ включил Андрея Макаревича в список физлиц-иноагентов.

жидалась нас впереди, солнце светило в лобовое стекло, а ветер гонял по небу лохматые облака, и к вечеру мы были дома.

Знаешь, пропасть без вести – не про тебя. Мне всегда думалось, что пропасть без вести – это как в небытие провалиться. Когда больше никто никогда не узнает, кто ты такой, чем ты жил, о чем думал. У тебя такое повернуть попросту не выйдет.

– Ты точно собрался?

Мы сидели на откосе над рекой, шелестела молодая листва, собака, радостно взвизгивая, бегала между деревьев, копалась в земле и пачкала нос в мышинных норах.

– Помнишь, ты говорил про лужайки и березки? – Ты сорвал с ветки маленький березовый листок, растер в пальцах, понюхал и замолчал.

– Помню. А отмечаться как будешь? Суд назначил тебе административный надзор сроком на восемь лет. Ты же знаешь, что вернуться уже не сможешь.

– Я знаю. Хрен с ним.

Через несколько дней ты уехал.

Вечер прошел в клубе. Ты по кой-то хрен растолкал свернувшегося на диване, сонного меня и потащил в клуб на концерт выступавшей там тогда «Коррозии металла». Паук, лидер упомянутой группы, опьянел до такой степени, что концерт пришлось отложить, и в зал два часа никого не пускали, а вся публика в ожидании догонялась бухлом на улице.

Паук с трудом висел на стойке микрофона, вставляя хриплые реплики между тяжелыми гитарными рифами, все песни за него исполняла какая-то девушка, видимо, бэк-вокалистка, а рядом извивались обязательные на концерте «Коррозии» стриптизерши.

Бродившую меж людей по залу то ли официантку, то ли администраторшу в костюме героини комиксов поддтая толпа выдавила на сцену и под дружное улюлюканье вынуждала раздеваться. Вскоре, под общим давлением, официантка сдалась.

Вечер затягивался, и весь крепкий алкоголь в баре давно закончился. Ты снова уронил голову на скрещенные руки, а я подумал о том, что домой пешком мы не доберемся, транспорт уже не ходит, и пора вызывать такси. Я заказал бокал вермута, залпом его осушил, посмотрел на дремавшего на стойке тебя и стал набирать номер оператора. На сцене, тем временем, отплясывала топлес официантка-администраторша, пьяненькая Харли Квинн.

Юрий ФАНКИН

Поэт и прозаик. Родился в 1940 году в деревне Крюковке Липецкой области. Окончил историко-филологический факультет Муромского педагогического института. После службы в Советской армии работал в городских школах, педучилище и радиотехникуме.

Публиковался в журналах «Наш современник», «Нижний Новгород», «Москва», «Роман-газета», «Роман-журнал – XXI век» и других.

Автор исторических романов «Осуждение Сократа» и «Императорские игры», сборников повестей и рассказов «Месяц над старым кленом», «День поминанья и свадьбы», «Ястребиный князь», «Богатырский крест», «Молитва в бездождие», «Соловьем залётным».

Рассказ «Прощание с Дэлриром» включен в антологию советских рассказов, изданную на немецком языке в Лейпциге. Лауреат международной литературной премии им. Андрея Платонова (2003), Всероссийской премии им. А.И. Фатьянова «Соловьи, соловьи...», владимирских областных литературных премий им. Сергея Никитина (2007) и Владимира Солоухина (2010). Награжден памятной медалью «К 100-летию со дня рождения М.А. Шолохова».

Член Союза писателей России. Живет в Муроме.

ПЕЛ СОЛОВЕЙ...

Зенитка рванула сухо, с какой-то судорожной торопливостью и, словно устыдившись тишины, замолкла.

С деревенских крыш испуганно сорвались воробьи и голуби.

Захар чуть не опрокинул ведро с водой возле колодца.

– Свят! Свят! – пробормотал старый солдат и чуть не перекрестился.

Война напомнила о себе майским громовым раскатом.

Захар поднял глаза к небу и не понял, откуда взялся этот гром. Небо было пасхально-чистым. Лучи, успокаивая, гладили морщинистое лицо Захара.

Этот неожиданный гром случился в День Победы. Захар уже не помнил, каким по счёту был этот День Победы. Какая разница... Главное, что он был. И сегодня, как обычно, Захар поедет в гости к Рульку, своему фронтовому другу, в Старинки. Приедут из района ещё три фронтовика. Как шутил Захар, «остатки боевого взвода».

Он протёр выцветшие от старости глаза, когда-то блескуче-чёрные, огневые, взялся за дужки лёгких пластмассовых вёдер. В каждом ведре по половинке. Наверное, Захар смог бы принести одно полное ведро. Но он брал два по половинке – для равновесия.

Вытягивая шею, Захар донёс вёдра до крыльца. А потом, в два приёма, переправил свою ношу в сенцы и, чуть отдышавшись, перелил половинки в большое эмалированное ведро...

В этот день Василиса жила заботами мужа:

– Какой тебе костюм? Парадный, с орденами?

Путаясь в рукавах, Захар стал надевать парадный костюм. Он казался ему мешковатым, будто с чужого плеча. Прошёлся взад-вперёд,

позванивая наградами. Ордена и медали ложились на сердце каким-то тяжким грузом. Не награды, а гирьки. Аж сердце защемило...

– Давай другой костюм! – вздохнул Захар. – Обойдусь планками...

– Как знаешь! – сказала Василиса. А ведь нравилось ей, когда муж надевал в День Победы боевые ордена и медали. Захар не раз подшучивал над женой: «Может быть, ты меня из-за наград полюбила? Выходила бы замуж за Женьку Подколзина... У него на одну медаль больше!»

Василиса почему-то принимала его шутку всерьёз. Сердилась:

«Ну и дурак ты, Захар! Такое сморозить...»

А Захару нравилось, что жена сердится. Видать, и впрямь полюбила его, дурака.

Захар определился с праздничным костюмом. И теперь сосредоточенно-серьёзный – будто готовясь к весенней пахоте – принялся за очень важное дело.

Ему предстояло зарядить солдатскую фляжку самогоном.

На чём только не настаивал Захар свою «целебную»! На ягодах боярышника, черёмухи, можжевела... На золотистом зверобойном цветке и коричневых корешках калгана.

Сам употреблял редко и в меру, берёг про запас, для гостей, и подетски радовался, когда нахваливали его «продукцию».

Ну а размалиненные гости не скупилась на похвалу:

«Вот так “целебная”! Армянскому коньяку не уступит!»

«Главное – всё натурально!»

«И градус приличный! Пятьдесят, не меньше...»

Захар, пригасив дыхание, переливал из обычной поллитровки свою «зверобойную» в помятую солдатскую фляжку. Руки его подрагивали. И чем дольше лил, тем подрагивали сильнее.

– Помочь? – предложила Василиса.

Захар ухмыльнулся:

– Не надо! Боюсь недолива...

Василиса покачала головой:

– Эх, питоки-питоки! Колюня еле ходит. Женёк со своей соской не расстаётся...

«Соской» Василиса называла ингалятор.

– У Василька насос барахлит!

«Насосом» Василиса называла сердце.

– Да и ты не богатырь! Смотри, как бы язва не открылась!

Да, язва – дело серьёзное. Вроде бы притихла, зарубцевалась. А впрочем, кто знает...

В армии казалось: не будет твоему желудку износа. И выделан он не из живого мяса, а из грубой солдатской кирзы. Чего только не испробовал за годы войны Захар! Иногда спасал подножный корм: столбунцы, баранчики, молодые пестики полевого хвоща... Доводилось Захару ши в каске варить, запивать едкую спиртягу красноватой, словно чай, бо-лотной жижей. А какими сладкими казались буряки на развороченном снарядами зимнем поле! – их стругал Захар трофейным тесаком и, не думая о простуде, отправлял в разгорячённое горло...

Нет, не хотелось в День Победы думать о своих болячках. И Захар, завинчивая фляжку, с улыбкой проговорил:

– Не скрипи, Василиса! Боевых сто грамм никто не отменял...

– Если бы сто! – вздохнула жена.

И этот вздох даже приободрил Захара: значит, жена считает его не таким уж хилаком!

Василиса решила закрыть питейную тему. И правильно сделала: свою голову другому не приставишь. Пусть сам думает, соображает.

– Что на закуску возьмёшь? – спросила Василиса.

– Как обычно! – ответил Захар и усмехнулся: нашла о чём спрашивать! Перво-наперво захватит с собой мочёные яблоки...

Захару вспомнилось, как в прошлом году, по осени, он со старшим сыном Петром колесил по всему району в поисках ржаной соломы. Какие мочёные яблоки без ржицы!

Бывшие колхозные поля позаросли мелким ельничком да березничком, утонули в высокой – в человеческий рост – травяной дурнине. Но кое-где какие-то «общества с ограниченной ответственностью» пытались на свой страх и риск что-то сажать и сеять. Так, недалеко от села Молотицы отчаявшиеся отец и сын обнаружили на стерне несколько копёшек обмолоченного хлеба. Но, увы, солома оказалась пшеничной. Делать нечего, пришлось надёргать пшеничных косиц...

Захар отобрал спелой – настоящий янтарь – антоновки, без каких-либо «синяков» и парши, сотворил добрую заливку на липовом меду, солоде и горчице, присыпал солому листьями чёрной смородины, вишенника и мяты. Ну и дубовая бочка, доставшаяся от деда, добавила неповторимого вкуса.

Яблоки получились на славу – хоть на торговую выставку отправляй!

Что ещё прихватить на общий стол? Конечно, сало. Рулёк обожает сало и почему-то называет его «рязанской колбасой».

Сало Захар купил у знакомого мужика. Добрая была свинка. А то, не дай бог, подсунут невыголощенного кабанчика – мясо жестковатое, с запашком.

Не доверяя жене, Захар сам солил свежее сало. Сам чесночил. Потом, вытащив из морозилки, пробовал и восхищался. Не сало, а сливочное масло. Можно не зубами, а одними дёснами работать. Как раз для ихнего возраста...

А как без солёных грибов обойтись! Правда, сам грибы не собирал. Целую корзину рыжиков принесла из леса племянница. Все чистые, без червоточин. Солила Василиса. К этой работе Захар руку не прикладывал – только давал ценные, на вес золота, советы: «Чесночка побольше положи!», «Подкинь сухого укропца!»

Получились сосновые рыжики – объеденье. Под такие грибочки не только сто грамм, а все триста пропустишь! И, что удивительно, даже в холодной засолке не потеряли свой оранжевый цвет.

– Может, ватрушек захватишь? – предложила Василиса.

– Давай! Давай! – живо откликнулся Захар.

Ну как не порадовать друзей, и больше всех – Рулька. Рулёк похоронил жену, живёт один – детки в разные города упорхали. И, как говорят, не заморачивая себя, довольствуется одним супом: «Утром – супчик, на обед – супище, в ужин – суп...»

Василиса кружилась возле мужа, оглядывала его со всех сторон. И, хотя Захар отмахивался обеими руками, побрызгала дорогим одеколоном.

Захар ворчал:

– Я тебе не цветок, чтобы пахнуть...

За окном заурчала легковая машина. Приехал сын Петька, чтобы отвезти отца к изнемогающему от ожидания Рульку.

Захар провёл рукой по радужным орденским планкам. Одёрнул штатский костюм и, напряжённый, подтянутый, прошёлся обеими руками по поясу – будто проверял широкий ремень на солдатской гимнастёрке.

* * *

Пётр приехал не с пустыми руками. Поздравил отца и преподнёс парфюмерный набор с алым бантиком.

— Ну зачем мне эта хренотень? — бурчал Захар. — Гель. Этот... как его? дезидарант! Купил бы пены для бритья, и дело с концом!

Но как не ерепенился старый Захар, а пришлось сына уважить. Принял праздничный дар и, потоптавшись в передней, сунул заморскую парфюмерию в столярный ящик...

Чтобы выиграть время, решили ехать лесной дорогой. В колдобинах стояла мутная пенистая вода.

Пётр не терял из вида след чужой машины, но, на всякий случай, старался ехать посуху, забираясь к забрызганным грязью соснам.

Корневища сосен, пересекающие дорогу, напомнили Захару минные растяжки.

— «Мы вели машины, объезжая мины...» — бодро запел Петька, поглядывая на отца. — Как, батя, не слишком трясёт?

Захар, отдавший четыре года передовой, презрительно хмыкнул. Видел бы сын его фронтовые дороги! Воронки, ямы, ухабины... В полуторках трясло так, что зуб на зуб не попадал, а сердце было готово поменяться местами с ёкающей селезёнкой.

Страхнув с капота обломок сосновой ветки, машина выбралась на гладкое асфальтовое шоссе. Мотор заработал ровно, без пугающей одышки. Встречный ветер, обтекающий машину, запел весело, протяжно.

Придерживая на груди страховочный ремень, старший сержант Захар Ерофеев вспоминал первые солдатские «мальчишники»...

Где они только не собирались! В школе. В сельсовете. У кого-нибудь на дому. Вели себя, как мальчишки: толкались, хлопали друг друга по плечам с погонами, пытались бороться — кто кого? Берёзовский молотобоец Гордей, озоруя, руки жал так, что его приятели охали и приседали.

За общим столом усаживались тесно, плечом к плечу. Разливали горький самогон по стаканам и кружкам. И, как всегда, первым делом поминали погибших.

Выпив, доставали армейские кисеты с любовно вышитыми словами: «Вернись с Победой», «На вечную память и верную любовь»... Тщательно закручивали самокрутки с крупной махрой: «Табачок “Самсон” — тянет к бабам и на сон...»

Щеголеватый Саня Архипов широким движением, всем напоказ, открывал портсигар с «Казбеком» — душистые папиросы уложены ровненько, словно снаряды в артиллерийском ящике. «А ну, орлы, налетай!» — приглашает Саня. Кое-кто из «махорочников» тянется к портсигару и бережно, щепоткой, выбирает из папиросной теснины табачный деликатес.

«Берите! Берите! — поощряет Саня. — Мне не жалко... — и, сотворив печальное лицо, добавляет: — Однако они убывают...» Все смеются над его шуткой. А Саня, давая прикурить, выразительно щёлкает трофейной зажигалкой из слоновой кости.

Какое веселье без гармонии! Играл обычно Коля Сафонов. Закинет ногу на ногу, свесит кудрявую голову набок — будто исподволь прислушивается к своей игре, — а к губам приклеена горбатая самокрутка. Наяривает Коля на хромке и со вкусом покуривает. Да ещё умудряется, не вынимая самокрутку изо рта, сбрасывать пепел в набитую «бычками» банку.

Заказы сыплются со всех сторон: «Давай “Землянку”!», «Артиллеристы, Сталин дал приказ!..», «Давай “Бороду”! “Фронтная борода для солдата не беда...”»

Закуски, самой простой, крестьянской, хватало. Было чем посолить. А вот с «дизельным топливом», как выражался танкист Михеев, возникали проблемы.

Окинет Михеев мутновато-задумчивым взором пустые бутылки, подёргает прокуренные до желтизны усы и негромко скажет: «А не послать ли нам гонца?...»

И все, как по команде, уставятся на Васю-Василька.

Он – самый молодой. Рулёк подвозыкивает: «Ты, Вася, ротный связист. Вот и тяни провод до Веркиной избы...»

Василёк пыхтит. Словно в трескучий январский мороз его, сонного, полуголодного, подняли по тревоге.

«Вся надежда на тебя!..» – стелется перед ним Михеев.

И бедный Василёк, мстительно наступив Михееву на ногу, неуклюже, как будто по частям, выбирается из-за стола.

«Может, папироску запалишь на дорогу?» – пытается подсластить Сашка Архипов. «Нужна мне твоя папироска!» – огрызается Василёк и, ударившись лбом о притолоку, скрывается в дверном проёме.

Его провожают молчаливым сочувствием.

Веруха-молодуха торгует в сельмаге и на всякий пожарный случай, для неурочных гостей, держит дома ящик-другой «Ряжской». Живёт недалеко. Не торопясь, вразвалочку дойдёшь за каких-то пять минут. Но проходят полчаса, час, а связист словно в воду канул.

Солдатская братия теряется в догадках:

«Может, провод оборвался?»

«Подорвался на минном поле?»

«Нет, ребята! Скорей всего попал в окружение...»

«Взяли в качестве “языка”. Теперь допрашивают: “Где базируетесь? Сколько выпили?” Вряд ли поверят...»

Старшина Михеев слушает весёлый трёп, задумчиво поскрёбывает в начинающем лысеть затылке:

«А не послать ли нам разведгруппу? Захар...»

И тут дверь широко распахивается, и на порожке с двумя прозрачными «гранатами» в руках появляется улыбающийся Василёк. На его щеке розовое сердечко помады.

«Гады, взорву!» – кричит Василёк.

«Осколков не бойшься?» – осаживает старшина и ловко отбирает у Василька «дизельное топливо». Скоро, очень скоро заглохшие моторы заработают с новой силой.

«Качать героя!» – предлагает Рулёк.

«Дай пожать твою мужественную руку!» – басит Гордей, но Василёк, извернувшись ужом, сбегает на безопасное расстояние.

«Боевых сто грамм вне очереди!» – говорит старшина.

Все соглашаются. Василёк тягуче, с гримасой отвращения, выпивает заслуженную стопку – три года на передовой, а пить толком не научился...

Выпили и другие. Захрустели солёными бочковыми огурцами. А потом Коля Сафонов, никого не спрашивая, разломил на коленях свою осипшую от долгой игры хромку.

И снова льются победные песни одна за другой, пока голосистые трети петухи не напомнят: пора, ребята, и честь знать...

Пролетела молодость соловьём залётным. Поизносились, попросили каши солдатские кирзовые сапоги. Выгорели добела под мирным солнцем зелёные гимнастёрки. Покрылись тускловатым налётом боевые ордена и медали. И легла на остывающие солдатские сердца горькая обида. Поднять бы сейчас с того света «бессмертных»: «Смотрите, победители, что меченые оборотни с нашей Державой сотворили!..»

Захар тягостно вздохнул. Пётр покосился на отца:

– Что с тобой, батя?

– Да так... Ничего... – успокоил отец сына и, глядя на стеблистые заросли гигантского борщевика, заполонившего обочины, грустно добавил: – Уж больно много дурной травы развелось!

– Да уж! – согласился Пётр. – Этот заморский силос косой не выкошишь, острым заступом не возьмёшь!

– И хвалёный культиватор «Торнадо» не справится! – сказал Захар.

– Может, каким-нибудь ядом плеснуть? – соображал Пётр.

– Можно и плеснуть, да вот землю жалко... – вздохнул Захар.

Показались Старинки. Тихая лесная деревушка. Асфальт кончился, и под колёсами задымила белая щебёнка...

Пётр сбросил скорость, и машина, одолев пологую сточную канаву, тихо подкатила к избе Рулёка.

Под резными окнами пятистенка на врытой скамеечке сидели Женёк и Колька. Нежились на майском припёке, закрыв слезящиеся глаза. Промеж ног притулились клюшки с набалдашниками. Обычные старики, но если приглядеться получше, то увидишь, как на их мешковатых двубортных костюмах отливают матовым светом боевые ордена и медали.

Захар убрал с плеча ремённую упряжь, выбрался из машины, хлопнул дверцей, но старики на скамейке даже не шелохнулись.

– Посигналь орлам! – сказал Захар.

Раздался протяжный занудливый звук, похожий на сирену.

Старики вскинули головы, удивлённо открыли глаза.

– Привет гвардейцам! – крикнул Захар. И сам поразился своему хриловато-надтреснутому голосу. Будто не он прокричал, а какой-то другой человек.

Женёк приветливо махнул рукой, а Николай выразительно пригрозил клюшкой: не опаздывай!

Наружная дверь с визгом отворилась, и на пороге появился весёлый Рулёк во всей обыденной красе: белая майка навывпуск, поношенные брюки пузырятся в коленях, ремённые сандалии на босу ногу.

– Здравия жже-лаю, та-аварищ старший сержант! – бойко козырнул Рулёк и вытянулся во фрунт.

– Вольно! – отозвался Захар. – Почему одеты не по форме? Застегните, ефрейтор, ширинку!

Рулёк торопливо сунул руку в промежность. Не получалось. Заработал обеими руками.

– Так-то! – похвалил Захар. – На первый раз – предупреждение...

– И, заканчивая игру, спросил озабоченно: – А где Василёк? Верка не отпустила?

– В избе! – доложил Рулёк. – Отдыхает после марш-броска...

Подошли Женёк и Колька. Долго жали руку Захару. Жали бережно, долго не отпускали – словно боялись, что рукопожатие будет последним. Пристально, узнавюще смотрели друг на друга. И Захар с трудом удерживал себя от желания слепца: дотронуться до лиц своих друзей,

убедиться на ощупь, что именно они стоят перед тобой, а не какие-то другие люди, и ласково провести рукой по стёршимся лицам...

Они на минуту задержались у порога, а потом, поддерживая друг друга, потянулись в избу. За ними вышагивал Пётр с большой хозяйственной сумкой – нёс складчину отца...

– Рот-та, па-адъём! – заорал Рулёк.

Василёк, прикорнувший на кушетке, поднял седую голову:

– Чего орёшь? В войну не наигрался?

Захар удивлённо глянул на стол, заваленный снедью. Квашеная капуста, солёные огурцы, колбаса, копчёные караси, селёдка, пучки молодого лука... А в центре стола, в чёрном смоляном чугушке, исходила душистым паром картошка в мундире. Казалось, Захар попал не на знакомое дружеское застолье, а на древнюю языческую тризну и это обильное угощение приготовлено не столько для живых, сколько для мёртвых...

Рулёк быстро облачился в костюм с орденами и, азартно потирая руки, пригласил к столу:

– Налетайте, орлы!

За этим крестьянским столом можно полвзвода уместить. А тут пять уцелевших гвардейцев стоят и голову ломают, как сесть получше. Расселись на одном краю: торчат мужики кто где – будто зубы в щелястом рту. Решили пересесть. Сели покучнее, напротив друг друга.

Для питья, на выбор, Рулёк выставил гранёные стаканы и небольшие, долгоиграющие, стопочки. Решили пить из стопок.

Захар осторожно, сдерживая дыхание, стал разливать из своей армейской фляжки «целебную». Налил по полной – не расплескал.

– Помянем фронтовиков! – сказал Николай. И, прежде чем выпить, перекрестился.

И остальные перекрестились. А ведь на первых солдатских «мальчишниках» избегали креста.

Захар закусил солёным огурчиком, а потом его рука, словно сама по себе, потянулась к смоляному чугушке с картошкой.

Захар неторопливо очищал картошку от тонкой кожицы, а в его задумчивых, обращённых в себя глазах вставало брошенное картофельное поле и он, голодный, холодный, с горсткой других бойцов, выбирающихся из вражеского кольца.

Захар выкапывал мёрзлую картошку сапёрной лопаткой. Он старался копнуть как можно глубже: там, в не тронутой снарядами глубине, картошка не превратилась в серый крахмал, а уже покрывалась живыми ростками...

Он заметил, как и другие переключились на картошку в мундире. Старики задумчиво перекатывали картофелины с ладони на ладонь – будто согревали иззябшие в мороз руки.

Выпили по второй. На третьей Василёк споткнулся: одолел только половинку.

Рулёк в порыве гостеприимства выставил початую бутылку «Пшеничной».

«Всё же оскоромился! – догадался Захар. – Не утерпел водила...»

И уже не от майского солнца разомлели мужики. Потихоньку развязались языки. Говорили о самом простом, житейском. До мировой политики пока дело не дошло...

После очередной стопки Рулёк воскликнул:

– Рот-та, за-апевай!

На него глянули с удивлением. Николай хмыкнул. Василёк начал старательно откашливаться – казалось, он прочищает горло для бодрого строевого запева.

– Что-то не получается! – извинился Василёк.

– Вышел пар! – улыбнулся Женёк.

И Захар ощутил, как у него простуженно заныли голосовые связки.

– Отставить! – Рулёк бессильно махнул рукой. – Закуривайте, курачи! – И, потянувшись к печурке, достал жестяную банку из-под леденцов.

– А бумага где? – спросил Николай.

– Где бумага? – переспросил Рулёк. Задумчиво потёр лоб и, взглянув на отрывной календарь, приколотый к стене, рассмеялся: – Вот где бумага! Отрывайте любой листок, только Девятое мая не трогайте!..

Захар смотрел, как Николай и Рулёк неловко, словно деревянными пальцами, закручивают солдатские самокрутки. Табачок-саморуб сыпался старикам на колени, но они этого не замечали.

Запахло памятно, душисто. Захар не без удовольствия вдыхал сладковатый аромат, но самому курить не хотелось.

Потянулся за календарным листком захмелевший больше всех Василёк.

Женёк сглатывал слюнку, но держался...

Слоистый дым таял над головами. Стало душно, словно в бане.

– Пойду-ка в сад-огород! – сказал Захар. – Продышусь.

* * *

Вечерело. Земля – и особенно это было видно за огородами, вдалеке, – парила. За поволокой уходящего в сиреневые небеса тумана мягко проступал растущий месяц.

От свежего родникового воздуха у Захара закружилась голова. Он ухватился за обрезанный сук старой яблони, с минуту постоял.

К замшелому стволу трудно набирающей цвет антоновки прислонился с другой стороны обломыш самодельного черенка – скорее всего, от граблей. Будто специально оставили «посошок» в помощь старому Захару.

Он взял тонкий черенок, потыкал им в землю, пробуя на прочность, и, отлепившись от яблони, пошёл в даль огорода.

Он шёл набитой тропкой, обмётанной молодой шелковистой травой, и зорко, насколько хватало зрения, оглядывал огород Рулька.

По грудкам обвялой ботвы Захар догадался, что Рулёк в прошлом году сажал морковь и свёклу. Сажал немного: по одной грядке. На заплывшей после снега земле торчала морщинистая кочерыжка – значит, сподобился и на капусту.

И как-то радостно было видеть, что из-под специально наваленной травяной ветоши пробиваются зелёные стрелки посаженного под зиму лука.

А вот скелет небольшого парника с порванной плёнкой. Что он сажал под плёнку? Скорее всего, помидоры. И, наверное, самые простые – «безуходные».

Захар прислушивался к непривычной после солдатского застолья тишине, и вдруг до него донеслось робкое, едва слышное «фи-фи-фи...» Успокаивающий нежный звук неожиданно сменился грубоватым вороньим «кр-р-р, кар-р-р...».

Захар пристыл к месту, опёрся грудью о «посошок».

«Что за чудеса? Скворец?»

Захар, знавший птичью породу, склонялся к одному: скворец! В весеннюю брачную пору эта птица кого угодно удивит своим многоголосьем: то застрекочет сорокой-белобокой, то затрещит ревнивцем-селезнем, а то, нагоняя страх на птичью мелочь, заклекочет коршуном-стервятником.

Захар ждал, что будет дальше.

И вот послышалось:

– Фьи-у-вить! Фьи-у-вить!

Песенка лилась легко, ласково.

И Захар не удержался – похвалил себя:

«Нет, брат, старого воробья на мякине не проведёшь!..»

Ну конечно, соловушка! И, судя по всему, не первогодок. Что ждать от вчерашнего слётка? Сделает от силы два-три коленца, и всё – видать, не осилил ещё птичью консерваторию. А вот старые птицы могут выдать и двенадцать колен: дробь, перелив, прищёлка, иволга, дроздовый накрик, гусачок... А венцом соловьиного пенья многие считают редкое басовое колено: лешеву дудку. Словно озороватый леший завопит в глухом, непроглядном лесу: «Ого-го-го! У-гу-гу-гу!» Так заголосит, что и неробкого человека пробирает дрожь.

Соловей замолк.

«Где же он прячется?» – подумал Захар. И тихим шагом двинулся вперёд. Даже пригнулся, хотя в этом не было никакой нужды.

Он знал: соловей любит гущину. Там он себя чувствует в безопасности. Потому и прячется в черёмуховых кустах, в малиннике, в крыжовнике...

Сухая веточка треснула под ногой Захара. Он замер. Похоже, певун затаился в густой ирге...

Соловей зацокал, зачмокал. Казалось, он пьёт после дальнего пути из весеннего ручья и никак не может напиться.

«Ну давай, старичок! Давай!» – мысленно торопил Захар.

Он ждал лешева колена.

А соловей неожиданно замолк. Замолк глубоко и как-то тревожно. И Захар, обескураженный таким молчанием, стал вспоминать...

Это случилось в сорок третьем году на Смоленщине.

Майским утром Захар со своим напарником Колоском отправились в разведку. По заброшенной лосиной тропе, ведущей к водопою, они вышли к реке. Берег густо порос ивняком и соснами – хорошая ухоронка для разведчиков. То и дело ныряя под кусты, они прошли ещё не обсохшим после половодья берегом и, прикинув обстановку, залегли возле поваленного дуба.

«Словно бруствер окопа!» – подумал Захар. И, раздвинув перед своим лицом ветки цветущей ивы, приложил к красноватым глазам, страдающим от постоянного недосыпа, артиллерийский бинокль.

Обгорелые сваи на противоположном берегу говорили о том, что недавно через эту реку был построен мост. Мост разбомбили и, судя по всему, немец не собирался наводить переправу, чтобы ударить с фланга. Но – бережёного бог бережёт – Захар прикидывал, где, на всякий случай, можно поставить противопехотные мины.

– Уж очень тихо... – прошептал Колосок. Из-под его выгоревшей пилотки выглядывали золотистые, ржаного цвета, волосы.

– Да-а! – задумчиво протянул Захар. За время войны он научился бояться не только взрывов, но и тишины.

Они решили ещё часок полежать за своим «бруствером», обозревая противоположный берег.

Справа от разведчиков пенились кусты черёмухи. Её душистый, слегка вяжущий запах так не вязался с теми запахами, которыми старший сержант, казалось, пропитался до конца своей жизни: пороховой дым, гарь, махорка...

На весеннюю речку хотелось смотреть бесконечно. Но в её тихих волнах жила не только успокаивающая душу синева, но и холодный свинцовый отлив.

И вдруг с лучистого неба до Захара донёлся гортанный звук. Два клина журавлей летели над немецкой территорией.

Захар залюбовался вольными птицами. И тут послышались тугие автоматные очереди.

Птицы заматались, ломая строй, бестолково закружились, теряя из вида вожakov. Казалось, ещё немного, и они повернут назад. Но вожаки, истошно крича, всё же сумели собрать стаю. И оба клина, забираясь всё выше и выше, потянули на север.

И снова стало тихо.

Из густых камышей выплыл красавец-селезень и негромко, словно опасаясь кого-то, зажавал.

Захар, бывалый охотник по перу, смотрел на селезня с нескрываемым удивлением. Казалось, он впервые в своей жизни видит эту птицу.

Ярко-зелёная бархатная шапочка, тонкую шею украшает белое ожерелье...

– Хорош! – восхитился Колосок.

Кряковый селезень ещё поживал и, озираясь, поплыл в камышовую крепь отыскивать свою неприметную подружку.

Захар глянул на задумчивого Колоска: ну что, парень? пора зачехлять окуляры?

Колосок вздохнул.

– Ладно! – согласился Захар. – Позагораем немного...

Старший сержант вытащил из нагрудного кармана трофейные часы с цепочкой. Удивительно, как летит время здесь, на озере!

Они лежали за дубовым «бруствером», чего-то ждали. И в этой сладостной, ласкающей душу тишине вдруг послышалось вкрадчивое, тетеревиное:

– Чу-вишшшш! Чу-вишшшш?

Захар удивлённо поднял брови: с каких это пор тетерева завелись в черёмушнике? Шипенье сменилось посвистываньем:

– Фи-фи-фи!

– Соловей! – в один голос выдохнули разведчики.

– Фьи-у-вить! Фьи-у-вить!

Ну конечно, соловей! И не салага-первогодок, который сипит, словно простуженный, а матёрый, старичок, способный выдать до двенадцати коленцев.

Соловей пел всё громче, смелее. Делал короткие перемолчки и снова продолжал свой концерт.

Захар с нетерпением ждал, когда соловей доберётся до лешева колена...

Не дождался!

С протяжным свистом пронеслась бризантовая граната и разорвалась возле черёмуховых кустов.

Разведчики вжались в землю.

Грохнула вторая граната, третья...

Страх, злорада и досада на самого себя – неужели вычислили? – овладели Захаром. И острое желание превратиться сейчас в малую зверюшку, забиться в глубокую норку, а когда всё стихнет, выбраться на божий свет и, как в русской сказке, трижды ударившись о землю, стать добрым молодцем.

Снаряды летели беспрестанно. Осколки слева и справа рубили цветущие кустарники. Потом снаряды ушли в дальнюю сторону, к болотам.

И так же неожиданно, как началось, всё стихло. Ноющая, как осиный звук, тишина.

С радостным удивлением разведчики глянули друг на друга: неужто живы? пронесло?

– Пристрелка берега... – выдохнул Колосок.

Захар приподнялся, стряхнул с плеч обрубленные ветки цветущей черёмухи.

– Смотри! – беспокойно заговорил Колосок.

И Захар увидел позади себя, среди красно-синих первоцветов, небольшую птицу. Соловей!

Осторожно, ещё на что-то надеясь, он поднял соловья с земли. Гладкое оперенье, пёрышко к пёрышку. Хвост рыжеватый, спинка коричневая. Чёрные бисеринки глаз ещё не затянуты мутной плёнкой. Смотрит, словно живой.

Ощущая пальцами ещё не остывшее тельце, Захар поднёс соловья к губам, тихонько подул. Пытался согреть своим дыханием певчую птицу. И продолжал надеяться на какое-то чудо: а вдруг?..

– Копец! – вздохнул Колосок.

Захар вытащил из-за голенища нож. Наклонился к земле. Три-четыре удара, и ямка готова.

Колосок, не мешкая, присыпал могилку землёй, замаскировал прошлогодним лиственным опадом...

Задумчивый Захар застыл, опираясь на свой «посошок». Терпеливо ждал. Этот послевоенный соловей должен был допеть когда-то прерванную песню...

И соловей, откликнувшись, разлился иволгой. Он выделял всё новые и новые коленца...

Глуховато стукнула дворовая дверь.

Рулёк, покачиваясь, приближался к Захару. Вот-вот окликнет его...

Захар предупреждающе выставил руку и негромко проговорил:

– Тише, Сергееч! Не звени орденами... А то соловья спугнёшь!

Пел соловей...

Денис ЛИПАТОВ

Родился в 1978 году в Горьком, в 2001 году окончил инженерный физико-химический факультет Нижегородского государственного технического университета. Работает в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Публикации в журналах: «Нижний Новгород», «Нева», «Континент», «День и Ночь», «Крещатик», «Волга», «Урал», «Звезда», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Дети Ра» и других. Автор книг стихов «Другое лето» (издательство «Литера», Нижний Новгород, 2015), «Фигуры речи» («Эксмо», Москва, 2021), сборников прозы «Науки юношей» (издательство «Деком», Нижний Новгород, 2018), «Взятие снежного городка» (издательство «Стеклограф», Москва, 2025). Лауреат премии журнала «Нижний Новгород».

Живет в Нижнем Новгороде

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

За доктором для Мишеньки послали ещё вчера днём, но в нашу глухомань он приехал, разумеется, только сегодня утром. Но приехал так рано, будто приснился. И в самом деле, никто в доме не спал всю ночь, а под утро всех сморило, и доктор так долго стучался во все двери и окна, что уже начинал сердиться. Первой проснулась в сених старая Григорьевна и спросонья, не разобрав или уже позабыв, что за переполох был тут ещё накануне, стала предлагать доктору «чаю с дороги».

– Какой чай, дура! – огрызнулся доктор. – Где ребёнок?

Тут она всплеснула руками, заохала, стала качать головой да причитать: уж что за ребёнок, что за мальчик, золото, а не мальчик, а такое горе.

– Дура! – снова выругался доктор и уже сам прошёл в комнаты, оставив её в сених причитать да охать.

Тут уже навстречу выбежали мать с отцом, тётки, молодая Григорьевна, старшие дети. Сон будто рукой сняло. Все кинулись наперебой ухаживать за доктором: принять саквояж, пальто, шляпу, зонтик. И все что-то говорили, говорили, спрашивали, совсем ненужное и даже лишнее: как доехали, да сильно ли размыло дороги в уезде после вчерашней непогоды, да выставлены ли уже карантин.

– Где ребёнок? – спросил ещё раз доктор, едва сдерживая раздражение.

– Прошу! – сказал отец, указывая дорогу и пропуская доктора вперёд. Было видно, что он не раздевался на ночь, а так и спал в одежде и даже в очках, и сейчас тоже ещё не успел ни толком проснуться, ни привести себя в порядок, ни даже сообразить вполне, что же происходит у него в доме.

В комнату к Мишеньке доктор никого не пустил, строго приказав только принести стакан воды, а лучше сразу целый кувшин, и сидеть ждать.

Мать, чтобы хоть чем-то занять себя, стала ходить из угла в угол, заламывая руки. Отец всё пытался утешить её, но безуспешно. Старших

детей молодая Григорьевна увела на кухню завтракать. Тётки караулили у дверей в комнату Мишеньки: не прикажет ли доктор что-нибудь ещё.

День между тем пошёл в гору, и чувствовалось, что после вчерашнего ливня снова наладила жара: не было ещё и восьми, а уже припекало.

В конце концов всех опять сморило: и тёток в карауле, и мать с отцом, и даже молодую Григорьевну с детьми на кухне, и уж наверняка и старая Григорьевна давно уже спала у себя в сенях, словно была она и не человек вовсе, а старая дворовая собака, которую за выслугу, вот, пускают иногда в сени. Даже доктор в комнате у Мишеньки – и тот, кажется, уснул. Откровенно говоря, он очень устал с дороги: тряслись всю ночь, да ещё этот бесконечный ливень, колеи развезло, с пути сбились, два раза приходилось выходить и выталкивать коляску из непролазной жижи, промок до нитки, да и «селифан» мой в придачу – дурак дураком, всё путает, зачем-то поехали в объезд! А здесь даже и чаю нельзя выпить. Так что вполне мог и заснуть, ничего удивительного. Во всяком случае, что-то напоминавшее храп, который уж никак не мог бы произвести семилетний мальчик, доносилось из детской.

Старая Григорьевна между тем опять проснулась раньше всех и стала шаркать по дому, скрипя половицами. Услышав чьи-то голоса в зале, пошла на них. Дверь была приоткрыта.

– Что вы теперь читаете? – спрашивала Маруся у доктора.

– Вы не поверите, но Чехова. Мне кажется, мы и сейчас в его рассказе. Кстати, довольно жестокий автор, а мало кто замечает. Вы только представьте, Маша: мы проживаем свою единственную и неповторимую жизнь, пусть иногда скучную и глупую, даже временами и пошлую, но неповторимую и единственную, и каждый о чём-то мечтает, на что-то надеется, влюбляется, разочаровывается, страдает, терзается какими-то вопросами, ищет на них ответы, ищет себя, а у него всё это умещается на трёх-четырёх страницах рассказа, а иногда вообще всего лишь в одном абзаце. Обидно.

– Какой ты выдумщик, – перешла на «ты», боже мой, сердце так и зашлось. – А мне вот кажется, что всё это чей-то сон, Мишеньки, например.

– Ничего удивительного, – пролепетал доктор, пунцовея и чувствуя, что начинает говорить глупости, – кризис миновал, все в доме спят, кто-нибудь видит во сне и нас.

– А знаешь, – подошла почти вплотную и сделала большие загадочные глаза, – когда мне будет тридцать лет, я тоже начну писать прозу. – Это она уже почти прошептала, словно доверила тайну.

– Вот и Мишенька, судари мои, уж такой сочинитель, такой выдумщик! – а это старая Григорьевна влезла. – Пойдут, например, с деревенскими ребятами в лес или на речку, а вернутся, он такого порасскажет: и у медведя-то они обедали, и на волке-то катались, и с лисой в карты играли! И чего только не придумает!

– Уйди, дура!

– Чаю не хотите?

– Уйди, говорю!

– Ну как знаете...

– А может, это и не Мишеньке всё снится, а вот... ей, например? – засмеялась Маруся, указывая на старую Григорьевну, которая вдруг, словно во сне, превратилась в медведицу и, встав на задние лапы, обиженно заревела: «Только и слышишь от вас: дура да дура! А я, между

прочим, в колхозе ударницей была, а не дурой, и больше всех дикого мёда сдавала и трудней больше всех имела! Меня в Москву на съезд депутатом возили, а я там Сталина видела и на свадьбе у Хрущёва гуляла, когда его замуж за Гагарина выдавали! А вы всё своё – уйди, дура, да уйди, дура!»

Господи, что за околесицу она несёт... или мы все тут угорели?..

А ведь и правда, какой-то дурацкий разговор получился тогда, а вот надо же – до сих пор помню. Больше двадцати лет минули, а помню. И кстати, Маруся, милая моя Маруся, где твоя проза? Написала ли хоть страничку?..

Старая Григорьевна меж тем давно померла, а молодая зовётся теперь старой, хотя новой молодой Григорьевны нет и в помине. Половину дома на лето стали сдавать дачникам: в двух верстах от нас прошла железная дорога, и наша деревня уже не такая глушь. Мишенька тоже давно вырос, окончил университет и теперь практикующий юрист. Адвокат. Женат. Двое детей. Миша и Маша. Или Маша и Миша. Я ещё путаю. Им по семь лет, они близнецы. Каждый год, в день рождения, отец фотографирует их вон у той старой карусели. Маша говорит, что когда вырастет, не станет выходить замуж, а будет сочинять книжки. А у Миши вчера случился жар, его знобило, вызвали по телефону доктора, послали за ним коляску, но ждут его только сегодня, и всю ночь никто в доме из-за Миши не спал, даже дачники и те приняли участие: сходили с фонариками в лес, набрали для него малины.

А под утро всех сморило, и поэтому никто не услышал, как в кабинете у адвоката сначала долго и беспокойно трезвонил телефон и, так никого и не дождавшись, обиженно замолк, а потом в тишине, затянутой ряской комариного писка и мушиного жужжания, скрипнула дверь детской, и оттуда, словно золотая рыбка, выпущенная обратно в аквариум, выглянул семилетний мальчик.

МИХАЛ МИХАЛЫЧ СЪЕЛ БУМАЖКУ...

Михал Михалыч съел бумажку. Представляете? Ну, то есть, разумеется, не вот просто так, сидел-сидел и вдруг ни с того ни с сего взял да и съел. Нет, конечно. Что он, дурачок, что ли? Всё-таки старший лаборант-электротехник на кафедре физики. Перед этим он ещё кое-чем удивил... Ну, во-первых, когда на Горького половина автобуса вышла, а другая половина зашла, а потом другая снова вышла, он, неожиданно проворно и даже нахально для такого «обсоса», каким выглядел, занял самое козырное освободившееся место – у окошка, да ещё и над печкой. Продышал в замёрзшем стекле проталинку, протёр её перчаткой и стал что-то там высматривать. Ну а уж потом, ближе к Политеху, когда проехали и Острожную площадь, и Варварку и стали выкручивать уже на Минина, а в автобусе осталось совсем мало пассажиров – в основном только мы, студенты, – он удивил второй раз. Видимо, отогревшись и насмотревшись в проталинку, Михал Михалыч решил отобедать и, ничуть никого не смущаясь, извлёк откуда-то из бездонных подкладок и карманов своей куртки довольно-таки массивную жестяную консервную банку, из другого кармана так же невозмутимо выудил складной консервный нож и, даже не сняв перчаток, принялся эту банку этим самым ножом остервенело вскрывать. Тут же выяснялось, что это была тушёнка. Выяснялось также, что на обратной стороне ножа, в рукоятке, была спрятана ещё и маленькая вилочка, которую Михал Михалыч виртуозно высвободил, просто тряхнув ножом в воздухе, как будто сбивал температуру в ртутном термометре. Совершив все эти манипуляции – весьма ловко и быстро, надо сказать, что, безусловно, требовало некоторой тренировки, учитывая, что совершались они всё же в движущемся транспорте, – Михал Михалыч принялся эту самую тушёнку с аппетитом, и даже не особенно торопясь, поедать. В смысле, вкушать, есть, пережёвывать и поглощать. Здесь он, правда, проявил меньше ловкости и сноровки: умудрился расцарапать об острые края банки свой длинный, похожий на клюв нос, заляпать в желе запотевшие линзы очков. Мы только присвистнули от удивления и с интересом на него уставились: успеет ли он всё доесть до своей остановки, то есть до а, то есть и до нашей тоже: ведь как раз на лабораторные по электротехнике мы и ехали, то есть и к нему, значит, ехали, потому что он там – старший лаборант, а мы – студенты. Кажется, теперь уже все пассажиры, кто ещё оставался в салоне, смотрели на него, нисколько этого не скрывая. Даже водитель и тот заметил его в зеркало и даже сбавил скорость. Другой бы подавился. А этот нет, ничего, сидит себе – ест.

Мало ли чудачков на свете?

А Михал Михалыч и правда не обращая ни на кого внимания, сидел себе, ел тушёнку из банки, поглядывал в окно, в ту самую проталинку, которую он прежде продышал, иногда о чём-то вздыхал, посматривал снова в банку, выуживал оттуда ещё один кусок мяса, отправлял его в рот, снова жевал, снова вздыхал, снова смотрел в проталинку.

Смотрел и думал... Думал, что он, наверное, похож на старого воробья или подбитого камнем галчонка-переростка, что ему уже сорок три года, что он неказист, не женат, беден, почти нищ, жалок и убог, что жизнь вообще пошла кое-как наперекосяк, что в свои сорок три он всего лишь старший лаборант, что студенты над ним смеются, если вообще замечают, что из общежития его, наверное, скоро попрут и что придётся тогда возвращаться в Урень, а там никого, все уже умерли, а работа только в леспромхозе, а он такую, наверное, уже и не сдюжит, и что хорошо бы тогда вот так ехать и ехать в полусне, в полупустом автобусе, на тёплой печке, словно Емеля, смотреть в окошко, есть тушёнку, снова смотреть в окошко, снова о чём-то думать, наверное, о том, что похож на старого воробья, что неказист, одинок и беден и никому до тебя нет дела, никто в целом свете о тебе не беспокоится, ни у кого за тебя не болит сердце, никто не будет тебя провожать во тьму или встречать на шумном вокзале, и что до чего же это на самом деле хорошо, что всегда так и хотел, так и мечтал жить, и вообще глупо жалеть, глупо оглядываться, что всё идёт как надо, как и должно было быть, что есть в этом его одиночестве и в этой его бедности и своя прелесть, и своя свобода, и даже своя поэзия. Он даже вообразил себя на минуту пушкинским Евгением из «Медного всадника», хотя кому здесь грозить? Разве что мухинскому Буревестнику, даром что тот пеший, но уж если погонится, то шажищи у него такие, что догонит в два счёта. Погонит на север, нагонит бурю, Волгу перешагнёт, как ручеёк, догонит до самого Урени, загонит в гроб, в медвежий угол, в леспромхоз этот, будь он неладен.

Погрузившись в эти свои размышления, Михал Михалыч и не заметил, как доел уже всю банку, и теперь вилочкой, зачем-то обернув её салфеткой, выуживал последние остатки желе и жира.

– Ой, мама, смотри: дяденька бумажку съел! – восхищённо сообщил на весь автобус чей-то ребёнок.

Михал Михалыч вздрогнул, испуганно взглянул сначала в салон, а потом на свою вилку, на которой и правда, салфетки уже не было. Он даже не поверил с первого раза и, сняв очки, снова принялся с интересом её разглядывать. Нет, не было салфетки. Зачем-то он даже спрятав вилку в рукоятку ножа, потом снова достал её оттуда, на этот раз сняв и перчатки, вертел и так и эдак, смотрел со всех сторон: салфетки всё равно как не бывало. Видимо, задумавшись, он и не заметил, как проглотил её, всю уже пропитавшуюся жиром, а все, наверное, подумали, что он специально, от жадности или бедности, чтобы и тот жир, которым салфетка пропиталась, не пропадал. И что теперь? Половина автобуса – его студенты, которые сейчас к нему же и придут. Хоть на работу не ходи. Засмеют.

Вздохнув, Михал Михалыч, спрятав в карман свой складной ножик, пустую банку тоже сунул куда-то в куртку и стал пробираться к выходу – автобус подъезжал уже к Политеху. Здесь только он заметил, что расцарапал до крови нос об острые края банки, и стал теперь тереть его платком, которым до этого протирал заляпанные жиром очки.

В дверях он поравнялся с мамашей того самого ребёнка, который так радостно сообщил на весь салон об его конфузе. Мальчишка смотрел на Михал Михалыча с нескрываемым восхищением: ещё бы – такого фокуса он никогда не видел – чтобы человек прямо в автобусе, как у себя дома, ел из банки тушёнку, а потом ещё съел и бумажку! И хотя мальчишка и был восхищён, но всё же немного стеснялся

и прятал половину лица за материной рукой. В его мамаше Михал Михалыч признал одну из студенток с кораблестроительного факультета, у которых тоже были сегодня лабораторные по электротехнике, а значит, и она ехала к нему, а ребёнка оставить не с кем, и выходит, хочешь не хочешь, а придётся с ним познакомиться. Знакомство Михал Михалыч решил отложить до лабораторных работ, на тот момент, когда студенты соберут уже все цепи, разобравшись, наконец, со всеми амперметрами и вольтметрами, а он, проверив, правильно ли они их собрали, сможет спокойно попить чаю у себя в лаборантской. Ах да, спокойно не сможет: вот же, сегодня он ещё и нянька. Михал Михалыч состроил гримасу и показал мальчишке «козу». Тот, однако, совсем не испугался, а, наоборот, засмеялся.

– Здравствуйте, Михал Михалыч. – сказала его мамаша и посмотрела заискивающе.

Михал Михалыч что-то буркнул в ответ. Тут автобус подъехал к остановке и, ещё даже не успев до конца остановиться, распахнул двери.

Ступив на ступеньку Михал Михалыч почувствовал, что нога его предательски подвернулась и заскользила куда-то в сторону и вверх. «Этого ещё не хватало», – только и успел подумать он, замахав в разные стороны руками, ища опоры и хлопая ими, словно крыльями.

Все мы посмотрели на него с испугом, потому что автобус ещё двигался, пусть и замедляясь, а Михал Михалыч уже вылетал в открытые двери.

Но, против ожидания, Михал Михалыч полетел не вниз, под колёса, а, и правда обратившись то ли в галчонка, то ли в воронёнка, вверх на дерево, на огромный и разлапистый клён, который, весь запорошенный снегом, рос тут же, на остановке. Видимо, для галчонка и даже для воронёнка Михал Михалыч был всё же ещё тяжеловат, потому что клён слегка встрепенулся и просыпал часть снега со своих веток вниз, на разинувших рты прохожих и прочий люд, собравшийся на остановке. Но больше всех такого поворота не ожидал, похоже, сам Михал Михалыч и теперь, усевшись на ветке, он с удивлением разглядывал себя. Достав из кармана свой складной нож и повертев его в лапке и так и сая, он всё же выкинул его в снег: теперь, когда у него такие острые когти и клюв, он ему был ни к чему. Пустую банку решил всё-таки оставить: вдруг пригодится что-нибудь спрятать. Очки. Очки вещь полезная: тоже повертев их в лапке, Михал Михалыч водрузил их обратно на клюв и посмотрел вниз. Внизу столпились все мы: пассажиры, студенты, те, кто был в это время на остановке, и даже те, кто ещё не доехал до своей, тоже вышли из автобуса и собрались внизу у клёна, задрав головы. Даже водитель и тот, вышел и с удивлением смотрел то под колёса, то на дерево. Наконец, кто-то, набравшись смелости, крикнул:

– Михал Михалыч, а как же лабораторные?

В ответ Михал Михалыч издал какой-то странный звук, что-то среднее между клёкотом и карканьем, при этом из горла у него вылетела та самая скомканная салфетка, которую он нечаянно проглотил в автобусе. Прочистив таким образом горло и набрав в лёгкие побольше воздуха, Михал Михалыч радостно гаркнул ещё раз:

– Идите к чёrrrrrrту! – и, высвободившись из своей, теперь такой необъятной и не нужной ему куртки, захлопав крыльями, полетел прочь.

ТЕНЬ НА ЛУНЕ

Однажды, когда Сомов был моложе и ещё лёгок на подъём, случилось ему побывать проездом в одном совершенно незнакомом заштатном городишке. Городок был пыльный и какой-то пустой, вокруг не было ничего – ни хорошего леса, ни речки, ни озера, ни холмов, – только бескрайние во все стороны поля, пересекаемые грунтовыми дорогами, и городок стоял как бы на их перекрестье. Зачем, когда и кем он был здесь построен, не знали даже в краеведческом музее, куда Сомов забрёл в ожидании, пока откроется гостиница, где он собирался поселиться. Приехал он хотя и не слишком рано, но приезжие были здесь такой редкостью, что гостиница, если не было постояльцев, стояла закрытой до двух часов дня, а потом приходила сонная женщина, отпирала её, сидела за конторкой часов до семи вечера, пока на автовокзал не прибывал последний автобус, и если и на нём никто не приезжал, то снова запирала её до следующего дня и уходила домой. Гостиница на весь город была всего одна, располагалась прямо напротив автовокзала, и Сомов был теперь здесь единственным постояльцем. И та самая сонная женщина, заселяя его, вручила ему ключи не только от номера, но ещё и дубликаты ключей от самой гостиницы, так как не намерена была только из-за него провести здесь всю ночь, и опять ушла домой до следующего дня. Таким образом, он оказался единственным жильцом двухэтажного особняка.

Собственно, в самом городке у него не было никаких дел, но дорога была так утомительна и однообразна, такие тоска и безнадёга накатили на него вдруг из-за этих бескрайних и выжженных солнцем пейзажей, которые никак не хотели заканчиваться за окном, что казалось, будто автобус совсем никуда не движется, да ещё и такая духота была в салоне, что не мог он больше сидеть на одном месте, почувствовал, что надо ему денек-другой передохнуть, подумать, «залечь на дно, забиться под корягу», и вот именно в таком захудалом городишке, где и его никто не знает, и он никого. Благо дела были не слишком срочные, и дня два или три у него в запасе точно имелось. Словом, захотелось пошататься, побродить, телефон отключить обязательно, ни о чём не думать. Но против ожидания, тоска и тут догнала его и накатила ещё больше. Городок был пустой, пыльный, улочки какие-то кривые и безлюдные, от зноя спрятаться было негде – ни одного приличного сквера или садика, и собачий лай из-за заборов частных домов был слышен чаще, чем человеческая речь. На окраине дымила какая-то полуразвалившаяся фабрика. В общем, для шатаний хватило всего одного дня, а следующий он решил просидеть безвылазно в номере, благо вокруг гостиницы как раз был небольшой сквер, даже с фонтанчиком, и старые липы давали вполне приличную и густую тень.

Вечером, поужинав в привокзальном буфете, он вернулся в «свой особняк», принял «вахту» у сонной хозяйки, пожелал ей доброй ночи, закрыл гостиницу изнутри, поднялся в свой номер на втором этаже

и рухнул на постель, не раздеваясь. Вечерняя прохлада сменяла изнуряющую дневную жару. Побелка и обои в номере все были в маленьких кровавых кляксах – следы «браконьерской» охоты на комаров прежних постояльцев. Он принялся бесцельно бродить взглядом от одной кляксы до другой, изучая их россыпь, словно карту звёздного неба, думая о прежних жильцах, которых так замучил назойливый комариный писк, что они всю ночь, вместо того чтобы спать, метались по комнате со свёрнутой газетой, наверное, или с чем там ещё?.. И вдруг вспомнилось детство. Или уже приснилось? Было ему тогда лет пять или шесть, приехали они в Боголеповку знакомиться с деревенской роднёй отца и угодили аккурат на свадьбу или на похороны, в общем, на что-то такое. Да, скорее всего на свадьбу. Большой деревенский дом был полон народу. Был долгий и шумный день. А потом все укладывались спать, и ему постелили в сенях, на огромных сундуках, потому что там прохладнее, а было такое же жаркое лето. Двери в комнаты оставили открытыми – и чтобы он не боялся, и чтобы прохлада из сеней доходила в дом. А проснувшись ночью, он вдруг понял, что совершенно один в этом огромном деревенском доме: из комнат не было слышно ни храпа, ни сопенья, ни шёпота, вообще ничего, вообще никаких человеческих звуков. Это было настолько удивительно, загадочно и страшно, что он даже не испугался. Просто сидел и прислушивался. Ничего. Тишина. А потом было слышно, что кто-то постучал в окно снаружи, и опять из комнат никто не откликнулся на этот стук. Потом этот кто-то долго ходил вокруг дома, снова стучал в другие окна, и опять в комнатах никто не проснулся, не подошёл к окнам, посмотреть, кто там. Во дворе залаяла собака, но тоже как-то сонно и неохотно, словно это ей приснилось, что вот кто-то ходит вокруг дома и стучит в окна. Где-то далеко и жалобно просвистела электричка. Потом кто-то спросил у него под окном:

– Это вообще что за станция?

И кто-то ответил:

– Боголеповка должна быть... или Олониха.

– Странно, – снова сказал первый, – никогда не слышал. Не было тут таких деревень.

– Ладно, пойдём, – сказал второй. – Не деревня, а какая-то тень на Луне.

И они ушли. И уходя, кто-то из них всё время сетовал, что вот ещё и спички отсырели, а спросить не у кого. Но этого уже, конечно, не было слышно. Это уж точно приснилось.

А утром в доме снова было полно народу: отец уже обливался из шланга в огороде, хозяйка дома, старая Кирилловна, вместе с невесткой, молодой Кирилловной, гремели на кухне сковородками, горшками, ухватами; кто-то всё время ходил в сенях: то из дома на улицу, то с улицы в дом; наконец мать пришла его будить. Он так и не спросил тогда, где они все были той ночью. Только заплакал, увидев её. И она очень удивилась, и стала его обнимать, успокаивать, ласкать, называть «маленьким сомиком», целовать в макушку... Насколько давно всё это было, столько лет он об этом не думал, не вспоминал тот случай, тот день и ту ночь в Боголеповке, что теперь и правда всё это превратилось в какую-то тень на Луне.

Проснулся он от того, что кто-то внизу, на улице барабанил в закрытые входные двери гостиницы. И барабанил так громко, и ругался так сильно, что даже здесь, во втором этаже, дребезжали и ходили ходунком не только оконные стёкла, но и чайная ложечка в стакане звенела,

словно в едущем вагоне. Сомов вспомнил, что уходя, сонная женщина без тени смущения попросила его встретить постояльца, который прибудет сегодня ночью. Номер был забронирован ещё неделю назад, она его подготовила, вот ключи, тоже на втором этаже, но раз такая удача и теперь в гостинице живёт ещё и он, то ей, конечно, нет смысла сидеть тут до полуночи, тем более дома полно дел, да и внучку оставить не с кем. Вот, ключи, держите. Держите же! И смотрите не усните! Сомов, конечно, ошалел от такого хамства, но он так устал, так был измотан дневной жарой и бесцельным шатанием по городу, и так хотелось побыстрее избавиться от этой неприятной женщины и остаться наконец одному и завалиться спать, что у него не было никаких сил сопротивляться ей, и он, взяв ключи, пробурчав дежурное «доброй ночи», чуть ли не вытолкнул её за двери. Теперь вот постоялец прибыл и был справедливо возмущён тем, что гостиница заперта. Вздохнув, Сомов пошёл на первый этаж открывать. Открыл дверь и сразу узнал Гусева. Но ещё он до такой степени не проснулся, что даже нисколько не удивился этому, а только подумал: «Гусь». И пока Гусев ругался, на чём свет стоит, приняв его за консьержа и пытаясь всучить ему свои чемоданы, Сомов разглядывал его в каком-то немом оупении, отмечая, что тот почти совсем не изменился за эти годы, хотя, конечно, стал больше ростом, заматерел, веснушки вот исчезли, а уши, например, такие же оттопыренные, – и ещё только-только начинал удивляться эдакой негданной встрече, чёрт знает где, в каком-то забытом богом городишке, на краю географии. Наконец поток ругательств иссяк, и Гусев впервые внимательно взглянул на «консьержа». И вдруг тоже узнал Сомова.

– Твою дивизию! – только и мог сказать он, присвистнув от удивления. – Ты как здесь?

– Да так, – ответил Сомов, зевая, – проездом.

Ночь, конечно, прошла в разговорах. Завалились в номер Гусева. Он забронировал себе люкс, но люкс этот был точно такой же, как номер Сомова, с теми же кляксами от убитых комаров по стенам, с теми же рассохшимися деревянными оконными рамами, с такой же облупившейся белой краской на них и на дверях, с такими же кашляющими и чихающими ржавчиной водопроводными кранами и осклизлыми, почти дырявыми трубами. С тараканами, конечно же, куда ж без них. Вся его «люксовость» заключалась только в том, что холодильник был до отказа забит разнообразной едой, вернее закуской, нашлась там, в морозильнике, даже бутылка водки местного разлива, и столик был уже сервирован для ужина. Бутылку водки Гусев, изучив этикетку и презрительно хмыкнув, засунул обратно в морозилку, а на стол выставил собственный «арсенал» – дорожные коньяки и литровую бутылку виски.

И пошли разговоры. Под первую, под вторую, под третью. И чем дальше, тем громче, развязнее, веселее. Неизвестно, получился бы у них такой разговор, если бы встретились они дома, а не здесь, в чужом городе? Скорее всего, нет. А здесь почему-то было ощущение, что прежняя жизнь кончена, началась новая, в которой всё позволено, и прежние тайны и недомолвки не имеют теперь никакого значения, и можно всё рассказать, обо всём расспросить, словно всё, что было, было не здесь или всё это, бывшее с ними когда-то, теперь тоже стало тенью на Луне.

Гусев много курил и был так мужественен с сигаретой, всегда так красиво прикуривал, затягивался, держал её, так ловко ударом указательного пальца сшибал пепел, что некурящий до сих пор Сомов,

захмелев и засмотревшись на Гусева, залюбовавшись им, тоже выкурил сигарету, закашлялся, едва не задохнулся, но через какое-то время снова потянулся за второй, потом за третьей.

– Козлов, представляешь, – падла, а Ерёма – змея! – говорил Гусев.

И захмелевший Сомов понимающе кивал, соглашался, хотя ни Козлова, ни Ерёму он вообще не помнил, а если даже и помнил, то настолько смутно, что ещё неизвестно было, тех ли самых, о ком говорит Гусев, или, может быть, это были вообще другие люди.

А пьяный Гусев всё рассказывал и рассказывал, говорил и не мог остановиться. И уже было не разобрать, где правда, а где – пьяный трёп. Говорил, например, что он теперь стал деловым человеком, что приехал в этот занюханный городишко, чтобы разместить крупный заказ на местной фабрике, который они сделают раза в два дешевле, чем «у нас», да ещё и рады будут, потому что всё равно сидят без работы. А сам заказ он увёл из-под носа у собственной фирмы, убедив Козлова и Ерёму, что он слишком крупный, и они всё равно не справятся, и надо отказываться. А теперь весь куш его, а им – шиш. А так им и надо – будут знать, как у него за спиной шуры-муры крутить.

Потом снова пили и опять вспоминали общих знакомых. Вспомнили почему-то Динару Хатубееву, тихую и милую девочку, всегда сторонившуюся их шумной студенческой компании и которая всегда опускала глаза, когда мальчишки пытались с ней заговорить, и отвечала еле слышно, если вообще отвечала, и которую за всё это прозвали Хотьубеевой, и всем так понравилась эта «Хотьубеева», что даже преподаватели иногда так к ней обращались, а она даже не понимала, что это шутка такая, потому что русский был у неё не родной, и она на слух просто не различала эти два слова, и «Хатубеева» и «Хотьубеева» звучали для неё одинаково. А теперь вот оказалось, что оба они были в неё влюблены, а Гусев даже и записки ей писал, на которые она, конечно, – хоть убей – не отвечала, если вообще читала их, а не выбрасывала, даже не развернув.

Вспомнили и несчастного Михал Михалыча, лаборанта на кафедре физики, который погиб у них на глазах: поскользнулся, выходя из автобуса, и угодил прямо под колёса. А была зима, автобус ещё скользил на лысой резине, а двери уже распахнул. А перед тем Михал Михалыч прямо в автобусе, никого не смущаясь, ел тушёнку из консервной банки, чем насмешил даже водителя, который, объявляя в микрофон следующую остановку, заодно пожелал ему «приятного аппетита». Тем Михал Михалыч и запомнился. Ещё тем, что был похож на галчонка, имел огромный, действительно похожий на клюв нос, на котором носил очки с толстенными линзами, и всегда утопал в своих каких-то безразмерных свитерах, джемперах, кофтах, надевая их в несколько слоёв.

Вспомнили ещё декана, у которого тоже была смешная нерусская фамилия, и которую студенты никак не могли правильно запомнить. И даже сейчас, спустя столько лет, Сомов с Гусевым заспорили, как будто это имело решающее значение и всё зависело от того, правильно ли они её вспомнят.

– Уфлянд! Говорю тебе – Уфлянд! – уверял Сомов.

– Нет, Ульфанд, – не соглашался Гусев.

Потом они путались, или уже языки у них заплетались от выпитого, и уже Сомов доказывал, что фамилия декана была Ульфанд, а Гусев, наоборот, стоял на своём, как скала, – Уфлянд, и всё тут. Хотели даже позвонить Батищевой, «Бате», которая все пять лет была у них старо-

стой и которая, уж конечно, должна была помнить, как правильно, но то ли номера её телефона не нашли с пьяных глаз, то ли она, скорее всего, просто не взяла трубку среди ночи. Вдруг Гусев на чём свет стоит принялся ругать «этот гадкий коматозный городишко, из которого вот уже три года никуда невозможно уехать, где все и живут в каком-то вечном коматозе, словно на Луне».

– Не город, а тень на Луне, как сказали бы эти... Уфлянд с Ульфандом.

И Сомов как будто даже протрезвел на мгновение, потому что вспомнил, что декан действительно так говорил, что это было его выражение, и означало оно у него нечто несуразное, невозможное, неосновательное, настолько зыбкое и недостижимое, что только покривишься: а, тень на Луне, да и только. Или если вдруг студент на экзамене начинал путаться, сбиваться, нести околесицу, он тоже мог так сказать: «Ну, это, отец родной, совсем уж какая-то тень на Луне!» Но когда-то давно, когда Сомов впервые услышал от него это выражение, он совсем забыл про Боголеповку. Ему и в голову не пришло связать те два случая. А теперь выходит, что это он, их будущий декан, был тогда в Боголеповке одним из тех, кто ходил вокруг дома и стучал в окна, чтобы спросить спичек. Или он, или кто-то из его бывших студентов... Или, наоборот, кто-то, у кого он в будущем перенял это выражение. Почему-то это странное совпадение настолько поразило Сомова, что ещё несколько минут он сидел молча, пытаясь снова и снова всё это осознать и как-то сопоставить у себя в голове, прикидывая возраст декана, когда они уже поступили, и сколько тогда лет ему могло быть там, в Боголеповке.

Когда, наконец, он как-то со всем этим разобрался, Гусев уже дрых без задних ног поперёк кровати с тлеющей сигаретой. Сомов взял у него сигарету, не найдя ничего более подходящего, затушил её в остатках какого-то салата, подложил Гусеву под голову подушку и потащился к себе в номер, благо тот был здесь же на этаже, через два или три пустых номера.

Добравшись, наконец, до своей постели, Сомов рухнул на неё так же, не раздеваясь, и все сразу столпились у него во сне: те двое из Боголеповки с отсыревшими спичками, Динара Хатубеева, Михал Михалыч, Уфлянд и Ульфанд, сам Гусев и даже какие-то неведомые ему Козлов и Ерёма, крутившие за спиной у Гусева «шуры-муры» и теперь должны понести наказание в виде уплывшего от них крупного куша.

Проспал он почти до полудня, даже дольше, а разбудил его гневный звонок Батищевой. Она была справедливо возмущена ночными попытками дозвониться до неё, ругалась на чём свет стоит, говорила, что она давно замужем и ей «вот этого всего» даром не надо. Сомов, как мог, извинялся и оправдывался, попутно пытаясь вспомнить, зачем же они с Гусевым ей звонили. Наконец, в мозгу вспыхнуло, словно два семафора: Уфлянд или Ульфанд? Батищева на минуту зависла, а потом, пропустив мимо ушей вопрос о фамилии декана, во всяком случае, не ответив на него, даже не возмущившись, что её побеспокоили по такому пустяшному поводу, как-то недоверчиво спросила:

– Кого, ты говоришь, там встретил?

– Гусева, – ответил Сомов, и почему-то решил уточнить, – Гуся.

Батищева снова замолчала на какое-то время, а потом сказала что-то непонятное, забыв даже, что это она сейчас позвонила Сомову, а не он ей:

– Какого Гуся? Ты что, с Луны мне звонишь? Он же умер три года назад.

– Как умер? – не понял Сомов.

– Да так, очень просто, – объяснила Батищева. – Хапнул какой-то крупный заказ для фирмы да решил его «в одну пачку» проглотить. Нашёл где-то у чёрта на куличках фабрику, ну, поехал туда, втюхал им его за полцены, а потом на радостях в гостинице водкой местной и траванулся. И все дела.

Сомов молчал. Он осторожно выглянул в окно. Нет, не Луна: вон скверик, вон фонтанчик. Вон какие-то галки или вороны. Вон кошка крадётся за голубем. Вон дворник в оранжевом жилете, поднимая во все стороны пыль, метёт дорожки.

– Сомик, ты здесь? – снова раздался в трубке голос Батищевой.

– Здесь, – ответил Сомов, а потом спросил почему-то: – А Динара жива?

– Динара? Какая Динара? – не поняла Батищева.

– Хатубеева.

– А, Хотьубеева? А что ей сделается? Жива, наверное. Почём я знаю?

Снова замолчали. Про Уфлянда или Ульфанда Сомов почему-то побоялся спрашивать.

– Ну ладно, Сомик, пока, – снова заговорила Батищева. – Приятно было поболтать. Смотри не пей много, а то опять кого-нибудь встретишь или попадёшь в эту самую тень на Луне, как Гусев.

И отключилась.

Сомов снова посмотрел в окно. Скверик и фонтанчик были на месте, дворник всё ещё подметал, только скинул свой оранжевый жилет, за галками да воронами не уследишь, кошка, отстав от голубей, припустилась на лавочке в тенёчке и старательно вылизывалась.

Про Гусева Сомов старался не думать. И вдруг снова вспыхнуло в мозгу, словно сигнал семафора, сначала красный фонарь – Уфлянд, потом зелёный – Ульфанд. И будто раздался протяжный свист паровоза. Голова раскалывалась. Захотелось прилечь. Прилёг, и будто и правда очутился в поезде – почувствовал, словно вагон плавно тронулся и, покачиваясь, двинулся вдоль перрона. Поплыл перед глазами этот странный городок. Где-то на Луне. Долго он потом ещё вспоминал его, даже хотел как-нибудь снова туда вернуться, да так за всю жизнь и не собрался.

В два часа дня, как и всегда, вернулась консьержка, та самая сонная женщина, заглянула в номер к Сомову, но не стала его будить.

Поэзия

Геннадий ИВАНОВ

Родился в 1950 году в городе Бежецке Тверской области. Детство началось в деревне, в полях, в начальную школу ходил в бывший барский дом из имения Слепнёво, где когда-то жили и творили Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Потом семья переехала в город Канда拉克шу на Кольский полуостров – там жили в бараке на берегу Белого моря, там окончил школу, откуда уходил в армию, в арктическое плавание, там работал в районной газете и начал писать стихи.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Автор пятнадцати книг стихов. Написал три книги очерков о своей малой родине «Знаменитые и известные бежечане». Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии имени Федора Тютчева «Русский путь», премии имени Валентина Распутина.

Живёт в Москве.

И ВЕЕТ, ВЕЕТ ТАИНСТВОМ СВОБОДЫ...

Родина

Над Бежецком большие облака –
июньские, наполненные светом.
Течёт Молога – тихая река,
и пахнет город клевером и летом.

Вот где-то здесь среди земной тщеты
на берегу, где березняк и глина,
где белые и жёлтые цветы,
была моя зарыта пуповина.

И что с того? Её ли я ищу,
всю жизнь сюда зачем-то приезжая?
Конечно, нет. Я просто здесь грущу.
О чём грущу, я сам не понимаю.

Быть может, здесь мне хочется избыть
тоску-печаль, чтоб духом возродиться...
В других местах бессмысленно грустить –
там пусто мне,
и даже не грустится...

Осенний снег

Памяти Г.Ф.

В избе горячей глиной пахнет печка.
Я у окна сижу, дымится чай.

В окне – берёза, голая, как свечка,
Летят снежинки как бы невзначай...

Пойду к реке. Летят снежинки в воду
И тают в тёмной, будто ночь, воде...
На кочки падают, на мост и на колоду...
В осоке снег – как в рыжей бороде.

Летят снежинки, словно наши годы.
Шёл редкий снег, теперь пошёл стеной.
И веет, веет таинством свободы –
Освобожденьем от судьбы земной.

* * *

*Месяц тонет в облаках,
Поле прячется в стогах.
Мы идём тропинкой узкой –
Я тону в твоих глазах...*

Н. Иванова

Родная ты моя, и я тонул
в твоих глазах, и в волосах, в ладонях...
Я это нынче в памяти вернул –
на склоне лет, на безмятежном склоне.

Оно со мной, то время, но оно
теперь не нам принадлежит, а небу.
И всё, что было, – в вечности давно.
А нужно ли нам это на потребу?

Земного там не нужно ничего.
Не нужно ни для рая, ни для ада...
Хотя, быть может, что изо всего,
всего земного,
это лишь и надо.

* * *

Стать монахом теперь?
Стать воином?..
Не получится.
Надо терпеть.
Ты вперёд меня удостоена
этой участи –
умереть.

Надо жить, доживать и мучиться...
И ещё – вдохновенья ждать...
Или муза – твоя попутчица?
Ну тогда совсем –
п р о п а д а т ь.

* * *

Русских детей из России везли самолётами.
Якобы у с ы н о в л я л а
Америка наших ребят...
Сирот везли в основном к педофилам.
Как в рабство.
Господи, Господи, что же творилось тогда...

Надо бы тварей причастных найти обязательно.
Нет срока давности этому горю детей!
Не возродится страна, высоко не поднимется,
Если предателей не покарает она.

* * *

Деревенские мужики, забежавшие ко мне порой
опохмелиться,
где вы теперь?
Канули.

Честное слово, без вас деревни не стало –
какой-то полустанок...

С вами было интересно посидеть поговорить,
словечки ваши послушать.

Хотя вы всё время куда-то спешили – то пахать, то сеять,
то к скотине, то в огород...

Вы и были НАРОД.

Работать – вы.
на войну – вы,
на целину – вы,
на БАМ – вы...
На СВО – вы..

На небо тоже первыми – вы.

О книге Б.А. Можаяева «Мужики и бабы»

Я читал эту книгу с болью такой,
Будто плакал навзрыд над великой рекой.
Над великой рекой, вдруг повёрнутой вспять...
И бессилён хоть что-нибудь ты предпринять.

И погибла река... И погиб целый мир...
Воронью на костях уготован был пир.
Там погибло такое... России костяк.
И не может Россия подняться никак.

Мама

Её любовь я ощущал всегда,
Её поддержку, помощь, береженье...
«А для чего и жить, сынок, тогда», -
Всё говорила мне на возраженья.

Теперь стоит её большой портрет.
Витает зыбкий образ молчаливо.
Теперь – и до скончанья моих лет –
Смотреть нам друг на друга сиротливо.

* * *

В той жизни, где были телеги
И сани, где был самовар,
Нельзя было жить без элегий,
Романсов... И к этому дар
У многих был чуткий – и пели,
И слушали, сердцем томясь...
И времени много имели
Улавливать тонкую связь
Меж словом и звуком и чувством...
Живём нынче, словно летя...
В искусстве всё меньше искусства.
Другие теперь
скоростя.

* * *

Так положено!
Жить положено!
И на музыку жизнь положена,
И на счастье она помножена!..
И теперь, хоть она скукожена
И годами она стреножена,
Унывать, мой друг, не положено.

...Молодые скворцы разлетались –
от скворечника на скворечник...
И подальше лететь попытались –
от скворечника да в орешник...

Но летают пока опасливо.
Я гляжу на скворцов участливо.
Ах, летайте, живите счастливо!
Так положено! Жить положено!
И на музыку жизнь положена,
И на счастье она помножена!

Виталий ГОЛЬНЕВ

Родился в 1961 году в Горьковской области в военном городке под Арзамасом-16. Через пять лет переехал с родителями в Горький (ныне Нижний Новгород). Окончил экономический факультет Горьковского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Работал инженером-программистом в Научно-исследовательском институте измерительных систем, с 1997-го – старшим преподавателем Волго-Вятской академии государственной службы, а затем в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского.

Публиковался в журналах «Литературная учёба», «Педагогическое обозрение», «Нижний Новгород», в литературных альманахах «Истоки», «Гражданинъ», «Земляки», в коллективных сборниках. Автор шести поэтических книг. Составитель и один из авторов антологий «Городское кольцо» (Нижний Новгород, «Книги», 2024) и «Эхо забытых строк» (Нижний Новгород, «Книги», 2025).

Член Союза российских писателей. Живёт в Нижнем Новгороде.

ЕСТЬ АВТОР У МУЗЫКИ СТОГА...

* * *

Больше говорить уже не смею...
В ковылях, лопатками примятых,
не шальной, а выверенной смертью
навсегда убит пелёнок запах.

Распласталась: разметались косы.
Руки, коих мало что печалит,
обнимают небо, пав на росы.
Ситец от свинца не защищает.

Будто спит, на первый лучик очи
так и не протёрши свои толком.
На клочки ворон одёжка ночи
порвана у сна её под боком.

* * *

Так много верующих стало,
что в церкви места не найти,
и радо сердце, что немало
людей у Господа в чести.

Поодаль от продажи-купли,
где за прилавком инвалид
за свечника, листают губы
слова светящихся молитв.

На всём покоится порядок.
Мерцают – лишний раз не дунь –
такие свечи, что лампадок
под ними плавится латунь.

Всё благочинно, всё на месте,
ничто не задом наперёд,
как будто там, на белом свете,
живёт совсем другой народ.

* * *

...Люблю – и платье через голову,
со всеми маками на нём.
Спасибо воздуху предгорному,
похожему на водоём.

Спасибо взбалмошному вечеру,
что на моей был стороне.
И я обнял тебя доверчивую,
и ты откликнулась ко мне.

И никакого ситца жатого,
ни украшений, ни прикрас.
И – ничего, помимо жаркого
ночного воздуха на нас.

Никто окрест не смотрит в ужасе...
А ты опять уже была
одета в луг, вот только с луга все
так маки и не собрала.

* * *

Прилавок. Очередь. На блюде
одиннадцать копеек вслух
латунным образом смеются,
что я законченный лопух.

Богатство велико, но бог чай
с ним, лишь бы девочка ждала,
когда со льдинками молочный
коктейль взобьёт «Воронеж-2».

Во двор вернёмся – что нам няньки!
Мы от размолвок далеки! –
и снова будут догонялки,
и смех, и летние деньки.

На ней все спутаются прядки,
а мне всё будет по плечу.
Но как-то раз, играя в прятки,
тех прядок я не разыщу.

Фунтик счастья

По тропинке весёлое детство
убегает к селу – и в зенит
из кармашка вдали уже где-то
тридевятое царство звенит!

Фунтик счастьем наполнили крохе –
и не встретишь светлее лица
в целом свете, обратной лишь тропке
больше нечем звенеть до крыльца.

Воспоминанье

Земляника на былинках,
густера на низках
сушатся на летних бликах
подле окон низких.

Детство. Яркий вкус бидонный –
это до прополок
лето с кучевых бегоний
надоило полдник.

На собачьей, ещё в теле,
будке, ветром сытой,
полное луны затмение,
лаз ли позабытый...

Отчего же нет мне сладу
с сердцем, и по коже
дрожь у срубленного в лапу
счастья? Отчего же

день идёт на потепленье
и глядит покоем
на полнейшее затмение,
ни души за коим?

Футляр

Ирине Знаменской

Футляр для скрипки, встав на два
крыла, увидел без ошибки,
что не взлетит он никогда
до тонких звуков славной скрипки.

И, не достигнув тех высот,
где сердце скрипки рвётся тонко,
он пресекает свой полёт,
хранить её умея только.

* * *

Улетаешь? Вижу – улетаешь.
Улетай. Лети на дальний свет.
Там тебе спокойней будет... Там лишь
ничего особенного нет.

А у нас особенного столько,
что с утра особенные мы,
и поёт синица тонко-тонко
из ветвей большой-большой зимы.

Тонко так, что маленькое солнце
на её груди сияет в даль
дальнюю, а песенка не рвётся,
и не рвётся в песенке печаль.

Так поёт синица на пределе
сердца, сожалений не тая,
потому что в даль на самом деле
улетает женщина твоя.

Полночь

Полночь – времечко влюблённых:
лето, лавочка, успех...
Помню, помню, так у многих
было, а верней – у всех.

А теперь вот стало скучно,
будто что-то подошло
и шепнуло мне на ушко –
и привиделось мне, что

полночь – время одиноких.
Не печалюсь, не пою.
И, как дом о многих окнах,
половиной окон сплю.

* * *

Ниоткуда берётся
в гробовой тишине
розоватой берёсты
песня, близкая мне.

Этой песней украдкой
время лечит меня
от беды пятикратной
прошлогодного дня.

Разволнует и в дымке
не оставит следа.

На лесной паутинке
улетит в никуда.

Ничего не поделать...
Но, сгустится лишь мрак,
пусть не мудрствует нелюдь
ни лукаво, никак.

Для раздумья другого
всё утихнет окрест,
а меня, дорогого,
не объявится здесь.

Поутихнет вся нечисть
у болотного пня.
Время медленно лечит,
но уже не меня.

Музыка

Есть автор у музыки стога
на скошенном чисто лугу,
но имя его, ради бога
прости, я назвать не могу.

У музыки хвойного бора
есть автор. Не знаешь? Скорей
махнём. Она рядом. И скоро
с тобой мы узнаем о ней.

К той музыке музыка речки
добавит волнение своё –
и станет нам чуточку легче,
ведь станет чуть больше её.

Мы музыку эту концертом
высоким и светлым назвать
ещё не успеем, как в целом
весь мир начинает звучать.

Ты думаешь, музыка это
звучит – и весь мир так лучист,
что нет никакого запрета,
а это бессмертье звучит!

Александр КОВАЛЕВ

Родился в 1949 году. Окончил Московский энергетический институт. Инженер-энергетик по образованию, доктор технических наук, профессор, академик ПАНИ. Одновременно более 40 лет профессионально работает в литературе. Поэт, публицист, автор двух десятков книг поэзии и прозы.

Лауреат премий Ленинского комсомола, имени Св. блг. князя Александра Невского, имени маршала Говорова Законодательного собрания и правительства Санкт-Петербурга и других.

Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

СВЕТ НЕ ГАСИТЕ...

Возвращение

Еще так сладко возвращаться...
Но мир, похоже,
стал иным –
уже пересчитать по пальцам
кого люблю
и кем любим.

Еще не горек дым разлуки,
хотя и горше всякий раз.
Еще так сладко –
руки в брюки –
пройтись проездом,
как сейчас,
по улочке родной горбатой
и отворить в подъезде дверь.
Еще над парком,
как когда-то,
все та же кружит карусель.
И вальс-бостон неумоимо
все также кружит в вышине...

Но девушки проходят мимо
и улыбаются не мне.

Водила

У заглохшего ЗИЛа
в небо смотрит капот.
Под капотом водила
железяку клянёт.

Меж прокладок и гаек,
вдохновенен и зол,
виртуозно спрягает
однозвучный глагол.

Но мотор – ни в какую,
как его ни спрягай,
лишь метафоры все
расплескал через край.

И сомнение гложет
молодое чело:
«жечь глаголом», похоже,
не его ремесло.

В лодке

Только бы смочь,
только б суметь!
Но до причала –
волны и ночь:
не одолеть,
не докричаться.

Видно – одно:
к рыбам на дно.
Но в круговерти
светит окно,
чье-то одно
все-таки светит.

Значит, и нас
кто-то сейчас,
в лютую полночь,
в там, на земле,
даже во мгле
все-таки помнит.

Слышите там,
на берегу,
верьте и ждите!
Я – как-нибудь.
Я сдюжу, смогу...
Свет не гасите.

Ледоход

Все же есть еще в природе
неизбывный,
божий дар –
снова время ледохода,
обгоняя календарь,

тусклых будней
ход нарушив,
в стылом городе моем
берега скоблит и души
очищающим ножом.

Не обман,
не наваждение —
слава богу, дождались!
И с восторгом население
с парапетов смотрит вниз —
не мигая, наблюдает,
как сомнений зимних лед
уплывает, уплывает...
Все никак не уплывет.

* * *

Нам пора отвыкать друг от друга
с белозубой игрой на лице.
Чем отчётливей замкнутость круга,
тем больней расставанье в конце.

В нашем мире, предельно гуманном,
наши судьбы за нас решены.
В этом нет никакого обмана,
нет ничьей персональной вины.

Скоро-скоро полночная вьюга
Разнесёт нас на белых руках...

Нам пора отвыкать друг от друга,
но скажи мне, пожалуйста, как?

Тройка

*...Поедем на тройке кататься,
давно я тебя поджидал...*

Майский полдень — пора золотая,
я еще не считаю потерь.
Мне красивая и молодая
открывает трамвайную дверь.
Объявив нашу улочку бойко,
улыбаясь, глядит сквозь стекло:
— Эй, поедem кататься на «тройке»
всем грехам и заботам назло.
Я, в ответ головою качаю,
объясняю:
— Не тот, мол, маршрут.
Ты красивая и молодая,
я бы рад, да дела не дают.

А она в микрофон мне:
– Бывает! –
полуплача и полушутя.
И тихонечко дверь закрывает,
чтоб вернуться лет двадцать спустя.

... Моросит. Остановка трамвая.
Я уже не считаю потерь.
Мне далекая, немолодая
открывает вагонную дверь.
Тот же номер – скажите на милость –
равнодушно глядит сквозь стекло...

Может, время вокруг изменилось?
Может, просто мое утекло.

* * *

Под небом яркозвёздным
теперь не покутить –
карьеру делать поздно
и денег не скопить.

С певуньей не обняться,
вприсядку не сплясать –
уже не восемнадцать,
уже за шестьдесят.

Неспешно через годы
в чудное «никуда»
уплыли пароходы,
умчались поезда.

Под небом яркозвёздным
судьбы не изменить –
карьеру делать поздно.
Но так не поздно жить.

Алексей НЕБЫКОВ

Родился в 1982 году на Сахалине. Окончил Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина и ВЛК Литинститута имени А.М. Горького. Главный редактор портала «Печорин.нет», руководитель серии «Время прозы» в издательстве «Вече».

Автор книги малой прозы «Черный хлеб дорог. Русский хтонический рассказ» (издательство «Вече», 2024), публикаций в журналах «Роман-газета», «Москва», «Нева», «Нижний Новгород», «Аврора», «Дон», «Волга – XXI век», «Литературной газете», других печатных и сетевых изданиях. Финалист Международной премии им. Фазиля Искандера (2018, 2023) и Александра Чаковского (2023). Лауреат литературной премии «Справедливая Россия» (2023).

Живет в Москве.

ОБЕЩАНИЕ КАРАФУТО**Осколки забвения**

Люди привычно прощают себе любое дело. Только поступки наши не всегда пропадают бесследно.

Иори Огава беспокойно спешил к дому. Лодка его шла на пределе, покидая воды Японского моря, но движениями своими резкими, бесполезными, Иори будто стремился еще как-то помочь мотору – сильнее винтами разрубать воду, скорее прибить лодку к берегу. Казалось, он опасался прибрежной волны, крупного корабля или иной неодолимой опасности.

И вот показались впереди выстроенные вдоль берега рыбацкие дома селения Ине. В один из них и заплыла прямо под своды первого этажа лодка. Иори выскочил из нее и, не привязывая канатом, позабыв про снасти и лов, ринулся в жилые на втором этаже комнаты.

Сёдзи* в доме были прикрыты, и, несмотря на только собирающийся вечер, внутри уже было покойно и тускло. А посмотреть в жилище было на что. Рыбак, не отличавшийся теперь ничем от живущих рядом, таких же скромных, опрятных и неприхотливых поселян, в прежние дни был способным ученым: на стенах висели газетные статьи, фотографии звериного и вегетативного мира, измерительные приборы разной величины, а на небольшом у зеркала столике разместился снимок далеких лет, где Иори стоял в обнимку с друзьями – студентами Токийского университета.

Непослушными руками Иори долго пытался вытянуть ящик стола, позабыв о том, что механизм изломался со временем и высвободить

* Сёдзи в японской архитектуре представляет собой дверь, окно или перегородку в жилище.

пространство на свет нужно, напротив, неспешно и сдержанно. А когда уже совсем разволновавшись, выудил его из затворов, вдруг послышались призывные, глубокие тюленьи выкрики и будто морской водой колыхнулась перед Иори зеркального отражения пелена.

Замотал головой рыбак, сморгнул видение. Оглянулся. Подбежал к сёдзи, долго что-то выглядывал в помрачневшей воде и, не найдя ничего непривычного, запалил в доме унылое освещение.

На столе перед Иори теперь лежал сверток. Он аккуратно, нерешительно стал отворачивать его лепестки. И вот на небольшом медвяном платке проявились осколки посуды. Рыбак бережно крутил, ворошил их, пока не сложилась перед ним из фрагментов тарелка – обычная белая глина, молочная глазурь, голубого оттенка рисунок.

Лишь с одной стороны тарелки скалилась дырка – не хватало куска, чтобы завершить искусный пейзаж. Робкими, тряскими руками Иори выудил что-то белое из-за пазухи и вложил в тарелку. В тот же миг снова зазвучали выкрики, зарябило зеркало, заскрежетали, соединяясь в единое, фрагменты тарелки. И открылся Иори идеально сложенный, давно позабытый рисунок – в центре волны, вздымающиеся к небесам, а по краям скалы и ныряющие с камней морские котики, беззаботно кричащие о чем-то своем белым туманным облакам.

Пошатнулся Иори, дыханием замер и помутился в далекие воспоминания.

Открытия Карафуто

Вот Иори в команде студентов-выпускников рано утром прибывает на остров Кайхио-то – небольшой лоскуток земли в ста восьмидесяти морских милях от ближайшего крупного поселения Карафуто*. Здесь начнется их летней практики срок, пора изучений, исследований и открытий. Но случится это позже, а пока моряки рыбного комбината, как здесь называют службу, приветливо встречают друзей, задорят и поздравляют с приобщением к работе суровых, испытанных наемников моря. Ведут их на край острова к запустевшим поселениям первобытных племен. Рассказывают, как те скромно жили даяниями природы, но натуре извечно нет дела до планов людей, и все испепеляет она, предает забвению времени, а потому и людям должно думать строже, а мужчинам, как и прежде, вовлекаться в крепкий промысел.

Затем устраивается в честь прибывших нескромный стол: здесь рыба морская и щупальцелапые, соленые нори и сладкий батат, а еще водка рисовая в непривычном даже для студентов избытке.

После того их, пьяных от жизненной радости, умещают в вертлявую лодку и везут в море. Крепкие руки моряков воздевают студентов над водной пропастью и бросают в волны икающих, напуганных, протестующих. Таким на комбинате был посвящения день, и настоящей радостью были окрашены те приветные встречи.

Тогда же впервые Иори увидел директора Гоэмона. «Капитан-рокот», «Капитан-власть» – называли его моряки за крепкий авторитет и разумную обо всех заботу.

– Притопите этого хворого, парни! Не верит он, что пришел конец! – кричал, кивая в сторону Иори, Капитан. И полетел над морем громозвучный хохот Гоэмона, низкий, плотный, с наждачной хрипотой.

* Японское название острова Сахалин.

И лежали затем на камнях и гальке наглотавшиеся воды студенты, смеялись и грелись sake до самого утра.

Когда обнаружил далеко за полдень себя Иори в нестройном состоянии в жилых бараках, увидел, что и друзья его крепкие Окано и Кидо не могут на ногах стоять. Окано, природный воин, могучий в росте и неудержимый в силе, первый на курсе пловец, пытался на руках приподняться, но только опадал обратно на простыни и мотал в разные стороны лохматой головой. Кидо, уступающий другу в тверди, но всегда превосходящий того в скорости, тоже не мог с собой совладать. Пытаясь привстать на колени, он разрывал без усталости ногами матрас, мычал, надувая щеки, и выдыхал, не справляясь, недовольный воздух.

Лишь Акэти не было внутри. Но он всегда был самым бесстрастным среди друзей и даже излишествовал несмело, невыразительно, отсиживаясь в стороне, не участвуя в порывах жизни. Так случилось и в тот утренний час. Пока друзья пытались себя собрать, Акэти уже разведал немало о комбинате, и он же первым сумел понять, что все творимое в его пределах – невозможное зло...

Весь день друзья пробуждались к привычной жизни. Избытками болела их голова, пока Акэти рассказывал, какие устроены на острове порядки.

Само построение домов комбината напоминало корабль: дозорные, бессонные пункты на «носу» у моря продувались ветрами, промывались прибрежной волной; тесные бараки-каюты убегали рядами прочь от воды; крепкие, широкие покои директора Гоэмона завершали расположение на небольшом отдалении от моря и, точно каюта капитана на корме, собирали ночами подручный совет, где разрешались планы и выдавались приговоры.

В самом центре комбината выстроен был «камбуз», где устроились и трапезная, и кухня. Рядом высоко выросла стальная «мачта», сообщавшая знаменами «команде корабля» и народную гордость, и погоды волнение.

Были на комбинате и подземельные устройства. Подкопы вели к самому морю, а у входа в тоннели располагались казематы-клетки, устроенные, как после узналось, не только для хранения снаряжения...

Забойка

Первый день забоя Иори запомнил навсегда. Поздней ночью, еще до солнца, в лунном бессветии, оживились окрестности торжеством события, сборами, стуками. Кричали: «Подъем! Забойка!» Студентов, взволнованных и со сна вмиг озябших, выстроили перед баракom, нарядили в хантэны* на теплой подкладке и, снижая и суету шагов, и силу окриков, украдкой повели к неизвестному месту.

Друзья покинули «корабль» и обходным путем мимо влажных скал продвигались к морю. Через какое-то время проход вывел на дощатый настил, где устроилась широкая площадка, рабочее место человеческой нещадности и стяжательства.

Совсем скоро студенты узнали, что вовлекаться придется в истребление, а не в постижение, и что главным промыслом комбината был

* Хантэн – японская традиционная куртка свободного кроя, которая напоминает ватник.

забой, а не лов жабернодышащих, как обещали агитационные буклеты, разносимые с улыбками по коридорам университета.

Волны отзывались где-то рядом и звучал в округе незнакомый галдеж. Вода такой плотной взвесью стояла в воздухе, что не только развидеть окрúжный мир сквозь серую пелену, но и вдохнуть глубоко вату тумана, не задыхаясь, – никому не было под силу.

Сезон охоты на комбинате привычно длился не более месяца: распался в конце июня с выходом на берег котиков-холостяков, сохранивших и серебристый мех, и нежный подшерсток, и завершался к первому августа, когда самцы принимались линять. Затем команда конопатила «корабль», все щели и дыры затыкала пенькой и паклей и уходила до следующего года в более пригодные для промысла места, где ловила треску, селедку и прочие морские продукты...

– За дело, парни! Разомните руки! Да наполнится сковорода! – кричал восторгом первый помощник директора Гоэмона Стеклянка, которого прозвали так за любовь к дальнотзорным приборам. – Не суетись, новота, научу! Разбирай пока инструмент да гляди в стекляши, проникая в дела наши! – гоготал веселый моряк с обветренным лицом, вкладывая в руки студентов бинокли.

Он показывал рукой в непроницаемый туман и дребезжал сбитым из досок ящиком с длинными ножами, сообщая, что и они понадобятся друзьям совсем скоро. Затем он принес весы, леску, метры и другой для дела инструмент. И пока Стеклянка спорю, обычно все по местам раскладывал, туман прояснился, точно и сам участвовал в диком деле, что до поры скрывал.

Протирая от сырости линзы, друзья скоро развидели на берегу целое войско тюленей, подвижных, искрящихся, самоватых. Они гудели, игрались, сближались, порою срываясь в ссоры, и никак не думали того, что случилось с ними в тот самый миг.

Уже не первую ночь загонщики ожидали стаю. Готовили лежбище, разбирая отходы моря, в нужных местах для отлова создавали самый уютный простор, подновляли отгонный двор, чинили изломы ограды.

Теперь же загонщики, поднявшиеся еще ночью, видевшие выход на берег самцов, рядились в работное, немаркое, доставали-вытаскивали крепкие дубины и шли беззвучно в подземные тоннели, проорытые до моря, чтобы выстроиться вдоль воды и отсечь от бегства холостяков.

И вот загорелась карминная искра в руках директора Гоэмона, проявившегося вдруг в сумраке на высокой скале над людьми, над стаей, над несчастным миром. И заголосили загонщики по сигналу, задрезжали дубинами, ногами зашаркали, двинулись от моря к берегу, понуждая котиков стесняться в отгонный двор.

Довольно скоро, в какие-то минуты, примерно четыре сотни голов, хрипя и сбивая дыхание, двигаясь прочь от опасности по устроенным деревянным настилам, заточили себя в ловушку. Окруженные крепким забором тюлени сбивались теперь в кучи, не имея возможности вернуться или толкаться дальше, крутили головами, опасно озирались и недовольно фыркали. Более удачливым холостякам удавалось уйти, почувствовав скверное место, услышав опасные мысли, они растекались в стороны или пускались в море, минуя ловцов. Но и эти счастливые, в другие дни, снова приходили на берег, чтобы крепче испытывать сердца людей...

Но моряки, точно высеченные из камня, никогда не находили способности к состраданию, жалости. И теперь, возбужденные добычливым началом, прикрывали широкие створы в уже переполненный отгонный двор. А там узилище отворяли с другой стороны, и котики по узкому деревянному ходу шлепали лапами на «арену», где принимали последнего страха боль.

На лесах вдоль прохода их встречали ловцы. Шестами они выуживали из забойной реки секачей и самок, направляя в специальный на свободу лаз, – отпуская первых за недолжный вид шкуры, а вторых, дабы жизнь зарождали щенков.

«Арена» помещалась за скалами вдали от моря и совсем близко подходила к месту, где теперь в поражении стояли студенты. На смертоносном плато точно воины крепились забойщики. Лица их были повязаны тряпками, торсы скрывали плотные каппоги*. Они крутили и размахивали перед собой крутоломными дубинами, а с первыми хлынувшими на арену холостяками над забойней заматался страх.

Первым выскочил из прохода самый юркий, игривый котик. Шкурка его в лунном свечении серебром играла, теплой радостью струилось дыхание. Он сразу получил дубиной лютый по носу удар, и яблоки его глазные выскочили от сотрясения на дощатый пол, покатались остывающей жизнью, хрустнув бледно-розовым соком под ногами забойщика. Следом удар и еще удар. Двенадцать нечеловеческих рук взмывало неутомимо в воздух, и дюжина тел тут же опала на деревянные настилы. За забойщиками хоронились ловцы. Ловкими, спорными рывками они оттаскивали агонизирующих, еще живых котиков и умещали грудями на рикши. А там, точно погребальные драккары, тянули поживу в разделочную к студентам.

В те дни промысловый забой претворялся с той же жестокостью, что и сотни лет назад, хотя были уже и электроток, и мелкий калибр. Но опытные моряки, пробывшие на острове не менее трех-четырех лет, затвердевшие и духом, и памятью, выбирали прежних лет порядки и приучали и новых охотников скоро, без затрат и порчи, выдавать должную комбинату норму.

На разделочной площадке, «сковороде», уже во всю орудовал Стеклянка. Для совершенного истечения жизни, отъятия дыхания, – он бил очумевших от боли холостяков ножом в сердечники. Вскоре к нему присоединились и другие моряки, а ловцы все тянули и тянули побуревшие рикши.

– Давай парни, – зазывал Стеклянка студентов, – бей! Вынимай жизнь!.. А то проспится благо морское и будешь за ним бегать! Иори, смотри, видишь метку? – И он помахал передним ластом неживого уже котика, на котором болтался металлический знак. – Снимаешь номер и серию. Так узнаем и землю рождения, и жизни срок. Затем на весы. Метром промеры. И все в ваш Тодай**. А они нам за то – молодую силу!

Как затем сообщили друзьям, для успешной зачетной практики во время забоя для науки надлежало метрические показатели собирать, а для отличной отметки – должно было включаться и в умерщвление на вольных, непринудительных началах.

Друзья не думали, что вот так, вдруг, с убийством придется соприкасаться. Да, они подозревали, что на острове будут промышлять, но не предполагали, что проводится это с шуткой и наслаждением.

* Каппоги – японская рабочая одежда, похожая на фартук.

** Тодай – сокращенное название Токийского университета.

Первым не выдержал Акэти. Его мутило и трясло. Он было бросился с боем на Стеклянку, но моряк просто вильнул вбок и, больно стукнув студента подножкой, уронил Акэти в грязь и в истечения холостяков. Окано и Кидо оттащили друга в сторону. Стеклянка понимающий руками развел жест и подмигнул студентам, указывая кивком головы на ящик с ножами.

В этот момент уже не справился Иори. С началом боя холостяков он все топтался на месте, не веруя, не принимая, смущал глаза, пытаясь развидеть взмахи, а теперь сотрясался в единой дрожи в невозможной мути отступающей ночи. И желудок его не сдержался, выпростал всю мерзость, что закипала у него внутри.

Распалаялось лето тридцать девятого и ужасные вещи творили люди по всей земле... Но не каждому было назначено вовлекаться в события.

Кто-то принимал вызовы и шел по пути обстоятельств стечения. Так, Окано и Кидо, растеряв сперва немало минут, уже сжимали ножи в ладонях, виновато поднимали плечи, смотрели украдкой на ошалевших друзей.

Кто-то, напротив, выходил из обстоятельств, ломался, буйствовал. Таким был Акэти, сумевший сперва взглядом своим запрещающим убедить друзей бросить ножи, затем в какой-то недолгий миг взлетевший на скалу к Капитану, чтобы кричать и махать руками, пугать угрозами дюжего Гоэмона, гранитного, лишь недобро ухмыляющегося в ответ моряка.

Были и такие, как Иори Огава, стоявшие тихо до поры в своей стороне...

Но дело не отвлекали не застывшие, не противники. И с рассветом на «сковороде» рядились сотни погибающих холостяков. На туши их неостывшие с камней, заград и построек слетали кайры. Они бегали по недвижимым, призывая вернуться к жизни, недовольно клевали их, метелили крыльями и разбегались прочь от старательных моряков.

А забойщики не отвлекали внимание, мокли рубахами и, точно по вековой земле вдоль свежих насыпей, размеренно переходили от одной туши к другой. Рывок острого ножа – и осекалась жизнь. Широкий взмах – и являлась от брюха до горла линия смерти. Еще и еще один – и распускался плоти бутон вокруг головы и по линии ласт. Следом рычать принимались лебедки и шкуры враз облетали тела, умещались в чаны с морской водой для выстывания и чистки, чтобы после на станках для мездрения принять достойный предфабричный вид. Салом, мясом и печенью наполнялись бочки, внутренности и прочий отход грузились на баркас для высеивания в море уже ждущим касаткам в дармовое кормление.

Друзей-студентов, неспособных вовлечься в работы и касаться ни живых, ни мертвых особей, в тот день избавили от дела, отправив в подавленном нахождении нести на хворых постельных койках досуг до славной в день начала заботы вечерней трапезы.

Ужин закатный был неторопливым и тихим, а когда студенты пришли на «камбуз», нечастые шутки и смех совсем утихли. Суровые и безжалостные в деле моряки, напоившие руки свои и глаза смертью, здесь за столами, вокруг пищи, на виду у жизни, становились нечаянно кроткими и понимающими, чувствуя пульс вины и поминая собственный первый день...

К друзьям подошел Стеклянка. В руках его были глубокие чаши, донбури, а в них запеченный с травами батат и темное вареное мясо.

– Ну вы как, новота?.. Держись! Прокипит, выстоится. – А, увидев, что студенты с отвращением смотрят на угощение, добавил: – У нас в дни забоя запрет на прием... Но Капитан-власть разрешил немного забыться. – И Стеклянка выудил из-за пазухи с теплой рисовой водкой кувшин с дребезжащими наперстками-стопами на наверху.

Акэти не выдержал, сбежал. Тогда Стеклянка не без удовольствия занял его место. Вскоре кувшин опустел, моряки разбрелись по койкам, Окано и Кидо прикончили по две порции за ужин, но Иори так и не нашел сил притронуться к еде в этот вечер.

Тюлени ушли

Утренний подъем случился у студентов крайне поздно. Друзья разводили руками, сообщая друг другу, что не слышали никакого побудного шума и проспали восход. Не возвращался в эту ночь в барак и Акэти.

Освежив лица и одевшись, друзья вышли на свет и отправились в сторону забойки. На «сковороде» было пусто, хотя вчера весь вечер моряки обсуждали новый лов. У входа в подземье в клетке с инвентарем лежал укрытый штормовой курткой Стеклянка. Друзья бросились к нему, но на петлях висел замок, и Окано уже задумал сбивать его камнем, когда Стеклянка предупредил:

– По праву все, новота. Не тронь. А то крепче достанет Капитан-рокот. – И он привстал, скинув капюшон, обнажив опухшее боем лицо, глубоко треснувшую нижнюю губу, ссадины и кровоподтеки. – Пересидел с вами и проспал дозор. А что-то ночью случилось. Котик ушел. Обычно виною дождь. Мелкий, когда сыпет, тварь уходит в море. Вот только сухо кругом, а что на деле было – не видел. А Гоэмон – скор, гранитен. Но не в обиде я. Рядовые дела. Посижу до нового солнца и в обрат с вами. Главное, чтобы не ушла стая на иной берег, иначе вся смена до дна ...

Друзья поняли, закивали, достали Стеклянке воды и отправились на «камбуз» обсуждать-додумывать. По пути их нагнал Акэти. Таинственно ярился его дух. Акэти все обещал рассказать про свою несонницу, но не теперь на «корабле», не здесь, а после... Так и дошли до обеденной, где у самого входа распоряжался по лагерю Гоэмон. Завидев студентов, он негромко буркнул:

– Не работаешь – не ешь. Островной закон... Помогите парням с моллюском у берега, а там приходите. В подкрепление за камбузом висит перекус. Захватите по ленте. Так и проморгается несчастный день. – И он прогнал студентов в противную от забойки сторону, где команда привычно выходила в свободные дни в море вытягивать с неглубокого у берега дна ракушки.

Неожиданно, без спора, первым на все согласился Акэти. Он увлек друзей за собой мимо обещанного Капитаном припаса – сушившихся на поперечинах шматков мяса холостяков. Свежие отрезки их выглядели отвратительно: некоторые скалились розовым, походили на петли кишки, другие, посеревшие, с кожей и лапами, точно руки людей, жутко махали студентам на ветру.

В ужасе удалялись друзья от лоскутов плоти, но вскоре позабылись на время в напасном устричном лове, помогая ныряльщикам выуживать сети, высвобождая плетения от добычи и сора, вскрывая моллюсков прямо в лодках, запивая их присоленным лимонным соком.

Эта слаженная сговорчивость, смирение реакции на островную жизнь, – случились по научению Акэти и в претворение задуманного им плана, о котором он рассказал друзьям, лишь только студенты прекратили моллюсков лов, ступив на берег.

Тайна Акэти

Оставив моряков, друзья уходили прочь от лодок по песку вдоль заворачивающего дугой берега и вскоре пришли к укрытому со всех сторон скалами мысу Нетерпения. Так называла его команда из-за тучной, гигантской скалы, походившей формами на Венеру сурового палеолита. Эта подточенная волнами и ветром громада стояла склоненно-рассерженно, развернувшись широкой, дородной «спиной» к морю, точно расстроенная женщина, не дождавшаяся из моря покинувшего ее моряка.

Студенты сели под нетерпеливой скалой, и Акэти во всем признался. Он рассказал, как терзался целую ночь, не прощал себе гибели, задумывал даже «корабль» поджечь, но робел за друзей и не решился. Вспомнил тогда Акэти, бродя в тумане и разрушая себя неспособностью, как сосед-крестьянин в его детстве прогонял ворон с полей, как крепил на пики жуткие куклы, одетые школьницами, и держал по ночам в ужасе не только вредителей, но и всех окрестных детей.

И решил Акэти устроить чучело на берегу. Достал доски, сложил крестом, нарядил в косодэ*. Окрасил черным пеньку, закрепил ее на вершину, как волосы. Повязал оби** на «горло» чудовища и прикопал на берегу, собрав подъемно-складное устройство, которое вмиг восставало отвесно, лишь только за леску тянули «руки» его.

Проверив крепость пугалища, Акэти вышел в море и встал на якорь в ожидании зверя. Человека тюлени привычно видят, а потому пугаются, лишь когда он недобро шумит, криком бросается, болью бьется и идет толпой, сотрясаясь страхом. В другой час котик просто шлепает выше по берегу, уступает место, не спорит. Но в эту ночь стая увидела нечто парящее низко над землей, с развевающимися одеждами, трепыхающееся телом. И уловка сработала, сердечники дрогнули, стая ушла. А Акэти неприметно прибил к берегу, прикопал пугалище, леску, идущую до самой воды, укрыл камнями и широким нелюдимым путем вернулся под утро в лагерь.

Студенты радовались, смеялись, поздравляли Акэти с изобретением, лишь Иори не счастился в тот миг в кругу друзей. Акэти развилел его подозрения, признался, что верно выявят чучело скоро моряки, с утра выискивающие на берегу причины бегства. Извинялся, что навредил Стекланке, что не случится, пожалуй, и учебная практика у друзей, оттого что совсем разладится Капитана промысловый план по вине его намеренных исполнений... Но вопреки всему Акэти считал, что нет ничего важнее борьбы против зла в человеке и не должны друзья жалеть расточать и себя, если станет нужным, лишь бы победил свет.

Следом Акэти вытянул из-за пазухи небольшую тарелку – обычная белая глина, молочного цвета глазурь, голубой рисунок природной, светозарной жизни тюленей, – и призвал друзей зажаться, стать натуре заступниками, не пускать, не усеивать поле жизни зернами зла.

* Косодэ – кимоно с короткими рукавами.

** Оби – японский пояс.

Акэти надломил тарелку, разделил ее на четыре части – для себя и друзей. И каждый из них, не надумывая, не сомневаясь, принял фрагмент с обещанием. И полетела клятва на виду у нетерпеливой скалы вдоль берега острова Карафутто, и, подхваченная ветром, расступала туманы, собиравшиеся над соленой водой, и утихла где-то далеко в глубине моря.

Долго затем друзья наблюдали кругом в затаении, кутались в скальные тени, следили, как чайки серокрылые гонялись за плеском воды, и не было никаких притворных слов, никах напрасных движений.

Месть Гоэмона

Вернувшись на «камбуз», студенты уже обо всем имели план. Акэти думал первым из-за стола уйти, чтобы проверить пугалище и снова отогнать стаю, пока друзья шумной беседой отвлекали матросов. Позже они должны были соединиться на Нетерпеливом берегу, чтобы похитить лодки и отправиться к острову Карафутто, до ближайшего мыса которого было не больше десяти морских миль. А там, в безопасности, вдоль берега, уже идти до любого рыбацкого поселения, просить помощи и начать сообщаться с Тодаем, писать властям, будоражить людей. Таким было намерение, но вышло иначе.

Ужин проходил покойно, без смеха и громких выкриков. Моряки, обычно веселые, сидели задумчивые и терпеливые. Казалось, готовили себя к делу, а потому не отвлекались на простое, мимолетное.

Непривычно приветливым в этот раз представлялся и Гоэмон. Он извинялся за недолжную крепость, суровое обращение. За расстройство представлений уютных дней практики. Восхищался чувствительностью душ и предлагал друзьям исключительно рыбный стол, снова и снова просил прощения, подливая особое сливовое вино.

Акэти что-то предчувствовал, отказывался, вспоминая про трезвые в дни забоя установления, находил много странностей и в приветном расположении Капитана, и в затаенной кротости команды. Но друзья не нашли сил обидеть Гоэмона, а Окано и Кидо совсем отказывались без задора устраивать для отвращения погром.

В неизвестно который час Акэти покинул друзей, а не сильно хмельное вино враз оказалось сбивающим с тверди. Иори гляделся кругом, точно уйдя под воду. Обстановка и моряки качались и двигались непостижимо неспешно, Гоэмон целую пропасть времени шел до друзей, наливал ту же юркую из кувшина сливу теперь вязким тянучим варевом.

Окано и Кидо действительно скоро устроили задуманный бой. В затуманенном, некрепком состоянии они лишь толкали друг друга и заплетались речами неясными, а когда моряки подошли разнять их, бросились было и на них, но быстро оказались скручены, обезопасены и под руки выволочены на природный свет.

Иори желал восставать, препятствовать, вовлекаться, но никак не мог из-за стола подняться – крепко, неотпустимо держал руками его Гоэмон. А Иори все доказывал недопустимость убийства, спорил за справедливость, утверждал про истончение духа. Но что-то свое понимал Капитан и будто не слышал. Затем кликнул команду. И тут же моряки обступили Иори, поволокли по ночному свету, грубо поволокли, обдирая ноги, вырывая плечи и руки, не жалея ударов. И в конце

обнаружил себя Иори в объятиях Стеклянки, который и прекратил побоев течение, укрыл студента до утра от людей, сообщая, что никуда нетерпеливая скала не денется и дождутся его друзья, если есть во встрече резон...

Выбор Гоэмона

Тяжелым, карусельным утром в тоннельной клетке пробудился Иори. Окано и Кидо виновато сидели рядом, не только видом побитым вызывая жалость, но и тоской осознания того, что сумели угодить в западню. Акэти никто не видел, не было нигде и моряков. В обед друзей навещил Стеклянка, принес риса и нори, признался, что полной мощью идет забой – команда не жалеет выдержки, нагоняя простоя дни, и сидеть студентам в заточении до позднего вечера, когда дело успокоится и придет говорить Гоэмон. Следом Стеклянка намекнул, что лучше бы друзьям сговориться с Капитаном, а не затевать ссору в неподходящую пору самого промысла, и покинул студентов.

Уже в сумерках к друзьям пришел Гоэмон – в руках небольшой для варки котел и крепкие палки. Он казался спокойным, все для себя решившим. Устало, неспешно он подтянул к клеткам тяжелую колоду, сел на нее и стал устраивать перед собой костер – прикопал принесенные палки рогатинами к небу, надел на поперечину котелок, накидал ветоши, дров, запалил пламя.

После, не дожидаясь кипения воды, он стал выуживать моллюсков из посуды, вскрывать панцири, вгрызаться в мясо, живьем убивать.

– Хоккигай* полезны для сердца, – сообщал Капитан. – Здравник назначает на борту в дни волнения. Но в пользу попадают не все... Те, что находят ума поглубже в песок зарываться, перестают примечать неприятный им мир, отгораживаются от него, – в положенный срок невредимы возвращаются в море, уходят своим путем. Другие, напорные, кипучие, неуклонные... – и он со скрежетом стал выскабливать ножом моллюска из разломанных створок, – ...первыми идут на прокорм. А те, что и обиняки не понимают... – и Гоэмон поднял широкие плечи, стукнул острием ножа по котелку. – ...варятся в бессилии до кипения и мучительно, неотвратно гибнут.

Тишиной ответили студенты, переглядываясь между собой. И тогда Гоэмон продолжил:

– Верно, думаете, что попались в невод к монстру?.. Вот и Акэти судил обо мне скверно. А теперь навредил делу.

– Где наш друг? – опасливо спросил Иори.

– Перебрал вина. Потатился зачем-то на лодке в море. Стал мутить глубину. А утром нашли его парни в водах, запутавшегося в обнимку с каким-то чуелом... Судьба.

– Как? Акэти! Друг! – кричали студенты на перебой.

– Хорошо, хоть вас сюда прибрали. Пьяных, невожатых. А то и вы бы могли выкинуть вчера, – продолжал Гоэмон. – В общем, теперь на корабле такой закон – не работающие, протестующие сидят в клетках, пока я не выправлю им бумаги на возврат, чтобы выдворить

* Хоккигай – двустворчатый моллюск, обитающий у берегов Японского и Охотского морей. За привычку закапываться в песчаный грунт в прибойных зонах этот моллюск получил название «песчанка».

не согласных с самыми строгими указаниями насчет пригодности к труду, товариществу, радению делу. Либо можете выйти сейчас и докончить практику... если, конечно, не станете мешать делу парней.

Друзья подавленно молчали. Иори силился вспомнить, наливал ли Акэти себе за столом вина, но и без того ночью в беспокойных волнах легко было опрокинуться в море, а если еще пытаться что-то наугад распутать, колея от холода на ветру...

— И думайте скорее, — прервал нерешительность Капитан. — Друга вашего сразу не получилось выудить — у парней забой. Так и крутится на лесках в море, ждет друзей... или касаток, если станете мяться и дальше делать упреки.

— Выпускай, негодяй! Черт с тобой! — раздосадованно прокричал Окано. — Я беру их на себя. Никто не навредит, не посмеет более. — И он уверенно посмотрел на друзей.

— Мы и сами за себя в решении! — поддержал Кидо, поднимаясь с земли. — Акэти нужно немедленно вызволять.

— Добро, — довольно проговорил Гоэмон. — Попрошу отворить Стекланку. А надумаете вперед иначе — вспомните про морских друзей. — И он указал на котелок с моллюсками, где во всю бурлила вода. — Акэти, кстати, мы достали. Не звери же... — И, поднявшись, он отправился прочь.

Обещание не сдержано

Капитан принял все погребальные решения на себя, выписал и свидетельство, как водитель промысловой экспедиции, определил и обряды, и захоронение в водах.

Студенты тихо простились с другом, больше не спорили, всему подчинялись. Забыли про подозрения свои о не потреблении Акэти сонного вина, про клятвы у нетерпеливой скалы и намерения прекратить дело забоя.

И, казалось, совсем с непоправимым злом со временем свыклись — обещали себе, что все для науки. Взвешивали погибающих котиков, списывали номера, серии. Делали все споро, без отдохновения, не позволяя времени пробудить холостяков и задерживать шкур обработку. А затем смывали водой следы рук человеческих, чтобы на следующий день вновь повторить.

Говорят, в любом лютном деле человек находит себе оправдание, а жалость, сострастие с течением притупляются. Да, друзья в убийство не вовлекались, стояли в запасе для подсобных нужд. Но каждый взмах руки забоев — невольно прятали, зажимали глаза. Шарахались на «сковородке», видя корчи уходящего зверя. А тяжесть удушливой скверны не угасала ни на минуту внутри до тех пор, пока студенты не покинули остров.

— Ты думаешь, нелюди мы, звери?! — защищался с чувством Стекланка, приветно обходившийся с Иори в первые освобождения дни. — Мы просто не даемся напору. Это мятеж на корабле, смещение рулевого. Общество давит на нас, понимаешь? — отчаянно доказывал он, надувая щеки, собирая вместе ладони, точно шар в руках стискивая. — Благами, уютом, упрощением! Мир делает из моряков пассажиров! Безмерное цивилизаторство, потребления рой. Бери! Все готово, за тебя устроено!.. Но мужчине нужно идти в забой, вгры-

заться в землю, ломать льды, уходить под воды!.. Знаю, придет час, и бой станет запрещен. Но до тех пор не смей упрекать ни словом, ни взглядом. Я веду жизнь свободного человека, посильно добываю на кров. Приношу пользу и семье, и парням, и этим, в правительстве, тоже...

Иори не отвечал, не хотел заступать в беседу. И Стеклянка с новой силой и рвением уверял, подбирая слова, объяснял. Сваливался на иные темы, чтобы создать согласия ток. Но так и не найдя подпоры, в конце концов прекратил навязывать себя Иори.

Бывает, решимости не хватает события, чтобы отважиться, остановить разрушающее нас день ото дня. Но и когда это нужное вдруг на глазах происходит, порой не достает времени, чтобы все исправить и изменить. Никто, впрочем, в том не виноват, но и ответ, и расплата в свой срок приходят безжалостно и непременно.

Это был один из обычных забоя дней в конце промысловой смены. Особенно ненавистный предощущениями для Иори – небо тускло необычайно изобразительно, о непритворном, вечном шуршал прибой, и на виду у натуры моряки доказывали всему миру, чего на самом деле стоит человек. Команда орудовала на «арене», подвозила на рикшах холостяков, пока Иори неутомимо записывал промеры в тетради.

Убийства подошли к концу, когда Иори вдруг различил невыразимой жестокости сцену. На «арене» среди опавших, хрипящих холостяков метался последний на лапах держащийся котик. Он ошарашенно припадал к друзьям, отцам и братьям и в ужасе опрокидывался, различая их конец. Видимо, он не годился для смерти – недолжный размер, неважная шкура. И моряки задумали отпустить его и отчаянно над страданиями зверя смеялись. Они растаскивали в стороны оглушенных холостяков, и малыш-котик вскоре показался у забора совсем один. Кто-то из крепких, широкой спиной знакомых моряков раскрыл на свободу лаз и двинулся к холостяку, чтобы направить его, выставить из «арены». Но казалось, что малышу уже все равно, будто отлетел он от грубых явлений мира, не видел, не думал, не чувствовал, не принимал. Он бросился в противную от моряка сторону, прошлепал некрепких три шага, задрожал и упал замертво. В этот миг обернулась широкая спина. Это был Гозмон, для своей собственной радости, наслаждения спустившийся в этот день в загон...

После этой сцены все в памяти скрытое, позабытое – показалось Иори. Невозможность терпеть неприкрытое зло стала невыносимее смерти. Он решил теперь же, немедленно уйти на лодке в море. Двигаться без усталости до других настоящих живых людей, но судьба управляла по-другому. Пришла война...

Прощание с Карафуто

Немцы со дня на день думали броситься на Европу, а она, разнеженная, ждала, чтобы себя отдать в короткие дни, недели, месяцы. Сдав орудия, уступив дома и своих женщин.

Япония, зараженная победами предыдущих десятилетий не только над Азией, но и над русскими, имела особые насчет наступающего мироустройства планы и тоже готовилась к войне, собирала новобранцев.

На Кайхио-то приплыли военные. Широко приплыли. Разместились бивуаками. Вербовать стали моряков, увлекать оружием. Прекратили, распугав котиков, любой забой. А потому протест и внезапное бегство Иори потеряли смысл... Окано и Кидо сразу сдались, добровольно зачислились. Сговорился покинуть с солдатами остров и Иори – пообещал им возможность надумать со службой в самый короткий час, если помогут вернуться в Тодай, завершить с делами. И не имел никакой больше власти над студентами Капитан, а потому приневоленно отпустил друзей.

В день отъезда Иори бродил по бараку несобранным, наполнял полевой мешок бездумно, несуетливо. Окано и Кидо давно выжидали на берегу, а он все никак не мог разобрать промедления причин. Что-то важное, недорешенное держало его на несчастной земле.

Он заглянул в ящики напольные и обнаружил сколы тарелки – друзья избавились от воспоминаний. Но Иори будет помнить и остров, и Акэти. А потому заберет себе и вину нерешительности, и пропасть характера.

Студенты покидали остров навсегда и не знали еще, что и сами расстанутся скоро, чтобы никогда больше не увидиться впредь...

Моряки провожали их на берегу. Крепкие, загорелые, в дни покоя приветливые, они глядели друзьям вслед, удивляясь неспособности к забойному лову, надеясь, что студенты обретут себя в ином, нужном деле.

Перед самым отплывом Стеклянка насобирав студентам в мешок на «камбузе» перекус, утянул у Капитана и бутылку сливового. А теперь махал задорно рукой, сильнее других старался припомнить о себе, подходил к урезу воды близко-близко, пока не намочил ноги, смеялся, навсегда прощался.

Где-то в толпе кутался от неуютя Гоэмон. Друзья не видели теперь его, но чувствовали тяжелый взгляд, ощущали тоску поражения, боль неспособности приобщить, до конца искалечить.

Провожала чаек криком друзей и нетерпеливая скала. Проволглая, почерневшая на морозящем ветру, она непривычнее прежнего теперь сутулилась и смирялась...

Друзья уходили навстречу крепкому развороту в своей судьбе и скоро необратимые перемены в истории страны воинов и поэзии навсегда разделили их.

Зараженные идеями первородства, особого духа Ямато – японцы, презиравшие смерть, вовлеклись в вихри Второй мировой войны, а миллионы солдат вступили в неостановимые подразделения смерти на земле, в воздухе и воде.

Служению Императору в отряде водолазов-смертников, фукурю, отдал себя Окано. В могучих подводных доспехах с минно-взрывным копьём, обороняя священное побережье, он потопил американский корабль, подобравшись вплотную к нему по морскому дну.

Кидо принял конечный бой на границе. Он последним стоял у переломленного пограничного знака Ямато в окружении уже недвижимых друзей, когда точный снаряд расчертил небо, зашуршал равнодушным дыханием и ударил в упорство, непримиримость, неверие, погребая стоявшего на его пути. Кидо не страшился в эти часы и пал, соглашаясь с предназначением.

Иори же нашел средство избежать войны. Он служил науке. И на его глазах страна утратила боеспособность и территории,

пришла к отчаянию и опустошению, похоронила миллионы своих сыновей. А остров Карафуто вернул себе исконное название – Сахалин. В конце концов Иори прекратил учение, исследования оставил и осел для тихой, неприметной жизни в рыбацкой деревне Ине недалеко от Киото.

Непримиримость Карафуто

«Слезы Карафуто» – осколки судеб, прежней японской жизни следы, вымываемые морем год за годом на берег. Кто-то сочинил, надумал такое возвышенное иносравнение. Назвал именем этим все оставленное, разбитое в сорок шестом году, на берегу припрятанное бывшими недолгое время владельцами острова Сахалин.

Но неверное, искаженной правды – это имя. «Непримиримость Карафуто» – вот должны слова.

С окончанием войны, в которую Япония ввязалась, желая захватывать, поработать, первородствовать, – не силой грубой, унижением или жестокостью отвечали русские. Милосердием воля их была озарена. Широкими объятиями принимали победители, полетными, искренними, открытыми, словно русский танец, встречали бывших врагов. Но то лишь хуже воспаляло высокомерие прежних владельцев. Сотни тысяч не верили, не могли понять иной правды, имени звонкого «Сахалин», силы радушия, неодолимости русского света...

Японцев приглашали остаться, не депортировали при отказе, а помогали вернуться на родину. И покидали они остров, не принимая дружбы. Уходили озлобленные, понурые, затаившиеся. Вымещали злосердие на прежде поработанных – корейцах, китайцах, нечистокровных сынах Ямато. Лишали таких и средств, и дома, и подданства в своем неутолимом ожесточении.

И русский человек вновь протянул руку. Приютил и японо-славянские семьи, и японо-корейские, всех покинутых, угнетенных, неспособных ввиду ослабления на непростой через море путь. И было немало среди приобщенных, оставшихся людей новых граждан, достойных своей великой русской судьбы.

Японцы ушли, а на острове завязалась жизнь. В домах появилось общее отопление. Поклонения сановникам сменились собраниями полноправных и рукопожатиями товарищей. Закрылись развратные дома, и вместо хранилищ светлой мужской радости в них заработали изумительной скромной красоты девушки, нашедшие себя в промысле живых ресурсов, в чистоте семьи, в полноправии нежного слова. Открывались повсеместно колхозы и пионерские лагеря, кинозалы и библиотеки. Наладился выпуск газет, а в сорок девятом году на Сахалине начал служение первый университет.

Иори находит осколок

Иори Огава пробудился от воспоминаний. Тридцать лет прошло с тех островных дней, но случился пустяк – попался осколок тарелки. И оказалось, крепость событий все та же. Каждая позабытая мелочь на деле сохранена. Слова, поступки, мысли – точно сей час говорились, делались, проявлялись.

Утром прожорливая колюшка налетела на крупный крючок. Неудачно на него наскочила – металл прошел силой натяжения сквозь нее целиком, распорол брюхо, и что-то непривычное выпятилось на свет. Иори достал нож, рассек нечаянную надрезом, и вывалился тарелки фрагмент.

Ни мгновения Иори не сомневался – того же цвета отлив, холостяки. Но не желал узнавать, не верил в раскол, убеждал себя, что схож, но в сложении с иными не составит целого...

А фрагменты сошлись, совершенно слились. И вмиг побелел прежде крепкий рыбак, в сотрясении глядел на себя в отражении, в лихорадке уводил глаза, не принимал, не хотел возвращаться.

И вновь зазвенели невыносимым плачем тюлени в голове у Иори. Сёдзи затрепетались на ветру, зеркало заколыхалось поверхностью, зашаркали по стене газетные вырезки, – все кругом пришло в движение, даже пол, точно палуба на воде, не давал Иори прежней опоры.

Иори стал кричать, защищаться в зеркальном отражении, махать руками, прогоняя крики. Война, нуклеарный удар, гибель страны, смена власти – вот его оправдание. Поздно было бороться!

Но и тогда он помнил, не забывал. И сообщал властям и на Хоккайдо, и в Токио. А позже писал об этом. Пускай нерешительно и ослабело, но писал, призывал, требовал. И Иори кинулся к газетным вырезкам на стенах. Стал ударять пальцем указательным по заголовкам: «Не против порядка, но против жестокости», «Не только мирная природы жизнь», «О диких временах Карафуты». И в каждом месте его касания вдруг проявлялись вязкие капли багровой руды. Они набухали, наливались, лопались. И вскоре все в доме стены окрасились полнокровно красными истечениями.

– Да, результатов письмо не принесло! – кричал, отступая от стен Иори. – И я даже оставил науку. И не вружу! Редкий раз выхожу в море, только катаю гостей, знакомлю с традицией, показываю дом на воде! – Но точно не принимая оправданий, тюлений плач становился крепче и всеобъемней.

Иори схватил фотографию студенческих дней. Стал размахивать ей перед зеркалом, снова доказывать, объясняться:

– Их тоже крутило, мучило, не выпускало! Самоупреки вины! И не осталось уже никого. Оканэ, Кидо – спалили себя на войне! Будто сами искали смерти! Гоэммон с командой тоже нашли расплату – пошли на дно в самом начале сорок первого, налетев на мину во время рейда! Все помutilись на снимке! Все... кроме меня...

И выпала фотокарточка из рук Иори, разлетелась рама ее на части, разметалась на полу. А Иори кинулся к осколкам тарелки, сгреб, завернул их в медвяный платок, сжал в кулаках одержимо, неистово, до пролившейся на ткань крови и выбежал из дома.

Тайна Иори

Чрезвычайная картина представилась поселянам тихого рыбацкого Ине. Сосед их нелюдимый Иори Огава, точно ополоумев, несся в сторону деревенских мостков, где причаливали привычно лишь на время. По пути рыбак бросался на людей, выбивал миски с лапшой из рук, переворачивал посуду и столики, напугал милых детей, прыгающих возле

домов через веревочку, а затем долго и сильно таскал старика Банто за руку, повалив на землю.

Иори же не владел собой. Мир вокругный навсегда для него изменился. Голову оглушали непрекращающиеся тюленьи крики. Потоки встречающейся по пути воды вмиг обращались в кровотокающую, бурлящую руду, источали отвратительный металлический запах. Листья, ветошь и прочий сор на пути становились катящимися под ноги глазами яблоками. Но более всего ужасали Иори попадающиеся на пути люди.

Соседка развешивала на бельевой веревке свежие истекающие отрезки холостяков, на другой стороне сосед уже поедал их сырыми, причмокивая, мазал соком лицо, тарашил глаза от великого удовольствия. Чуть далее возле домов девочки-малютки с черными челками прыгали через веревку. «Иль, ни, сан, си!» – считали они до четырех и начинали с начала, смеялись. А когда увидели рассвирепевшего Иори, вмиг прекратили игру и разбежались в слезах прочь от него испуганно, ошеломленно. А Иори виделась не веревка в их руках, а длинная, перевязанная в разных местах, сочащаяся плоти лента.

А дальше старик Банто вышел на крыльцо. У него Иори всегда выменивал немного риса за поправку дома, за мелкую помощь в хозяйстве. И старик, увидев знаконца, выпятил от удовольствия костяным веером в улыбке зубы, замахал приветно рукой. Только вместо руки показалась Иори тюленья лапа, посеревшая, гниlostная, пузырящаяся рудой, и он бросился на добродушного Банто и вертел его в пыли, прихватив за «руку-ласту», пока не увидел поселян, бежавших на помощь к старику, собиравшихся Иори непременно скрутить.

Добежав до мостков, Иори оттолкнул стоявших у воды рыбаков и прыгнул в непривязанную, только подошедшую лодку. Пробудил мотор и вышел в море. Обернувшись на миг на досадные крики, с ужасом разглядел Иори будто Стеклянку и Гоэмона на берегу. Проморгав невозможную встречу, вновь взгляделся, но Капитана и помощника уже не увидел. Рыбаки бегали по мосткам, кричали и, кажется, предупреждали о собирающейся непогоде.

Но Иори не примечал ни затянувшего внезапно ветра, ни волны качки, ни посмурневшего неба, ни отсутствия над морем птиц. В памяти его крутилась прощания картина, когда десятилетия назад к нему, собирающемуся покинуть Карафута, подошли Стеклянка и Гоэмон.

– Ты все верно справил, парень. Только так и можно стать моряком. Подавив в себе человека, обещав судьбу без остатка морю, его привычкам и поднесениям. И ты спас Стеклянку. – И Гоэмон указал рукой на помощника. – Он бы так и сидел до неизвестно какого утра, не уличи ты меня в несправедливости, в не должном решении из-за бегства холостяков. Вас оттащили, опьяненных, невоздержанных, а я все думал о твоих словах... и ночью сам заступил в дозор. А там этот неудачливый малый с пугалом или чем-то еще... Ну, потом ты знаешь, как все развернулось. Друг твой тоже бросил натуре вызов, ее устоям и правилам. И как мужина принял судьбу...

– Не может быть! Я не такой желал справедливости, не так... – проклиная себя в наваждении, бормотал Иори.

– Спасибо, друг, – обратился к Иори Стеклянка. – Прими и не думай плохо про моряков. Мы делаем лишь то же, что и другие. И ты не виноват. Мир так устроен, а море не прощает ошибок...

Ничего не ответил Стеклянке в тот час Иори, но гнетущее чувство вины навсегда разрослось внутри за причинную гибель, за страдания зверя, за пропитанный кровью камень.

Только море находило силы каждый день смывать эту боль, принимать ее жатвы следы... И в его помутнелых глубинах искал теперь Иори средство. Он верил, что, затопив осколки, избавится от воспоминаний, от вины и от криков смерти.

Море прощения

Долго плыл Иори. Берег позади было уже не различить. Лишь редкие огни прорывались сквозь накрывший землю туман, сообщая о людях, тепле и безопасном крове. А здесь на глубине, казалось, бездны морские поменялись местами с небом. Таким иссиня-черным гляделись в Иори своды. Волнение неостановимо крутило, подбрасывало лодку, поворачивало из одного края в другой.

Но не падения за борт боялся Иори, сильнее всего страшился он не успеть отторгнуть от себя осколки, не увидеть их потопления в глубокой воде. Нервно, раздергано Иори выудил медвяный платок из-за пазухи и сильным рывком думал отбросить от себя на значительное удаление. Но то ли кровь из ладони пораненной вновь засочилась и, прикипев к платку, не дала свертку силы влет, то ли пальцы руки неловко раскрылись и, сбив дугу движения, обрушили осколки совсем рядом с лодкой.

Иори заворожено глядел на сверток. Платок развернулся, расплылся на воде ровными углами, показав на свет свое нутро. Сколы крутились в темной воде, оборачивались, пока не сложились целиком в тарелку. Поверхность ее лишь чуть теперь уходила под воду, проясняя Иори знакомый рисунок – ясные в небе облака, в центре волны бурливые, по краям острые скалы, а на них холостяки, беззаботные и счастливые.

Захотел в тот же миг утопить Иори ненастную тарелку. Сунул руки вводу и стал в глубину давить. А тарелка крепилась на воде, не давалась Иори. Внезапно море сильнее прежнего качнуло лодку, Иори чрезвычайно накренился и нырнул. В сей же час закишело море фрагментами посуды, сколами разных размеров, окраса и сохранения. Закрутились они вихрем под водой, стали выскакивать на свет, рассекая не только соленые токи, но и плоть человека, тонувшего среди них.

Сахалин. Наши дни

На берегу у широкого костра на выломанных из прибрежного забора досках сидели дельцы. Невоздержанно сидели, не скрывали злодеяний прошедшего дня, упивались мутной отравой в зеленом стекле, бесильной тишиной ненаказанности и неспешной музыкой, сообщавшей в сонный час редким радиолюбителям, что и вдали от света течет жизнь.

Промысел дельцов подходил к концу, немало дней провела шайка на заповедном берегу, устраивая охоту на морских зверей, разграбив жилые для исследователей дома, повыломав затворы на чердаки и склады. Но вышло время – намозолились руки, морозильники судна забились тушами, а тюлень, оказалось, без островных заград ведет себя рядом с людьми угрозяливо.

Посему наутро браконьеры собирались отчалить и пугали теперь выдумками друг друга, расположившись недалеко от картины жестокости своей.

– Послушай, Туча, – обращался торопливый и в слове, и в жестах, самый худосочный среди сидевших у костра дельцов, к нескладному гиганту с землистым цветом лица, – тех сгруженных на берегу, что так неудачно ты повскрывал, может, вывезем акулам в море?

– Паинька, ты, что ли, станешь их волочить? По четыре сотни в каждом! Не буду я возиться. Пускай Философ придумает средство, тогда решим.

– Нечего тут придумывать. Натура свое возьмет, утянет прямо с берега в море. – И самый зрелый среди дельцов, на вид которому можно было дать крепко за полсотни лет, махнул рукой в сторону лежавших недалеко изуродованных тюленних туш.

Неумелая рука, орудовавшая над животными прежде, не только не нашла способа скоро, безболезненно убить, раскалывая хрупкие черепа не единожды, не попадая сразу в точку, но и разделать тушу оказалась не каждый раз в силах: многие шкуры портились, лопались, неправильно расходились, а потому бросались на берегу в угоду новому вместо них убийству.

Радиомузыка вдруг затихла, и вышла в эфир бойкая не по времени ведущая, чтобы увлечь полуночников обзором новостей: «Невероятный прорыв искусственных... Международная группа исследователей... – эфир заглушался помехами, – взяв мумию фараона... века до нашей эры, сумела воссоздать... и детальное изображение... У Тутанхамона, умершего в девятнадцать лет... искривление... нарушение прикуса...»

– Прямо как у нашего Малыша прикус... – засмеялся Туча и дельцы разразились смехом ему в ответ, прекратив слушать сводку, в самом конце которой сообщалось о нехорошей морской активности, собирающейся в те самые минуты у берегов Сахалина. – Куда он, кстати, запропал, Паинька?

И в тот же миг из темноты появился Малыш, коренастый, светловолосый и туголицый, с действительно, если вглядываться, неправильным, выдающимся нижней челюстью вперед прикусом.

– Тут я! Туча, все сгущаешь, тревожишься. Ходил в тоннель, в клетки, досматривал. Много там сора и барахла всякого, думал, может, упустили ценное-разменное. – И Малыш досадливо поморщился. – Котик давно не в спросе. Много не вырачим за него.

– Зато наковыряли камер и прочих систем. Японцу предложим, он любит такое. Ну, а в тоннеле как? Нашел? – интересовался Туча.

– Да нет. Пусто место. Рухлядь одна: щепы, капуста, панцири и прелесть морской гнили в заторах. – И Малыш прекратил ненадолго речь, надумывая, как беспокойной мыслью с дельцами поделиться. – С японцем тут вот что. Надпись там на ихнем... во всю подземную стену. Мол, утекаем мы, но не владеть русским морем Ямато, захлебнутся они... Непростительный народ, японцы, мстительный.

– А ты как думал? Заселиться заселились, а имя верное Сахалин так и не приучились говорить, – забурчал Философ. – Все «Сахари-и-и-н», «Сахари-и-и-н» мудрили, не выговаривали. И решили переименовать в Карафута. В каких-то вещах совсем неспособный народ. А остров всегда был русским, еще с царицыных времен.

– Я после руки ходил в море обмыть, и смотри, какой вымыло скол мне прямо в ладони, – продолжал делиться Малыш, показывая дельцам

в отблесках костра осколок японской тарелки – обычная белая глина, молочная глазурь, голубого оттенка рисунок, – весьма хорошо сохранившийся несмотря на многие годы, проведенные в воде.

– Было дело, – делился Философ. – Японец, когда не зажелал дружбы с Советами, стал через море собираться в свою рисовую даль. Посуду бил на берегу из ненависти и жлобы, а ту, что на полках в домах оставлял, непременно травил, чтобы навредить новому в доме товарищу. А море вымывает теперь их следы, чтобы напомнить, что и мы всего лишь времени лоскуты... Японец ушел, потому что миру вредил и людям. Притеснял аборигенов, не давал воли русским на севере. Истреблял котика, соболей, каланов и прочую... Истощал рыбный ресурс, губил лес. Заводил, в общем, свои неширокие взгляды повсюду. Вел себя чужаком.

– Так и мы же тут с недобрым делом, – проикал Паинька.

– Врешь! Не так все. Они же всем миром душили! – возразил Философ. – А мы своим, частным путем... Станет остров молчать, как эта сопка. Не приметит. – И Философ показал на холмы позади себя, и в тот же миг стал накрапывать дождь, прервав последний разговор дельцов у костра перед отплытием...

Михаил ЧИЖОВ

Родился в 1946 году в Горьком. Окончил политехнический институт. Работал начальником производственного отдела на крупном промпредприятии, действительный государственный советник Нижегородской области I класса.

Автор 14 сборников прозы и публицистики. Лауреат литературных премий «Серебряный Витязь» (2016), трижды «Болдинская осень», премии журнала «Нижний Новгород» и четырежды премии г. Нижнего Новгорода, финалист международных премий – Бунинской (2016) и им. К.Н. Леонтьева (2022).

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

МИШКИНЫ СЛЁЗЫ

Мишка Шелест, ученик седьмого класса обычной российской школы вышел после уроков опечаленный. Его понурая, щуплая фигурка выражала если не скорбь, то нечто близкое к этому. Осенняя погода была под стать его настроению. Октябрьский пронизывающий ветер срывал последние промокшие листья с поникших, готовых к зиме деревьев. Сыро, зябко, уныло. По дороге домой он попинал пустую пластиковую бутылку из-под воды, но резкие движения не согрели и не улучшили настроение. А тут, как на грех, лифт остановили на ремонт, и на шестой этаж пришлось подниматься пешком. Тяжеленный рюкзак с учебниками давил на плечи, пригибал к ступеням нескончаемой серой лестницы. В квартиру Мишка вошёл сердитый и еле живой от усталости.

Однако чёрные глаза из-под насупленных бровей метали молнии. Вчера класс писал изложение по рассказу «Ванька» Антона Чехова, а Мишка, расчувствовавшись от прочитанного Марьей Никифоровной, старенькой учительницей русского языка и литературы, рассказа, надевал много орфографических ошибок и получил тройку. Марью Никифоровну Мишка уважал и ценил, но был высокого мнения о своих способностях (он уже начал писать фантастический роман о жизни марсиан), и тройка показалась из-за этого вдвойне обидной и несправедливой.

– Мишенька, ты что такой хмурый? – Ласково спросила бабушка. – плохую оценку получил?

– Нет, ничего не получил, – буркнул Мишка.

– Супчик будешь? Разогреть? – участливо предложила баба Тома.

«Чего спрашивать? Конечно буду! И что за привычка такая: спрашивать? Неужели непонятно: человек с утра ничего не ел!» – с раздражением подумал про себя Мишка. Но сдержался: грубить не стал. Школьные завтраки были такие невкусные, что не только один Мишка от них отказался.

После окончания уроков он, перед тем как идти домой, зашёл в школьную библиотеку и взял том рассказов Чехова, среди которых был злосчастный «Ванька». Дождавшись вечера, когда бабушка Тома

легла спать, открыл библиотечную книгу. Прочитал рассказ. Если не всё в нём было знакомо, то его судьба своей бесприютностью была не легче чем у несчастного Ваньки. Мишка раскрыл загодя купленную 12-листовую тетрадку в клеточку, покосился на закрытую дверь в комнату бабушки, снял колпачок с шариковой ручки и задумался, вспоминая.

Сколько Мишка себя помнил, жить ему приходилось с бабушкой, подарившей ему эту непривычную для этих мест фамилию после замужества с выходцем из Украины. Дитя от брака (его мама Марина) окончила биофак университета и стала работать в частной медицинской фирме, где приглянулась молодому директору. В результате Мишка и появился на свет, но директор жениться на маме не захотел. Так Мишка вписался невольно в «отряд» безотцовщины.

Жили они в рабочем пригороде большого города в двухкомнатной хрущёвке бабушки Томи. Жили не тужили, пока мама Марина не привела дядю Толю. Сразу стало тесно и напряжённо. Мишку заставили называть незнакомого мужика папой. Он не противился, был послушным, и папа Толя «воспитывал» пасынка по своей методе. Приходил с работы и зависал в компьютере – играл в «Танки». Мишка стоял рядом и учился. Горели танки ярко и задорно – пацану в радость. А когда папа Толя не играл в компьютерные игрушки, то общался по скайпу с братом, жившим в Израиле...

Огромным воспитательным примером послужил судебный иск мамы Марины, поданный по наущению папы Толи, на взыскание алиментов с Мишкиного отца. Отчим рассчитывал, что у директора и владельца медицинского центра денег куры не клюют. Мама Марина, видимо, искренне любила кровного отца Мишки и до прихода папы Толи на алименты не подавала. Но тут новая любовь проявила твёрдость. Так малолетний Мишка впервые попал в суд и приучился внимательно слушать взрослых дядей и тётъ и правильно отвечать на вопросы. Однако с деньгами вышла неувязка. Кровный папа проявил чудеса вёрткости и находчивости. Он переписал свой медицинский центр на престарелого отца, а сам оформился простым лаборантом с очень низкой зарплатой. Нашла, как говорится, коса на камень, а алименты отсудили копеечные. Н да!

Мишка глубоко вздохнул и ещё раз покосился на тёмное кухонное окно, словно оно помогло бы пополнить его тяжёлые воспоминания. Всё бы ничего, но через пять лет после появления папы Толи в квартире, у Мишки появился братик Сёма. Жизнь Мишки круто изменилась: он, как и чеховский Ванька, стал качать пусть не люльку, но коляску с братом и выполнять разнообразные обязанности няньки: «подай», «принеси», «подогрей». Бабушка, видя сиротство Мишки при живой матери, всячески пыталась облегчить ему жизнь, но в конце концов отчаялась. У неё оставался крепкий дом в пригородной деревне. Она его продала и купила однокомнатную квартиру в новостройке подальше от прежнего места жительства. Видимо, бабушка, возраст которой вплотную приблизился к 70-летнему юбилею, намеревалась пожить в спокойном одиночестве. Но сердце не камень, да и боялась баба Тома, что её осудят подруги, не решилась совсем бросить родную кровиночку – дочь и внуков. Стала каждый день ездить «за тридевять земель», так она говорила, чтобы забрать Мишку из школы, а Сёму из детского сада.

За два года поездки через весь город так измучили бабу Тому, что её посетила простая и здравая мысль: забрать Мишку к себе и перевести в другую школу.

– Марина, – сказала она, – Мишка, я смотрю, отрезанный ломоть для тебя, так что я забираю его к себе. Ты теперь можешь спокойнее и с шумом кувыраться с Толей.

Дочь густо покраснела, но промолчала.

– Молчание – знак согласия, – промолвила баба Тома и принялась собирать Мишку к переезду.

Узелок с пожитками внука был невелик. От его скромного вида у бабы Тома на глазах появились слёзы.

И зажили бабушка с внуком припеваючи: никто их не беспокоил, не обременял пустыми хлопотами. Случалось, конечно, что Сёма болел, и бабушка пропадала у мамы Марины. Школа, куда Мишка пошёл в третий класс, была новой, только что построенной. Она пахла свежей краской, цементным раствором, известкой. Тщательно промытые стёкла огромных окон лучились от сентябрьского солнца. Мишке школа очень понравилась, как и квартира бабушки с огромной кухней, в которой убирался диван – законное спальное место Мишки.

Вскоре опыт папы Толи пригодился. Как-то на перемене один из старшеклассников случайно толкнул Мишку. Он упал и разбил лоб до крови. Мишка не растерялся и пошёл в школьный медицинский кабинет.

– Вас как звать? – вежливо спросил Мишка медсестру.

– Алина Петровна, – ответила она, удивившись.

– Алина Петровна, – продолжил Мишка, – видите у меня кровь на лбу?

– Вижу!

– Окажите мне первую помощь и дайте справку, что меня толкнул ученик 8-го класса, и я получил травму.

Медсестра помялась-помялась, не зная, что ответить, но ранку промыла перекисью водорода и помазала йодом.

– Может, без справки обойдёмся – ранка-то небольшая, – примириительно попросила медсестра.

– Нет, не обойдусь. Обидчик не попросил у меня прощения, – ничуть не стесняясь, пояснил Мишка.

Медсестра, донельзя удивлённая настойчивостью девятилетнего мальчишки, позвонила завучу школы и попросила прийти, вкратце обрисовав ситуацию.

Завуч, опытный боец на фронтах школьного образования, видимо, по дороге в медпункт обдумала ситуацию и тут же спросила:

– Кто тебя, Шелест, толкнул? Знаешь фамилию, имя?

– Нет, не знаю, – огорчённо признался Мишка.

Он боялся этой массивной женщины с широким круглым лицом и синими глазами. Холодный синий цвет тревожил Мишкину душу, то ли дело привычный карий или чёрный.

– А раз не знаешь, то справка тебе не нужна, и мы её тебе не дадим. Не положено по закону. Помощь тебе оказали?

– Оказали, – смущаясь, согласился Мишка.

– Вот, и хорошо! Топай домой! – приказала завуч.

Мишка безропотно отправился домой несолоно хлебавши. Так закончился его первый опыт демонстрации моральной силы. Однако среди учителей Мишка Шелест стал школьной достопримечательностью. Порой Мишка ловил на себе заинтересованный взгляд учителей. Потом каким-то образом и ученики узнали о его похождениях и шептались меж собой, говоря, что с этим пацаном лучше не связываться.

Сводный брат Сёма между тем подрастал, и молодая пара поселилась в одном микрорайоне с бабушкой, буквально рядом с их домом. Всё чаще и чаще Мишка вынужден был ходить на квартиру матери и сидеть с Сёмой. Когда же тому наступил черёд идти в школу, повзрослевший Мишка опять превратился в няньку и стал жить с матерью и отчимом. По утрам он кормил брата завтраком, собирал и отводил в школу, общую для них. После двух-трёх уроков Мишка встречал брата и отводил домой. Сам он учился во вторую смену и, мотаясь туда-сюда, бывший хорошист стал приносить тройки и двойки, не успевая готовить уроки. Маме Марине его успехи были до лампочки, а отчиму тем более.

А намеренно Мишке была выволочка от родной матушки. Она попросила его налить в ванную воды, чтобы искупать Сёму. Он, заигравшись в компьютерную игру, привычно ответил: «Щас!» – но забыл о маминном поручении. Мама Марина через несколько минут вскипела и запустила в Мишку первым попавшимся под руку предметом. Это был пузырёк из-под меновазина, который на удивление метко угодил в экран ноутбука. Тот покрылся частой сеткой мелких трещин. Тут и папа Толя включился в воспитательный процесс:

– Вон отсюда, дурак! Отправляйся к бабке и не возвращайся больше. Мы более не нуждаемся в твоей помощи: Сёма сам будет ходить в школу! Да скажи бабке, чтобы готовилась платить за ремонт компьютера.

Мишка горько заплакал, но не от грубых слов отчима, а оттого, что принесёт бабушке огорчения. Постоянно шмыгая носом и не вытирая слёз, висевших на ресницах, он сложил учебники по всем предметам в рюкзак. Закинул тяжёлый рюкзак на правое плечо и стал просовывать левую руку под свободный ремень, но она, ослабевшая, не слушалась. Мишка пыхтел, надеясь, что мама придёт на помощь. Напрасно!

На улице стояла тёмная осенняя ночь. Лил холодный дождь. Фонари в далёком от центра города микрорайоне не горели. Мишкина душа трепетала от страха. Он стоял в прихожей, надеясь, что мама поймёт его страдания и не выгонит на страшную, тёмную улицу. Безуспешно.

Потоптавшись в прихожей пять минут, Мишка понял, что тянуть дальше с выходом – это себя не уважать, и с трудом открыл тяжёлую бронированную дверь. Баба Тома ложилась спать не позже девяти вечера, и Мишка надеялся, что она спит: ключи от квартиры у него были, а встречаться с ней сегодня ему не хотелось...

Всё это вспомнилось ему, пока он держал шариковую ручку наготове. Прерывисто вздыхая, принялся торопливо заполнять страницу за страницей. На следующий день он принёс тетрадь и, смущаясь, вручил её Марье Никифоровне.

– Пожалуйста, почитайте.

А ещё через день Марья Никифоровна попросила его остаться после уроков. Когда они остались в классе вдвоём, учитель русского языка и литературы протянула ему тетрадь с Мишкиными записями и произнесла торжественно:

– Быть тебе, Шелест, знаменитым!

Мишка порозовел от удовольствия: он с пяти лет мечтал о славе.

Алёна ДАЛЬ

Родилась в Воронеже. Окончила экономический факультет Воронежского государственного технического университета. Объездила четверть мира, примерила на себя десяток профессий: журналист, колумнист, издатель, главный редактор журналов, преподаватель кафедры «Издательское дело» Воронежского госуниверситета.

Прозаик, публицист. Автор книг «Хождение по Млечному Пути», «Живые души», «Жизнь начерно». Печаталась во многих отечественных и зарубежных изданиях. Лауреат германского международного конкурса «Книга года» (2019), международного конкурса «Русский Гофман» (2021), финалист премии им. Абрамова «Чистая книга» (2019).

Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

НЕКРОЛОГ

Анатолий Зудин пришёл к неутешительному выводу: ни рассказы, ни эссе, ни путевые очерки, ни тем более романы сегодня никому не нужны. Люди перестали читать. Зато рождаются и умирают с завидным постоянством.

Однажды год назад по собственному горячему порыву Анатолий написал некролог на смерть известного в городе телеведущего – когда-то они работали вместе на радио. Текст понравился руководству телеканала, родственникам и друзьям покойного. Некоторые из скорбящих цитировали отдельные строки некролога на поминках, а потом и на похоронах других людей. Поэтому, когда спустя месяц умер глава департамента культуры Сверчков, обратились сразу к Зудину.

Трудно писать на смерть незнакомого человека, но Анатолий с честью справился с задачей. Пришлось, правда, покопаться в архивах, побеседовать с бывшими коллегами усопшего, задать несколько вопросов сыну, деликатно потревожить вдову – но в итоге получилось блестяще. Обведённые траурной каймой проникновенные строки разлетелись по сети, замелькали в газетах и журналах.

Зудину стали заказывать не только некрологи, но и торжественные оды, юбилейные речи и поздравления. С этим работать было куда приятнее – и платили больше. Не успел отгременить юбилей директора «Комдортранса» Юшкина, как потребовалось эффектно поздравить с назначением нового председателя комитета по утилизации. Только настроился Зудин на светлую волну – как умер заслуженный артист Тяпкин. И снова обратились к нему.

Когда заказы пошли потоком, Анатолий придумал специальную форму технического задания, которая освобождала его от ненужной беготни и напрасной траты времени. В ней помимо основных вех биографии содержались сведения о детстве, увлечениях, семейных обстоятельствах, чертах характера и непременно о любимой книге юбиляра (покойного). Вот от этой любимой книги Анатолий и отталкивался

в подготовке текстов. Очень удобно – всегда можно опереться на классиков, вернуть удачно цитату, да и виновник события неизменно представлял человеком образованным, начитанным, широкого круга интересов. Это был беспроеигрышный ход. Если выяснялось вдруг, что субъект читать не любит (или никогда не любил), то по согласованию с родными, избиралась главная и единственная книга, повлиявшая на его судьбу. Но всё равно литературные аллюзии придавали текстам особую глубину и утончённость.

Вскоре сочинительство поздравлений и некрологов Зудин стал воспринимать как отдельный жанр художественной литературы. Ведь есть же романы в письмах, есть мемуары – почему бы не быть сборнику художественных некрологов и поздравлений? И обложка в голове сразу нарисовалась – чёрное и белое, горе и радость...

Сочинение некрологов и поздравлений приносило Зудину стабильный доход – не то что смехотворные гонорары, да и те от случая к случаю. Недописанные рукописи, наброски, заполнившие бездонные ящики письменного стола, скопившиеся в папке «Сырое» файлы перестали интересовать Анатолия. Он несколько раз порывался почистить комп, сжечь пожелтевшие от невыносимо долгого ожидания листы, но не решался сделать этого. Работа на заказ повысила самооценку писателя Зудина и улучшила его материальное положение. Наконец-то он стал востребованным мастером слова и популярным в городе человеком.

В тот день Зудин сел за компьютер позже обычного. Накануне на банкете директора драмтеатра его поздравление читали в лицах актёры. А когда пришёл черёд пригласить на сцену виновника торжества, ряды поздравлявших нестройно распались – кто-то пошёл за директором, а молоденькая актриса Ася Чайка спустилась в зал и вытащила под софиты упирающегося Зудина. Рукоплесканий ему досталось не меньше, чем юбиляру. Потом – банкет, повторное чтение «на бис» панегирика, брудершафт с юбиляром, с Чайкой, с главой департамента культуры... Домой Зудин вернулся под утро. Проспал до обеда – и, выпив шипучего аспирина, подстегнув себя чашкой кофе, принялся разгребать завалы.

В листе ожидания значились заказы: четыре некролога, пять поздравлений и речь по случаю чествования почётного долгожителя города. Анатолий сложил стопку по датам подачи заявок, затем переложил по срокам, в которые нужно уложиться. В итоге решил начать с самого простого – и взялся за речь долгожителю.

В этот момент тренькнула почта – в папку входящих упало письмо. Новый заказ, в теме указано: НЕКРОЛОГ. «5:5 – смерть выровняла счёт», – сумрачно подумал Зудин. Но в следующий момент не мог уже ни о чём думать. В графе «субъект» стояло его имя – Зудин Анатолий Петрович. Дата рождения в точности совпадала. Пискнул мобильный банк – на счёт пришла предоплата 100 %, точно по преискуранту.

Что за чёрт? Зудин впился глазами в адрес, с которого пришёл заказ. Он был незнаком и помечен значком по reply. Анатолий раскрыл бланк анкеты, надеясь высмотреть в нём указание на автора этой возмутительной шутки. Шутник очень хорошо знал Зудина. В графе «любимая книга» стоял заголовок его недописанного, давно заброшенного романа. Издёвка, какая отвратительная издёвка! Затопившее Зудина возмущение на миг перебило все остальные эмоции. Но ладно, поиздевались –

деньги-то зачем переводить? Анатолий похолодел, внезапно почувствовав себя под прицелом киллера. Но кто киллер? И кто заказчик?

В конце письма был указан номер телефона, на который следовало отправить готовый некролог. Его и набрал неверными пальцами Зудин.

– Слушаю вас, – прогнусавил незнакомый мужской голос.

– Нет, это я вас слушаю, – взвился Зудин. – Это вы мне скажите, зачем вам потребовался мой некролог?

– Мне вас рекомендовали, как лучшего копирайтера, – вкрадчиво произнёс голос и стал перечислять имена, среди которых Анатолий услышал немало знакомых.

– Да, но вы заказали мне некролог на меня самого!

– Сожалею. Но я всегда заказываю только те некрологи, что значатся в списке Артура.

– Какого ещё Артура? Что вы мне голову морочите? – Зудин стал тяготиться беседой, похожей на разговор двух сумасшедших.

– Как же, вы не знаете Артура? – удивился гнусавый.

– Представьте себе, нет.

– Может, вы и Всеволода Федякина не знаете?

Федякина Зудин знал. Это был его однокурсник, редактор журнала «Бурелом», отказавший Анатолию в публикации рассказа.

– А при чём здесь Федякин? – окончательно смешался Зудин.

– При том, что именно он внёс вас в список.

Говорить дальше не имело смысла. Всё это походило на бездарный первоапрельский розыгрыш. Зудин отключился. Набрал Федякину – телефон редактора был недоступен. «Надо бы деньги вернуть», – пришла мысль. Зудин попытался сделать обратный перевод, но банк отказал, объяснив, что платёж невозвратный.

Гнусная шутка испортила день. Анатолий отложил в сторону бланк по долговителю и устался в заказ на собственный некролог.

Интересно, что бы он мог рассказать людям о самом себе? – задумался Зудин. Как подытожил бы свою жизнь? Анатолий откинулся на спинку кресла. Возмущение схлынуло. Дымная горечь осознания конечности бытия охватила писателя. Но ненадолго – вскоре тоска сменилась азартом. Это был вызов. Была задета его профессиональная честь – слабо написать собственный некролог? До этого такого не делал никто! – а быть первым всегда престижно и выгодно. К тому же лучше него всё равно никто не напишет. А уж кто будет читать, где и когда опубликуют – ему, Зудину, наплевать.

Чтобы настроиться на нужную волну, Анатолий прикрыл глаза и представил картину собственных похорон. Кто придёт? Что скажет? Воображение нарисовало скорбящего Федякина и длинную вереницу других лиц, в разное время отказавших ему в публикациях, во включении в списки и сборники, опрометчиво отмахнувшихся от его рукописей. Были эти лица удручены, полны горького, запоздалого раскаяния. В глазах Зудина защипало. Да, он делает это! Он напишет. Хотя бы для того, чтобы доказать всем, что он лучший – по крайней мере в области художественных некрологов.

Но текст не шёл. Нужные слова не находились. А только обида закипала вновь. И переживал он заново все отказы и унижения. И грустил о недописанном. И боялся вернуться к черновикам. И страшился неизвестности... Но забвения страшился ещё больше.

Между тем в почтовый ящик падали и падали новые заказы, дзинькал сигнал мобильного банка. Лавина чужих смертей и праздников накрыла Зудина с головой, не оставляя времени подумать о собственной жизни. Анатолий со злостью ткнул клавишу и закрепил на стене крупную надпись: «Приём заказов временно прекращён». Подумав, слово «временно» удалил. Взял сигареты и вышел на улицу.

Зудин пошёл по длинной липовой аллее в сторону alma mater – этот маршрут всегда всплывал в памяти, когда было неясно, куда и зачем идти. Аллея заканчивалась сквером, редкие лавочки которого были до того стары, что казались выросшими из земли вместе с деревьями. В их трещинах, шероховатых искривлениях можно было обнаружить засохшие хлебные крошки, чернильные пятна, истолчённые в пыль листья, пушинки одуванчиков, вырезанные ножом формулы любви.

На одной из скамеек Зудин увидел Нину Фёдоровну Богуславскую – профессора кафедры русской литературы, руководителя его дипломной работы. Была она под стать лавке – такая же искривлённая, покороблинная временем. Её давно проводили на пенсию, но Богуславская не сдавалась – до сих пор давала частные уроки и неустанно искала таланты. Зачем она их искала и что с ними происходило потом – никто не знал. Кажется, и саму Богуславскую не очень-то волновало это «потом», главное для неё было – найти. Когда-то и Зудин, был выделен ею из сотен других – юным талантом, профессорским любимчиком.

Нина Фёдоровна то ли дремала в тени акации, то ли, прикрыв глаза, по обыкновению размышляла о прочитанном, заложив пальцем потрёпанный том. А может, щурилась, пытаясь узнать в случайном прохожем бывшего студента.

– Здравствуйте, Нина Фёдоровна! – остановился возле неё Зудин.

– Толенька, как я рада тебя видеть! – всплеснула руками Богуславская. – Не сразу узнала. Зрение подводит. Присаживайся! – она подвинулась на сгорбленной лавке.

Анатолий сел рядом, стараясь не задеть прозрачной, как крыло стрекозы, шали, трескучего веера, знакомого со времён студенчества.

– Давно мы с тобой не виделись, Толя, – глаза Нины Фёдоровны близорую разглядывали любимого ученика. – Ну, рассказывай, как твои дела? Что пишешь? Как движется роман?

Зудин заёрзал и отчего-то покраснел.

– Видите ли, Нина Фёдоровна, я сейчас работаю немного в другом жанре.

– В каком же?

– Как вам сказать... я выбрал прикладной формат. Пишу поздравления, речи, письма, некрологи. Художественные, – добавил Зудин, будто бы в оправдание.

Нина Фёдоровна погрустнела.

– Так ты забросил литературу?

– Ну почему забросил – просто экспериментирую. Между прочим, художественно написать некролог не так-то просто.

– Я думала, некрологи пишут близкие люди, – рассеянно заметила Богуславская.

– Авторские права принадлежат заказчику – родственнику или другу, но пишу я. Как бы от имени близкого человека.

– Господи, Толя, о чём ты говоришь? Ты можешь себе представить Бунина или Чехова, пишущих некрологи на заказ?

– Но я-то не Бунин и не Чехов, – угрюмо произнёс Анатолий.

Нина Фёдоровна строго посмотрела на него поверх очков.

– Тебе и не надо быть ни Буниным, ни Чеховым. Будь Анатолием Зудиным. Только пиши, а не занимайся всякой ерундой! – Богуславская нахмурилась и шлёпнула Зудина сложенным веером по макушке – точно так, как делала много лет назад, когда одарённый, но нерадивый студент ленился или халтурил. – Я что – зря в эту голову вкладывала самое ценное? Зря старалась?

– Нина Фёдоровна, мне жаль, но сейчас настали другие времена. Всё очень сильно поменялось. Люди перестали читать.

– Это ты мне рассказываешь? – вспыхнула Богуславская. – Да, многие перестали читать. Так пиши для немногих! – она пристально посмотрела на Зудина. – А знаешь, Толенька, по-моему, ты лукавишь. Это ты перестал писать – а сваливаешь всё на людей. «Люди перестали читать» – отличное оправдание для авторов, переставших писать.

Зудин пристыженно замолчал. А ведь по большому счёту Богуславская права. Все его эксперименты, заказы и рекомендации – не более чем маскировка творческого бесплодия, трусость и самообман. Всё это от тщеславия, от стремления доказать, что он достоин признания, от нестерпимого желания быть лучшим, быть успешным и знаменитым, вместо того чтобы просто быть.

Некоторое время они сидели молча, Богуславская – устремив невидящий взгляд в книгу, Зудин – думая о десятках ждущих его заказах.

– Я, наверное, пойду, Нина Фёдоровна, – Анатолий встал. – Извините, что не оправдал ваших ожиданий.

– Чепуха! Ты не обязан оправдывать ничьих ожиданий, моих в том числе. Только твои ожидания имеют смысл.

Зудин кивнул.

– И не пытайся обмануть себя, Толенька, – всё равно не удастся. Можно обмануть кого угодно, только не себя.

– Я постараюсь, – пообещал Зудин.

Он поспешно простился, сжав в руке сухую ладонь Богуславской. И не видел, как она провожала его долгим разочарованным взглядом.

Анатолий шёл по липовой аллее, как по беговой дорожке. Переставляя ноги, он оставался на месте. Вокруг проплывали деревья, люди, машины – а он был лишён способности перемещаться, хотя исправно отталкивался подошвами о ленту дороги.

Он понял, что писать собственный некролог не станет – нечего пока писать. Не нашёл он ещё на достойный некролог.

Зазвонил телефон.

– У меня пропущенный от тебя, – бодро сообщил Федякин.

– Сева, что за дурацкие шутки? – устало проговорил Зудин, растеряв по дороге весь пыл. – Зачем ты заказал мой некролог? И что ещё за списки Артура? Кто это?

– Темнота! Ты что, правда не знаешь Артура? Вот уж не ожидал! Всегда считал тебя продвинутым. Это новый ресурс ИИ, типа Алисы, только круче! Брошу ссылку.

– А некролог? Зачем ты в список покойников внёс моё имя?

– Ничего я не вносил. Я Артуру только списки опубликованных авторов сливаю – это нужно для электронной библиографии. Кстати, в июльском номере твой рассказ выйдет.

Зудин пропустил новость мимо ушей.

– Ничего не понимаю. А деньги как на счёт попали? – допытывался он.

– Ну, мало ли. Сбоит система, сырая ещё, глючит. Считай это будущим гонораром! Мог бы, между прочим, и поблагодарить, – обиделся Федякин.

– Спасибо, Сева!

– Пожалуйста, Толя!

Вернувшись домой, Зудин увидел в почтовом ящике новое письмо со старой пометкой по герлу, в котором разработчики Артура извинялись за системный сбой и отзывали заказ, а вместе с ним и ошибочно перечисленные деньги. Позвонил и гнусавый бот и тоже извинялся, и даже шутил. Бот с чувством юмора – это что-то новенькое!

Весь день просидел Зудин за компьютером. Но не отложенными заказами занимался он, не некрологами и юбилейными речами, а соревновался с Артуром в гениальности. Вбивал бланки заказов, сличал результаты. Усложнял задачу – придумывал заковыристые биографии несуществующих людей, рисовал сложные характеры, экстравагантные обстоятельства кончины. Артур справлялся! Выходило так, что разница между ними невелика. Большинство заказчиков её даже не заметят, не увидят отличий между гениальными строками Зудина и шаблонными, безликими текстами Артура. Ведь заказчики – те же читатели! Что с них взять? Ну не дано им распознать подделку, отличить плагиат от шедевра. Да и нужны ли нынче шедевры?..

Писателю Зудину открылась трагическая реальность: очень скоро некрологи и юбилейные речи будет писать искусственный интеллект, лишив его не только куска хлеба с маслом, но и чувства собственной исключительности. Нет уж, он не будет дожидаться этого! Он уйдёт сам. Уйдёт из мира некрологов и поздравлений с гордо поднятой головой. Только прежде напишет свой некролог.

С сухим треском выдвинул Зудин нижний ящик стола. Острая щепка впиалась в палец, выдавив бисеринку крови. В глубине письменного саркофага пылились папки, набитые рукописными листами. Анатолий раскрыл одну из них с пометкой «Часть 1». Перечеркнул старый заголовок – он никогда ему не нравился – и вывел крупно чёрным маркером: «Некролог». Вот новое название его романа, с которым Зудин останется в вечности. Или не останется... неважно. Но непременно напишет.

Священник Николай ТОЛСТИКОВ

Родился в 1958 году в городе Кадникове Вологодской области. После службы в армии работал в районной газете. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького (семинар Владимира Орлова) и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В настоящее время – священник храма святителя Николая во Владычной слободе города Вологды. За многолетнюю службу и храмостроительство удостоен патриаршей награды – ордена преподобного Серафима Саровского и епархиальной – медали преподобного Димитрия Прилуцкого.

Публиковался в журналах «Север», «Нижний Новгород», «Сибирские огни», «Дон», «Южная звезда», «Венский литератор» (Австрия), в газете «Литературная Россия» и других российских и зарубежных изданиях.

Автор ряда книг прозы. «За образность языка в прозе» награжден медалью Василия Шукшина, учрежденной Союзом писателей России. Лауреат ряда отечественных и международных литературных конкурсов.

Член Союза писателей России. Живет в Вологде.

ИСТОРИЯ ПАПИНОЙ ДОЧКИ

Свекор угнал джип из двора дома, едва забрезжил рассвет. Бездыханное тело его сына еще остывало где-то в больничных закутках, а он уже, пробежав пешком половину ночного города, торопливо вскрывал взвизгнувший истерически автомобиль.

Анька прижала к оконному стеклу мокрое от слез лицо и безучастно наблюдала за тем, как долговязая седоголовая фигура свекра по-воровски копошилась возле джипа, как замигали фары и автомобиль, тихо журча мотором, выкатил на улицу....

Свекор, отставной вояка, еще пару дней назад раскачивался в кресле-качалке у камина и, по-армейски залпом осушив стаканчик, обводил взглядом просторную, со вкусом обставленную гостиную.

– Не грех вам и позавидовать, ребята!

Его сын Виктор, в свои сорок пять с седой уже, как у отца, шевелюрой, невысокий и одышливо плотный, с Анькой сидели напротив гостя, перебирая в пальцах тонкие ножки высоких хрустальных бокалов с заморским вином.

Да, десяток лет назад вряд ли бы кто им позавидовал, вся родня Виктора их только проклинала....

Виктор от своей семьи ушел к Аньке, можно сказать, в одной рубашке. И ее, с грязным воротом, Анька азартно стирала в ванной на квартире старой подружки. Вернулся подругин муж и обалдело уставился на полуголого шефа – он у Виктора в фирме работал водителем. Увидев выходящую из ванной с мокрой рубахой в руках Аньку, все понял и потом, за столом, хмурый, не проронил и слова – шеф для него, видно, был образцом семьянина, и теперь авторитет рушился. За ужином выпили, разговорились, но подружкин муж долго еще недоумевал: как так, все бросить – и семью, и квартиру, и ради смазливой тороватой молодухи уйти неведомо куда...

Взглянув на льнушую к Виктору счастливую Аньку, хозяин вздохнул: сердчишко-то у него чем-то вроде доброй зависти все-таки пощекотало.

— Ладно, поживите пока у нас!

Анька тоже ведь к Виктору — как в омут головой!..

Замуж за своего первого, Васька, она выскочила — восемнадцати еще не сравнялось. Промаялась полгода в заводской общаге в Вологде, куда ее после школы из деревенского захолустья папа с мамой вслед за четьрьмя братьями и сестрой выпихнули.

Скоро тут зауивался возле глазастой свеженькой девчонки шоферишка Васек. Парень на личико не уродина, постарше только Аньки namного. Он ее подарками забаловал — дальнoбойшиk, деньги всегда есть, и барахлашиk по дороге подкупит. Время, тем более, постсоветское: везде, хоть в городе, хоть в селе — тюк на крюк. Дома у Аньки в деревне и обычных конфет на столе отродясь не бывало. Подглядели братья, что мать однажды купила-таки леденцов, собираясь на какой-то праздник к кому-то в гости, спрятала лакомство в чулане под замок. Браташи, забравшись на чердак, отжали в перекрытии потолка доску и на веревке спустили в полутемное нутро чулана младшую Аньку. Потом ее еле вытащили обратно: тесноват лаз был, но поцарапанная Анька в скрюченной ладошке накрепко сжимала горстку слипшихся леденцов, которые потом аккуратно разделили на всех. А сейчас Васек привозил из очередного рейса такое изобилие! Анька пошла за него не раздумывая, когда замуж ее позвал, отчаявшись, видно, добиться от девчонки-недотроги взаимности иным способом.

— Я тебя все равно любить не буду! — заносчиво фыркнула из-под свадебной фаты Анька.

— Зато я буду! За двоих! — ответствовал, не унывая, Васек.

Мужем он стал заботливым. Над Анькой с малолетства никто особо не трясся, у матери черед не доходил — шестое чадо в семье; отец баловал иногда младшую лишней сладостью или подарочком каким, и то втихаря от всех. Старшие все равно подметили это и завистливо прозвали Аньку «папишной» — папиной дочкой.

Васек же с юной жены только что пылинки не сдувал. Бережно снимал с ее ножек обувь, на руках кружил Аньку по комнате, сам стирал, сам готовил и пол в комнaтенке драил истово шваброй. А когда Анька «уступала», после того и вовсе убиться был готов!

Вот только две беды не оставляли их: катились год за годиком, а у пары никак не нарождалось дите, и еще — Васек до рюмашки оказался слабоват. Возвратясь из рейса и завалив жену подарками, он отправлялся ставить машину в гараж и... под утро если не приползал сам, то приволакивали его, бесчувственного, сами туго соображающие дружки-шоферыюги. Кроя матюками, сваливали Ваську на супружеское ложе и ухаживали, норовя напоследок с гоготом шлепнуть Аньку по задy.

Васек мог и порядочную лужу запросто в постели напрудить: что-то у него застужено было. Наученная уже горьким опытом Анька, stalkивала муженька с кровати на пол. И после того, как почти бездыханное тело его шмякалось на мягкий пушистый ковер, заливалась слезами.

Утром Васек, страдая с похмелья, виноватился, стоя на коленках перед кроватью, пытался целовать Аньке ноги и, когда у молодой жены начинало помаленьку отмякать ретивое, оправдывался: дескать, коллеги перестанут уважать, коли выпить с ними побрезгуешь. Нельзя отрываться от коллектива, и вообще все это в последний раз. Аньку он любит и ни на что не променяет.

Вскоре он опять уезжал в дальний рейс. А Анька, отработав смену на радиозаводе, то шла с подружками в кино, то просто скучала дома, иногда в погожие летние вечера подружки вытаскивали ее на природу на пикничок. На работе она особо не уставала: после окончания курсов паяла детальки в блоках аппаратуры на конвейере.

Холостые подружки вертели шуры-муры с залетными хохлами-шабашниками со стройки. Один чернобровый хлопец-закарпатец стал ухаживать за смазливой кареглазой девчонкой – ведь никто не верил, что такая еще пигалица уже замужем, клялся ей, что бросит свою семью в «ридной Украине», только бы быть рядом. Даже где-то уж комнатнушку для любовных утех снял. Анькин амур не успел далеко зайти: кто-то из подруг настучал Ваську. Тот поговорил с воздыхателем по-мужски, и он без боя отступился. На самое Аньку Васек посмотрел только с укоризною: что, мне по попке тебя ремнем, как отцу, попотчевать?

И – в рейс ушел. Новое увлечение жены – Виктора – он прозевал. Да и Аньку, как соплюху, обещанными шлепками по заднице тут стало не испугать: выросла женщина...

С Виктором встретились, когда Аньку с родного завода сократили. Баклуши бить и скучать дома ей не дала сестра Соня.

Она задумала провернуть за один скрип два дела, действуя через своего хахалю, пузатенького пухлячка Анатолия Федоровича Тросова – устроить на работу Аньку и познакомить с главой фирмы свою одинокую приятельницу. Но в тесной компании, собравшейся в офисе, глава Виктор Иванович Альбов глаз положил не на пожилую Сонину подругу, а весь вечер поглядывал пристально на хлупавшую скромно ресницами Аньку. И Аньке тоже понравился уверенный в себе, с ранней сединой на висках мужчина.

Она много не ломалась: отдалась ему, когда все разобрались, на кожаном диване и стала вместо предполагаемой курьерши и секретарем, и любовницей шефа. Подумывала поначалу, что все это так, шуры-муры, а получилось накрепко...

Виктор прежде был заурядным инженеришкой в конструкторском бюро; папа его, старый вояка, желал, конечно, видеть в сыне своего продолжателя, но тихий и послушный мальчишка воспротивился и поступил в гражданский институт. Осталось майору безнадежно махнуть рукой: протирай, чадо, портки за сотню рваных!

Что, собственно, Виктору и пришлось делать. Он женился, сотворил двух дочерей, постепенно жизнь для него стала чем-то вроде обитания в застоялом болоте как на работе, так и дома с обрюзгшей, охладевшей к ласкам женой, способной только ворчать из-за нехватки денег, одинокими ночлегами на старом диване в тесной захламленной квартире, куда порою не хотелось и возвращаться.

Может быть, так и жил бы Виктор, смиренно коротая время к старости, кабы не начались все эти перемены и катавасии в государстве. Конечно, можно было обреченно ждать, когда разгонят конструкторское бюро и прикроют сам завод, но Виктор решил заранее побарахтаться, чтоб камнем на дно сразу не пойти. К тому же, подвернулся бывший одноклассник Толька Тросов, директор городского рынка. Правда, вскоре из директоров его вытеснили залетные кавказцы-мафиози, но Толька, благополучно унеся ноги целым, не унывал, идеи генерировал.

Однокашники посидели в дешевом ресторанчике, потолковали за жисть и расстались компаньонами зародившейся за рюмкой водки фирмы «Альбатрос».

Решили заняться бартером, как тогда все в России, менять вологодский лес на украинский цукор. Очереди за сахарным песком у магазинов в северном городе змеились, ожидающе-рассерженные, постоянно: самый ходовой товар. Зато штабель отличного елового бруса раздобыть не составило труда – Толька Тросов расстарался. Сопровождать нагруженный лесом КамАЗ предстояло Виктору, Тросов остался дома для общего руководства операцией.

Виктор взял с собой в дорогу Аньку: куда ж без секретарши? Спокойнее во всех отношениях...

На границе их ждал перекупщик-армянин. Товарообмен состоялся успешно: хмурые работяги выгрузили брус, взамен закинули кули с сахаром. Но на обратном пути прицепились то ли таможенники, то ли бандюги. Водитель КамАЗа, мужик бывалый, свернул на развилке на неприметную дорогу, а Виктору на своем москвичонке пришлось выполнять отвлекающий маневр – что есть мочи удирать от погони по большаку.

Анька, скрючась на сидении, прижимала лицо к коленям и скулила, будто собачонка, от страха – из мчавшегося по пятам фургона незалежников стали постреливать, прежде хоть только сигналили и орали похлоацки что-то в матюкальник. И вдруг отстали: то ли машина у них забарахлила, то ли уразумели, что куш упустили и проку гнаться сломя голову за нищими москалями мало.

Виктор съехал с трассы в перелесок затаиться и перевести дух. Жадно, взхлеб, они с Анькой целовались. И остаток ночи провели в жарких объятиях на откинутых сиденьях: Анька с того часа понесла...

Теперь о той давней погоне, когда поняли, что любят друг друга, вспоминали редко, обычно в день рождения дочки.

Фирма «Альбатрос» процветала; хозяева построили новый особняк напротив отреставрированного храма; по утрам Аньку с дочкой будил веселый перезвон колоколов.

Анька иногда заходила в храм. Выстоять долгую малопонятную службу у нее не хватало терпения; ей больше нравилось, когда здесь было тихо, малоллюдно, полумрак. Перед образами теплились, потрескивая, редкие свечки. Анька стояла, сложив руки на груди, перед иконой Богородицы, не зная слов молитвы, просила простыми, идущими от сердца словами счастья, здоровья. Выходя из храма, какой-нибудь приглянувшейся нищенке на паперти она совала крупную купюру, попутно умиляясь растерянности бабушки, готовой от неожиданной радости головой Аньке в ноги сунуться.

Выходил на балкон дома посмотреть на крестный ход вокруг храма в Пасхальную полночь и Виктор. Жаль, зазвать его зайти в церковь Аньке не удавалось.

– Что я, как чинуши наши, со свечками в обеих руках стоять там, на службе, должен? Так атеист я, а фальшивить не привык. Не знаю, и крещеный ли даже, – отвечал он, поддразнивал жену «овечкой божьей».

Анька все-таки рано или поздно добилась бы своего. Была у нее тайная мечта с Виктором обвенчаться, да вот не сбылась она...

Выпивал Виктор, случалось, в компаниях с нужными людьми, куда брал с собою для пущего престижа и мужского самолюбия юную жену, но всегда держал себя в руках: чтоб ляпнуть лишнее, вгорячах, слово – ни-ни! А тут вдруг появился во дворе дома, пошатываясь, пустился возле крыльца чуть ли не в пляс, всплескивая руками.

– Я – миллионер! Вот мой звездный час!

Орал он громко, чтобы соседи за заборами слышали. Перепуганной Аньке немало труда стоило затолкать его в квартиру. Еще и Тросов откуда ни возьмись увязался следом.

– Мы такие дела закрутим, Тоха! – блажил Виктор. – Такие дела!.. Дочь у меня подрастет и будет в Гарварде учиться! А мы с тобой, женушка, махнем этим летом на Канары!

Он чмокнул поморщившуюся Аньку в щеку.

– Приготовь, пожалуйста, нам с Тохой сауну! Событие надо отметить!

«Куда такие пьяные! Ну миллионер, и что?» – хотела возмутиться Анька, но сдержалась: может, наоборот, поплюхаются в бассейне и благополучно протрезвеют.

Прислугу все-таки еще в доме не держали; принимать с почетом особо нужных людей приходилось самой хозяйке, и приготовить сауну было для нее делом обычным. Анька включила быстрый подогрев, наполнила бассейн водой и пошла на кухню сообразить насчет закуски: мужики, поди, после встряски оголодают. Виктор с Тросовым за стеной в соседней комнате о чем-то шумно спорили, громко хохотали, потом спустились в подвал.

«Успею, отнесу!» – Анька оставила на столе поднос с закусью и графином легонького винца, поднялась наверх, в детскую. Болела дочка, и с неприязнью ей подумалось про Виктора: тоже нашел время со своим Тохой гужбанить! Хотя... пускай порезвится: не каждый день такой повод, когда-то и лишнего рваного в кармане не нашупывал.

Посидев еще немного возле уснувшей дочки, Анька собралась уже проведать парильщиков, как за приоткрытой дверью послышалось шлепанье босых ног, и на пороге появился Тросов с голым торсом, обмотанным полотенцем, похожий на дородного римского патриция. Только вид у него был не величественный, а перепуганный.

– Там... там Витя... – вылипив глаза, показывал он пальцем вниз.

Анька не заметила, как сбежала по ступенькам в подвал. Виктор лежал на полу парилки, неловко подвернув под себя руку, и уже не дышал.

– Сидели мы на полке, он как за сердце схватится: «Помоги!» И вниз свалился... – гундосил позади Аньки Тросов. – Я за тобой побежал...

– Скорую вызывай, дурак, трус! – крикнула ему Анька, прижимаясь ухом к голой груди Виктора и тщетно пытаясь расслышать стук сердца.

Тросов делал все, как нарочно, замедленно: влезал в махровый банный халат, вскарабкивался, мотаясь из стороны в сторону, по лестничным ступенькам к выходу, слепо шарился в коридоре, разыскивая телефонный аппарат. А может, и правда нарочно не торопился?..

Анька, сидя в оцепенении на полу, почему-то вспомнила о погибшем тут же рядом, в бассейне, любимце семьи породистом увальне-коте. Любопытная животина сумела незаметно пробраться в сауну, но сорвалась с гладкого кафеля на краю бассейна в воду, побултыхалась и была такова.

– Плохая примета! – ворчала Анька, продраив нутро бассейна хлоркой. – Только в дом заехали жить!

– Да полно! – ухмыльнулся тогда Виктор. – Что вот только для дочки придумать правдоподобное?

Несчастного котяру, завернутого в мешок, Анька отнесла ночью в мусорный контейнер на улице и дочке сказала, что ушел наш котик с тетенькой-кошкой погулять...

А что сейчас вот дочке выдумаешь и скажешь?!

Аньку, наконец, пробили рыдания, она заревела в голос...

Вслед за тестем, угнавшим джип Виктора в то злополучное утро, и другие объявились наследники. Виктор, как всякий осторожный русский бизнесмен, свои капиталы и приобретения на «пожарный случай» оформлял на родственников и подставных лиц – вот они гурьбой и накинулись. Владелец фирмы вдруг оказалась сестра Виктора, и с расвирепевшим компаньоном Тохой Тросовым они едва не расцарапались, аж грозясь нанять друг на друга киллера. Аньку, еще не успевшую оплакать мужа, безжалостно тащили на всякие суды и пересуды.

Каждый день можно было ожидать какой-нибудь очередной пако-сти; миновал месяц за месяцем, а Анька всегда с прежней опаской и настороженностью отвечала на любой звонок в дверь.

И надо же – вот кого не ждала! Пришел Васек. За минувшие годы, видать, не спился с круга, посерьезнел, исчезла суетливость в движениях, по голове плешь расползлась. На Аньку он смотрел ласково и с жалостью. Осторожно переступил порог дома – последнего Анькиного бастиона: фирму, счета в банке родственники Виктора уже прибрали, оставалось еще разделить дом. Его Анька уже продала и собиралась на днях переехать в небольшую квартиру на городской окраине.

– Я слышал... – начал нерешительно Васек.

– Да... – вздохнула Анька, помолчала и спросила, наверное, только для того, чтобы продолжить разговор:– Хочешь посмотреть, как живу? Как жила...

Она повела притихшего Ваську по сумрачным комнатам с занавешенными шторами окнами. Стены там и сям были обклеены фотографиями Виктора. Анька постаралась: сходила в фотостудию, и давние невзрачные фотки превратились в представительные портреты. Пока боль утраты не поутихла, Анька, задумчиво бродя по дому, останавливалась то возле одной, то возле другой фотографии и вслух, как с живым, разговаривала с мужем.

Портреты – интересное дело! – отпугивали напрочь потенциальных Анькиных женихов. Еще всю влачила тяжба с родственниками Виктора и, чтобы не остаться голой, Аньке пришлось нанять известного пронырливого адвоката, а уже появились охотники подкатиться к богатенькой, по их предположениям, вдове. Отчаявшись заманить Аньку в ресторан, они назойливо набивались в гости и сникали безнадежно, еще минуту назад хорохористые петухи, в гостиную, обвешанной портретами Виктора.

Один Толька Тросов не стушевался, после рюмки-другой коньяка полез Аньку лапать:

– Я ради тебя твою сестру оставлю!

– Точно? – спросила, отпихиваясь от него, Анька. – Я вот ей позвоню!

– Не надо! – замахал руками Толька и задал деру.

Сейчас Анька чуть насмешливо и с любопытством поглядывала на Ваську: как-то он себя поведет?

Васек явно был не в своей тарелке, за столом, проглотив через силу стаканчик водочки, выдавил, ежась:

– Неуютно у тебя! Холодно! И этот вон еще, как сыч! Будто все время с нами! – с нескрываемыми ревнивыми нотками в голосе кивнул он на портрет Виктора.

Посидел еще немного, помолчал, попросил Аньку показать дочку. Был тихий час, но Анька поднялась в детскую, привела заспанную девочку.

– На отца очень похожа! – вздохнул Васек и засобирався.

В прихожей его словно прорвало, разговорился:

– Я тебя ждал обратно домой все эти годы! Каждый день! И сейчас жду. Приходите с дочкой, или я...

– Не надо, Вася! – прервала его Анька. – Я ведь теперь другая, не та папкина любимица! Прости...

Разгорячась, Васек не унимался:

– Это все он! – ткнул пальцем в фотку Виктора в прихожей. – Сам там мучится и тебе здесь спокойно и счастливо жить не дает, с того света ко всякому ревнует!.. Но я знаю, как от этого можно избавиться!

Васек загадочно понизил голос, вознял палец, и Анька, грешным делом, подумала, что с бывшим муженьком не все в порядке, хотя вроде бы и не перепил он.

– Я от бабки слышал... Если внутри заброшенной кладбищенской церкви напротив алтаря поставить две зажженные свечи, постоять, подождать, пока они сгорят, и все – отстанет он от тебя, и ты по нему сохнуть больше не будешь. Ты молодая, жизнь еще наладишь...

– Пока, Васек! Заходи как-нибудь! – Анька закрыла за гостем дверь.

«Ой! Не сказала ему новый адрес! – опомнилась. – Ничего, сам найдет, если надо».

Вскоре Анька уже жила в небольшой уютной квартирке, устроилась оператором в информагентство. Поначалу было тяжеловато, забыла уж, когда по найму работала, но ничего, постепенно втянулась в череду длинных однообразных дней, только так разгребала ворохи всяких писем.

Закручивалось у нее и с парочку мимолетных романов, но со скорым концом: то ли Анька быстро разочаровывалась в избранниках, то ли сама она оказывалась для них случайным приключением.

Шеф, владелец информагентства, представительный мужчина, вдовец, чем-то неуловимо похожий на Виктора, стал оказывать Аньке знаки внимания. То никогда не интересовался особо своими работниками, а теперь заглядывал в контору к Аньке чуть ли не каждый божий день, да и еще и с букетом цветов.

Однажды он внезапно куда-то надолго пропал; Анька забеспокоилась, засуетилась, не отрывалась от мобильного, названивая знакомым и как бы между прочим интересуясь судьбой шефа.

И о том давнем совете Васька вспомнила...

Старая подруга пошла за Анькой беспрекословно: привыкла уж с юности не удивляться ее выкрутасам.

– Ой, баба-дура!.. – подходя к полуразрушенной часовне на краю старого городского кладбища, бормотала, словно оправдываясь, Анька. – Ну как дети мы! А если кто увидит?!

Подруга осталась у ограды стоять на стреме, а Анька боязливо через пролом в стене пробралась в храм. Там было сумрачно, лишь в узкие пустые проемы окон под сводом лился свет, выхватывая остатки осыпавшихся фресок на голых кирпичных стенах. Геройски преодолев на своих шпильках кучи мусора на полу, Анька оказалась напротив алтаря, достала приготовленные накануне две свечи и зажгла их.

Язычки пламени робко, грозясь погаснуть, трепетали на сквозняке, а Анька, глядя на них, шептала:

– Витя, любимый, прости... Оставь меня!

Что подделаешь, если сказка давно кончилась.

Олег ПОГАСИЙ

Родился в Ленинграде в 1955 году. Окончил Карагандинский политехнический институт. Работал в Ленинграде инженером в строительном тресте, сотрудником в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. В настоящее время фрилансер.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Урал», в других периодических изданиях России и зарубежья. Автор нескольких сборников стихотворений и прозы.

Живет в Санкт-Петербурге.

ФЕЙЕРВЕРК

Клетчатую челночную сумку с пиротехникой Дмитрий Мараховцев старался пронести в метро так, чтобы этот китаец меньше всего бросался в глаза, вызывал подозрения секьюрити. Мараховцева однажды выдернули, завернули. «На выход! На выход! – срывался голос контролерши досмотра багажа, грудью стоящей за безопасность пассажиров. – Взрывчатые вещества. Постановление читали?» На робкие возражения, что это же хлопушки да салюты – было сказано, что если товарищ не понимает нормального языка, будет вызвана полиция. Пришлось тащиться наземным с тремя пересадками. Сейчас проскочил, влившись удачно в поток студентов. Мараховцев успел занять освободившееся место, вагон битком, иногородние уже подсуетились объявиться к новгородным. Поставил сумку между ног, задвинул к сиденью, чтобы не мешала проходу. Почудился запах хвои, огляделся, втянул воздух через нос: «Надо же – выплыл из какого-то времени». Дорисовал диалог на досмотре. «А ёлки можно?» – «Ёлки можно. Проходите».

Дмитрий Мараховцев, шестидесяти лет, курьер, работает без оформления. Когда получал сегодня накладную с адресом доставки, был приятно удивлен: «Ничего себе! Похоже, тот же дом; со Среднего проспекта налево, и пройти садиком, где по утрам бомжи, нахохлившись, сидели на скамейках с пакетами под завязку с пустыми банками пива; но не вспомнить, десятый был их или двенадцатый; неужели такое совпадение во времени и пространстве, если отмотать двадцать два года назад?»

Савва Загудаев бил черным квадратным носком гриндеров по затертым шинам легковушек отечественного автопрома. Многоголосие сигнализаций разрывало затаившийся стояк морозного воздуха. Из парадной научно-производственного объединения выпархивал встревоженный люд и с придушенной злостью послушно следовал направляющей руке и голосу, не терпящему возражений. «Фура, фура идет!» Савва стоял на поребрике с мобильником на поясе брюк, в длинном темном распахнутом пальто с приподнятым воротником. На височной части непокрытой головы нетерпеливо пульсировала жилка отпущенного времени. Обласканный лучами заходящего солнца сорокафутовик жесткой конкре-

тикой выворачивал на освобожденную стоянку итээровских развалюх; и далее еще один поворот к нашему офису-складу, у дверей которого выставлял джип Саввы. Как было давно замечено, окружающая действительность, отражаясь в боках джипа, отливающих черным с оттенком серого, казалась лучше, чем была на самом деле. В фургоне прицепа на поддонах коробки с полиэтиленовыми пакетами из Финляндии: дефицит и неутоленная тяга советского человека к яркой картинке, замыленный глаз которого невразумительной серятиной жаждал перемен, – а тут – шик, блеск, красота, как обложка глянцевого журнала. И не тянется от пяти килограмм, и не лопается на морозе. Товар шел с колес! Еще не раздался лязг опускаемых штанговых запоров, а у склада уже выстраивалась очередь с сумками и тележками. Дима Мараховцев, обычно с Витей Тимохиным, компаньоном и соучредителем Саввы, орудовали в фургоне, вспарывая ножом пленку, которой были обернуты паллеты с коробками, подносили товар к краю платформы и передавали в руки Петьке Дынину и какому-нибудь разнорабочему из НПО, привлеченному для разгрузки за полтинник. Дизайн придумывал Мараховцев, манер, как говорили тогда, посмеиваясь; так что помимо узкоспециальной направленности обязанностей в поиске и удержании сбыта, перед Мараховцевым открывалась безграничной широты свобода творчества, такая, что закачаешься. Делай что хошь! Ни тебе оскорбленных чувств верующих, и неверующих, и тех, кто посередке или пока не определился со своим статусом. Свобода фантазий от грешной земли до святых небес зафиксированная цветными карандашами на формат А4; границы, рамки устанавливали спрос и чувство вкуса. До компьютера тогда еще дело не дошло. Новым Уорхолом не стал, но его арт-дизайны, растиражированные в сотни тысяч экземпляров, вышагивали с покупками по многим городам и весям, от Питера до Владика; был, был тогда, что называется, бум! Убедившись, что всё ок, дела идут, Савва отчаливал на джипе. Да, у его ног, случалось, крутился бультерьер, Цезарь, будто выточенный из белого каррарского мрамора. Этот пёс как-то вписался за хозяина на стрелке. Был махач, рассказывал Тимохин, топтались с Саввой, без стволов обошлось. Цезарь рванул в кучу-малу, разорвал штанину одному уроду, прокусил ногу. Савве тогда сломали ключицу, Витьке – два ребра; но бизнес они отстояли. Светлана Васильевна, полная женщина, сорока с лишним лет, отработавшая двадцатку в конструкторском бюро, принимала товар, только-только успевая записывать количество и ассортимент, идущие на склад и тут же отпущенные. Протирая запотевшие на морозе очки, беззлобно переругивалась с Мазлумяном, недоучкой профтеха, но здесь, в очереди, первым; тягучей речью, с нарочитым для шарма и солидности акцентом, пытавшемуся опустить цену. Цена стойко, как мороз, держалась на одной отметке. Мазлумян хитрил, жучара, ему всегда не хватало каких-нибудь жалких рублей оплатить товар. Сбросив всё же сотню, довольный, обматывал пленкой, бинтовал скотчем доверху груженные в двухколесную тележку коробки, ожидаемые в рядах контейнеров на рынке. Зинаида Ивановна, почти всю жизнь уборщицей, принятая кладовщицей, с морщинистым лицом, губами крашенными злющей растекающейся помадой, помогала Петьке Дынину (Дыне) возводить на складе светло-коричневый зиккурат Меркурия из коробок до самого потолка. Дыня на москвиче-каблуке развозил коробки по магазинам. Ничем не примечательную внешность Дыни выделял не сразу замечаемый стеклянный глаз с желтушным оттенком, полуприкрытый веком. Лишился глаза в армии на учении, там и сдружился с Тимохиным. И всё

это на весь склад до потолка было наше, наше! Это понимание начисто уничтожало все дурацкие вопросы широких масс о каком-то зверином оскале начального этапа накопления. Эти оппоненты развивающимся новым товарно-денежным отношениям, стоявшие плотной толпой, как на демонстрациях совсем еще недавно, беззастенчиво причисляли себя, видимо, к сонму бессребреников, застывших в праведности благородных физиономий. Всем был дан небольшой процент от продаж, кроме Зинаиды Ивановны, она подрабатывала, фасуя пакеты для розницы. Мараховцев помнил, как после длительного безденежья первый раз позволил себе бутылочку кока-колы, прочувствовав, как приятно пузырьки щеко-чут гортань, а её холод нежно обжигает ладонь. 30 декабря, уже затемно, звезды кажутся ближе, заглядывая в лунку промерзшего окна. Наспех сооруженный корпоратив после разгрузки. Бутылки дорогого коньяка, французский сыр, пахнущий сыром, красная свежая рыба, как-то развратно напоказ уложенная в плоской тарелке, и всё остальное по мелочи. Быстрее, быстрее мыть руки холодной с мылом водой в туалете, горячей нет, и за стол – опрокинуть с мороза рюмочку-другую! А Рита Косых, бухгалтер, в приталенном джинсовом костюмчике, пахнущая западными духами и косметикой, дочка завмага, куда возили пакеты, с родинкой под губой и блудливо скользящим взглядом, является к застолью всегда с опозданием. Наверно, чтобы обратить на себя внимание. Первый тост произносит Мараховцев. Встает с широкой улыбкой, закрывает глаза в удовольствии; начинает говорить, приоткрывая сияющие глаза: «Буду краток, не стану мучить кавказскими длиннотами. За нас, за наше время; их время, раевских-гаевских, прошло, – кивает в сторону корпуса НПО, – и пусть идут себе вишневым садом. За нас, с наступающим! Ура!» Светлана Васильевна поняла про сад: «Ну, вы, Димочка, даё-ё-те». – Качает головой, в глазах усмешка, поднимает стопку. Рита делает вид, что поняла. Тимохин рассмеялся: «А кто они – эти?..» Дыня пропустил мимо ушей, закрутил головой. А Зинаида Ивановна громко крикнула: «Ура!» Звякнули рюмки, стопки, застучали вилки и ножи по тарелкам; настроение взбирается на следующую высоту. Мараховцев тогда напил-ся, потеряв счет выпитым рюмкам. Когда натюрморт стола опростился до одной недопитой бутылки и пустых тарелок с кровавыми разводами кетчупа, Мараховцев возвестил окружению: «А теперь танцуем, все, все танцуем!» Вставил кассету, специально припасенную, в переносной старенький панасоник. «И никакой, никакой нашей попсы, – глянул в сторону Светланы Васильевны, – и никакого там Джорджа Майкла, – зыркнул на Риту, затихарившуюся в углу на коленях у Тимохина». Обняв Витьку за шею, она водила пальчиком по горлу, шептала на ухо, поглядывала в сторону темного неотапливаемого склада. «Боб Марли, только Боб Марли, “Эксэдэс”»! Мараховцев солировал, размахивая руками, страстно топая, старался войти в ритм, подпевая ямайскому растаману: «Эксэдэс, эксэдэс!» Светлана Васильевна с Дыней застенчиво пританцовывали, так, как будто под «Аббу». Рита с Витей растворились в темноте склада. Зинаида Ивановна сидела на стульчике и одобритительно кивала всему происходящему. Мараховцев так отчаянно лупил подошвами с набойками по полу, попадая, не попадая в ритм, что завалилась и покати-лась по столу бутылка с недопитым коньяком. «Эксэдэс, эксэдэс!»

Дмитрий Мараховцев перешел на другую ветку, темного цвета. В вагоне не сесть. Держась за поручень, зажал сумку между ног, задвигал плечами, отвоевывая пространство у толпы. Савва Загудаев покончил с собой; его нашли повешенным на брючном кожаном ремне в замыз-

ганной съемной квартире. В углу стояли потерявшие крутизну гриндерсы, превратившись в скукоженные ботинки. Вещи переживают людей. Их с Тимохиным подкосил кризис, разразившийся тем августом. Долларовые кредиты, из которых было никак не выбраться. Падать больно, иногда невыносимо. Витька Тимохин крутился как мог, пытался снова подняться, кредит на кредит, но в итоге сел крутить баранку такси. С казино смог завязать, конченным игроманом не стал, во время успел «подшиться» от этой страсти, взяв в казино запрет на посещение. Мараховцев тоже, бывало, по выходным наводстрился ставить на зеленое сукно; но с расчетом. Выстроил методику заполнения игрового поля фишками с минимальной вероятностью проигрыша. Азарту не поддавался. Обычно оставался при своих. Он и в жизни остался при своих. А здание, где крутилась рулетка, сгорело; ходили слухи, что дело рук застройщиков. Дыню раздавил трактор. По каким-то делам оказался в деревне. Пьяным прикорнул в тени колеса, удобно пристроив голову. Тракторист не заметил спящего. Стронулся, дал задний ход. Целехоньким остался один глаз. О Светлане Васильевне и Рите ничего не известно, растворились в нулях. Зинаида Ивановна пошла в дворники. А Мазлумяна Мараховцеву как-то довелось увидеть. Тот на пандусе склада принимал с грузового микроавтобуса ящики с пивом. Мазлумян посмотрел на Мараховцева, но отвернулся, сделал вид, что не заметил.

Садик неузнаваемо изменился. По центру раскинулся уютным желтым светом остекленный павильон фастфуда: шаурмы. А вот популяция бомжей, перерывающих урны в поисках пустых банок пива, никуда не делась. Адрес оказался по месту их фирмы. Кирпичное одноэтажное строение, где строили они свои бизнес-планы, снесли; взамен отстроили из современных легких материалов многоэтажный бизнес-центр. Товар принимала девушка с волосами льняной блонд в белой приталенной рубашке и черных плотно облегающих зауженных брюках. Когда подписывала накладную, на руке блеснул модный браслет – серебряная змейка. Офис выдержан в философии минимализма. За мониторами на крутящихся креслах на блестящих ножках с высокими спинками из черной кожи молодые ребята с допускаемой небрежностью небритости. Темно-серые стены. Пространство заполняет мягкий приглушенный комфортный нойз.

Мараховцев спустился со ступенек, тяжело вздохнул, окинул грустным взглядом такой чужой теперь садик, поменял руку, держащую пустую сумку, и побрел к метро. И тут, как с темного неба, так, что он аж посмотрел вверх, на него опустилось и подхватило чувство; заискрилась мысль, и по кровеносным сосудам пробежал веселый чертик. Он развернулся и быстро-быстро пошел на дальнюю аллею. Раскрыл сумку, вытащил петарду, по ошибке лишнюю отгруженную на складе. Воткнул в снег картонную гильзу, запалил фитиль, сломав две спички, чиркая о коробок. Спешно отошел в сторону. «Сегодня, как тогда, сегодня, как тогда», – крутилось в голове. Раздался хлопок. Шум. Свет. Столб огня вспорол темень неба. Летящий фейерверк, летящий долететь, летящий долететь и пожираемый в беспросветную бесконечность. В Мараховцева заехало известное – «всё проходит, и это пройдет», а он взял и крикнул в черное небо – «С наступающим! Ура!».

ПРЕДЧУВСТВУЮ ТЕБЯ

Андрей Будишевский открыл стеклянную дверцу шкафа и вызволил за корешок книжку песочного цвета под оранжевый свет абажура. Освободив «Стихи о Прекрасной Даме» от плотного соседства с книгами в зеленоватых мундирах, страдающих от полноты одышкой, с плохо запоминающимся техническим названием. Закрыв дверцу на ключ. По стеклу пробежали отражения стеблей и листиков бамбука, стоящего в горшке у окна, шторы, подвязанной шнуром с кистью и приподнятой черным плавником крышки рояля. Сел в кресло-шезлонг, вытянул ноги, положил книжку на столик. Сбросил тапки. Нашупал, раздавил прыщик, вскочивший на подбородке вчера. Взял со столика карманные часы, провел большим пальцем по гладкому корпусу, поднял золотистую крышку, посмотрел время. Вздохнул. Положил часы, взял книжку, полистал, вернул на столик раскрытой. Прокрутил заводную головку до упора, посмотрел время, защелкнул крышку, сунул часы в карман. Передвинул нефритовую фигурку чернобородого китайского божка. Посмотрел в окно. Поправил зеленого китайца. Пролистнул страницу, другую; это – нет, это – нет; вот это – то самое: «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо – всё в облике одном предчувствую Тебя», и Андрея Будишевского с первой же строки потащило в облачный, мутноватый осенний денек, когда сфинксы с лицевыми травмами высовываются из тумана времени на невскую набережную. На мокрых ступенях Академии художеств в компании общих знакомых она сразу завладела его вниманием. Барышня его предпочтений. Ни-ни добавить, убавить; с широкой папкой для эскизов. Протянула мягкую, теплую ладонь, когда познакомились. Люба Поцелуева. А взгляд, смущаясь, отвела, остановила на его черно-белом кашне; он плотнее закутал им горло и заметил, как она вздрогнула. За учебный год несколько раз видел её в коридорах Академии, на парадной лестнице, на тех же, покрытых снежком, ступенях. Но подойти не случилось. Или она была не одна, или он спешил по делам. А если начистоту, без придуманных оправданий, не хватало решимости. А вдруг сорвется, ничего не выйдет, получит отказ и войдет он тогда в печаль? И со временем реальность непосредственного восприятия, а с ним и чувство влечения к Любе Поцелуевой стали замещаться фантазией, измышлением. Как графическая ясность линий петербургского классицизма светлым мартовским утром – размытыми акварелями наваждений белых ночей. Бодрствование – дремой. Натурфилософия – метафизикой. И вот с неделю назад встречает Любу Поцелуеву, прогуливаясь от нечего делать по набережной к Стрелке Васильевского. Издали увидел чаемый образ. Засомневался – она, не она? Чувство подсказало – она, Люба! Шершавый гранит набережной, по которому рассеянно, нет-нет да вел ладонью, превратился в нежное пожатие руки Любы. Она шла на этюды. Присматривала место, чтобы непременно был виден купол Исаакия. Идти было вместе минут пять, и этих пяти минут было так много. Что он тогда наговорил, насочинял, и не вспомнить по большей части, и не только о воздушных замках с ка-

питателями колонн ионического ордера; а о разных течениях в живописи, вошедшем в моду кубизме. И что время сейчас такое, такое – предводитель муз, Мусaget, спускается с небес и посвящает чьи очи и сердца открыты новому; надо только оторвать взгляд от академистов, но учиться у них технике рисунка, как положить светотень, – обязательно. Обещал почитать ей стихи символистов. Она приняла приглашение, повторила адрес, прочитал в её мечтательных светло-карих глазах – придет. «Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо, и молча жду, – тоскуя и любя...» Андрей Будишевский отложил книжку, закрыл глаза и собрался повторить строку, как резкий звук дверного звонка, будто ошпарил его, он вскочил, бросился к двери: «Она, она, а он уже засомневался!»

– Думали, и не доберемся, что творится на улицах, а ты дома сидишь, выпадаешь, Андрюша, из жизни, – возбужденно, размахивая руками, говорила Катя в синем платье в кружевах тюля, схваченном тонким шелковым пояском.

– Да проходите, чего в дверях стоять, – попытался сдвинуть с порога своих однокурсников потерянный Будишевский.

– Нет, нет, мы только на минутку! – поправляет белую шляпку Катя. – Ты обещал тюбик красного кадмия. Война! Война!

– Война с Германией, – не дает угаснуть порыву патриотизма её рослый ухажер в черном сюртуке на потемневших, болезненного вида серебристых пуговицах. И переглядываясь со своей спутницей: – И зовусь я теперь не Вольдемар, а Владимир. А как вон того голубчика величать будем? – Кивает на изгиб роля на толстой ножке.

– Ах да, «Шрёдер» же, – не сразу соображает Будишевский.

И пока перебирает тюбики в деревянном ящичке, Катя продолжает просвещать:

– Манифестации, манифестации по всему городу. Поют «Боже, Царя храни!», транспаранты несут «Россия – за правду!», «Победа России и славянству!»

За следующим звонком стоял мальчик, рассыльный, с конвертом. Закрыв двери, Будишевский вскрыл конверт. Читал, как будто уже зная, что там.

Сегодня уезжаю, должна вернуться в Псков, быть с мамой, она часто хворает. Папа получил назначение, уезжает. Обучение приостановила, когда вернусь – не знаю, надеюсь. Люба.

Больше звонков не было. Будишевский открыл шкаф. На стекле объявился отпечаток большого пальца, на который попала краска, когда искал тюбик. Положил книжку поверх тех самых, стоящих в зеленых мундирах, и задержал взгляд на неповторимом узоре линий кожи, выгнутом красной аркой. В поникшую голову молнией залетела мысль: «Так и чувства, должно быть, оставляют отпечатки».

Толик Булавкин последний лестничный пролет проскочил одним махом.

– Машка, шевели ногами быстрее, надо место успеть для мебели подготовить, – крикнул, не оборачиваясь, погружая ключ в замочную скважину.

– За тобой не угнаться, – отбивала ботиночками ровный ритм по каждой ступеньке девушка в белом ситцевом платье в синих квадратах и треугольниках.

Комната с прямоугольным окном почти по всей стене, выходящим во двор, завалена тюками, перетянутыми веревками.

Переезд. Отец Толика Булавкина получил отдельную квартиру в Доме специалистов.

– Давай сперва освободим заднюю стену, перетаскивай ближе к окну. – Толик схватил самый большой тюк и перенес к подоконнику.

– Фу, жарко сегодня, – Маша стянула с головы косынку, распустила каштановые волосы, уложенные на затылке в пучок.

– А тебе идет лохматость, как верный товарищ по техникуму говорю, а не хахаль какой.

– Про книгу не забыл? – Маша волоком тащит через комнату коробку с позвякивающей посудой.

– Помню, помню. В этом, кажется. – Толик толкает носком ботинка тюк, обмотанный простыней, завязанный узлом.

– Идем, идем, Федя. – Идущий первым грузчик руководит процессом. – Налево берем, ставим к стене, плотнее. – Тяжеленный, черт, – пробует рукой на устойчивость шкаф, – с царских времен вещь.

Федя со звездочками сосудов на носу и щеках смотря на Толика, спрашивает как пройти в уборную.

А кто за главного – снимает кепку козырьком назад, приглаживает волосы, чешет широкий низкий лоб, надевает кепку и, ухмыляясь, смотрит вслед Феде:

– Описался уже, а нам еще буфет с шифоньером поднимать... Извиняйте, барышня, – бросает взгляд в сторону Маши.

Булавкин развязывает поклажу, стянутую простыней, принимается перебирать книги. Одна стопка заваливается к ногам Маши.

– А это что за литература? – Поднимает она книжку в обложке песочного цвета. – Стихи, книгоиздательство «Гриф», 1905 год, откуда у тебя такое?

– От прежних жильцов. Бежали от революции.

Маша листает, пробегает глазами страницы.

Толик продолжает копаться в развале книг.

– Мы по уплотнению въехали. Комната с этим шкафом достались. Там еще рояль был, отец рассказывал, как помогал ножки снимать, когда инструмент в музыкальный класс отвозили.

– Читал? – отрывается от страниц Маша.

– Попалась под руки как-то. Начал было. Не моё. Кому-то нравится.

Маша захлопывает книжку. Кладет на пол:

– У нас вопрос о строительстве метро ставится, как в Москве будет. А тут причуды и тоска буржуйские, вредительство уму.

– О, нашел тебе! – Толик вертит в руках книгу по электротехнике в твердой серой с потертыми краями обложке.

Буфет легче. Заносят веселее. Ставят к стене у двери. Федя, отряхнув руки, тут же отправляется в уборную. Низколобый, плотнее натянув кепку, говорит Толику про оставшиеся шифоньер и четыре стула, просит помочь, чтобы за раз поднять.

Спускаясь к стульям и шифоньеру, Толик с Машей обсуждают соединения, последовательное и параллельное, законы Ома. Низколобый, понизив голос, оглядываясь на Машу, толкует Феде за жизнь, что если раньше у них струя была, как ливень, то теперича хилая, как слепой дождик, и в бок норовит уйти.

Поздний октябрьский вечер. Тяжелые свинцовые тучи. Алый закат. К мокрому окну прилипший огненный листик. Влад задергивает шторы, включает торшер. Зрачки карих глаз Нины расширяются, светлый

орех волос приобретает медный оттенок, пуговицы темно-синей облегающей кофточки с глубоким вырезом на груди играют перламутром. А что еще нужно – оно и есть: бутылка красного болгарского вина на столе, коробка шоколадных конфет карагандинской фабрики. Два фужера. Напоминающие формой НЛО, будто исследующие лучом поверхность стола. Но погружающие в глубину чувств. Нина выбирает из коробки тетраэдр конфеты в серебристой обертке, поднимает фужер, медленно пьет, ставит фужер на стол, раздевает конфету и говорит Владу:

– Ты обещал интересные стихи почитать.

Влад допивает вино. Отставляет фужер. Встает, идет к окну, одергивает штору, завернувшуюся на подоконник, раздвигает стекло книжного шкафа, извлекает тоненькую книжку, показывает обложку.

– Ничего себе, – с ноткой удивления протягивает Нина руку. – Дашь посмотреть? Девятьсот пятый год. Раритет. Откуда у тебя такое?

– Соседка подарила, – Влад дает книжку, садится, – она плохо ходит, старенькая, в магазин, бывает, просит сходить. Так и сказала: «Хорошие стихи, Блок, читайте; перед своей девушкой щегольнете». Рассказывала, что у неё книжка от подруги, в одной школе преподавали. Казахстанскую Магнитку строить, или, как говорят, «поднимать», направили мужа подруги во время войны. Со всей семьей из Ленинграда. Не высланные. Муж – специалист. Вернулись потом в Ленинград. Книжку ей оставили. Библиотека у них хорошая. Брала разное почитать. Видели, что любит стихи.

– И каким стихотворением щегольнешь? – Нина возвращает книжку Владу. В глазах гамма чувств волнующего ожидания и иронии.

– А вот это, – быстро находит и неторопливо, вдумчиво читает, с каждой прочитанной строкой поднимая глаза на Нину, как будто ища её согласия...

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо –
Всё в облике одном предчувствую Тебя.

Глаза Влада и Нины находят друг друга. Но мгновение – и она отводит взгляд.

Весь горизонт в огне, и близко появление,
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

– Я изменила облик? – смеется Нина. – Тебе страшно?

– Нет, нет. Какой страх? – Подсаживается ближе и берет Нину за руку. – Совсем наоборот. Я страшно рад, что встретил тебя. Если сказать блоковскими стихами – обрел нечаянную радость.

Нина отвечает нежным пожатием пальцев. Склоняет голову к плечу Влада. Запах её волос дурманит. Влад расстегивает кофточку на две пуговицы, отворачивает воротник, проводит рукой по ямке плеча.

– Нет, – останавливает себя, – сначала поцелуй в губы.

В полировке стола расплываются ландшафтом мезозойской эры бутылка, фужеры, локти, лица... Почему мезозойской? – Потому что любовь.

Гаснет свет. Уличный фонарь раскачивает ветер. Шторы неплотно задернуты и свет желтыми волнами пробегает по стеклу шкафа. На минуту ветер стихает, и на стекле отчетливо узнается отпечаток большого пальца с линиями кожи, выгнутыми аркой. Цвета темного шоколада.

Владимир СЕДОВ

Родился в 1953 году в Горьком. Окончил Высшее политическое училище МВД СССР имени Ленинского комсомола. Работал на заводе, в органах МВД, в научно-исследовательском институте, юристом, председателем фирмы «Русский клуб», министром культуры Нижегородской области.

Прозаик и драматург. Член Союза писателей РФ, председатель Нижегородского отделения Союза кинематографистов России.

Живет в Нижнем Новгороде.

ЗАПОЗДАЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИГОРЯ МАРИНЫЧЕВА НА СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ

За последние годы климат на Земле стал меняться, и не в лучшую для людей сторону. Очевидно, как и человек, наша планета вошла в новую стадию своего развития: или взросления, или старения. И, конечно, эти изменения стали влиять и на людей.

Нет, с физическим телом человека всё понятно, оно независимо от погоды стареет. У кого-то это происходит быстро, у кого-то медленнее, у кого с болезнями, а у кого без.

А вот в душах людей последнее время стали происходить странные перемены. Раньше души ныли за справедливость, за мир во всем мире, а сейчас вдруг начали поскуливать за родину, за память предков и за свои исторические корни.

Сказать, что жизнь у Игоря Маринычева не сложилась было нельзя.

В молодости у него был свой бизнес: шашлычные точки в многолюдных кварталах.

На этом он зарабатывал хорошие деньги. Женился по любви, они взяли ипотеку на квартирку, супруга родила ему двух дочек. Но тут произошел дефолт: бизнес пришлось закрыть. Доходы резко упали, а расходы не только остались на прежнем уровне, но и даже увеличились – дочки подрастали.

А Игорь всё никак не мог опять найти себя в частном бизнесе: законы стали другие, люди другие, он натыкался то на мошенников, то на бандитов. Да и у него самого уже не было того огонька, который был в двадцать пять лет.

«А могло бы быть и лучше!» – говорил Маринычев как бы своей судьбе. Он с этой капризной дамой разговаривал часто. Особенно много предъявлял ей претензий, когда кто-то из его товарищей по возрасту или выигрывал миллиард в «Столото», или получал наследство в Швейцарии.

А после того, как обе дочери вышли замуж и съехали с их квартиры, Игорю дома стало скучно, и он устроился, пусть на небольшую зарплату, охранником автопарковки. К нему заглядывали бомжи, мелкие

воришки и пьяницы. Все они вырисовывали перед ним их выдуманную прошлую счастливую и беззаботную жизнь и настоящую горемычную сегодняшнюю. Он знал, что те врут, но не гнал их.

Со временем он обленился, сильно поправился, перестал мечтать о собственном бизнесе и всё чаще от безделья стал попивать пиво. По ночам на работе с удовольствием смотрел телесериалы, где успешные и крутые парни, стреляя вокруг себя, как поливая грядки, легко и просто решали все вопросы и с деньгами, и с женщинами. Поэтому на работу, в свою маленькую будочку у шлагбаума, он стал ходить охотнее, чем домой, но не унывал, всё так же был весел и беспечен.

Но сегодня утром Игорь проснулся с чувством чего-то недоделанного в его жизни. Насвистывая мелодию о «жизни, которую невозможно повернуть назад», он пару раз присел, покрутил руками:

– Не скрипят, молодцы, – похвалил он свои суставы.

Умылся, почистил зубы, но чувство недоделанности в душе не прошло, что для него было необычным.

Обычно после утренних процедур он быстро собирался и шёл на работу. А сегодня, уже по привычке свернув к метро, он вдруг вспомнил, что вчера его отправили в отпуск.

– И что делать? – спросил Игорь сам себя.

Отпуск был для него давно забытым словом.

С семьей он отдыхал лет двадцать назад, а одному ему отпуск был не нужен. В кинотеатры он не ходил, как, впрочем, и в театры, книжек не читал, но любил смотреть футбольные матчи. Там была неожиданность, постоянная смена ситуации, и именно это ему нравилось. Поэтому свои отпуска он подгадывал под финалы футбольных кубков или местных чемпионатов. Во время матчей он кричал, подпрыгивал и радовался как ребенок за успехи команды, за которую болел в данный момент. А иногда, при неудачной игре его клуба, этот здоровый мужик плакал. Плакал громко, со слезами и взхлёб. Но стоило ситуации выправиться, как он проводил рукой по лицу и опять улыбался.

Сегодня утром, потоптавшись у метро и узнав, что футбола в этот день нигде нет, Игорь не знал, куда ему деваться.

Домой идти не хотелось. Маринычев уже давно считал квартиру, где он жил, не своим домом, а домом жены, куда он случайно зашёл, а выйти никак не может – некуда.

Правда, была еще деревня, где родились он и его родители, и родители его родителей. Его папа, а затем мама вместе с ним уехали из этой деревни, когда ему исполнилось шесть лет.

Там было несколько домов. Особенно любимым был дом бабушки, мамы его мамы, где они всей семьей и жили. Туда он несколько раз приезжал на летние каникулы.

То был дом так дом: пятистенный, с русской печкой, лавкой вдоль всех окон, широким крыльцом и берёзовой поленицей на улице. Сад вишнёвый, рыбалка, пескари, грибы и орехи.

Вспомнив это, Игорь, пока ещё бессознательно, резко развернувшись от метро, пошёл на автобусную остановку и сел на маршрутку, которая ехала к пригородному автовокзалу.

На вокзале стал зачем-то рассматривать график автобусов и наткнулся глазами на расписание движения автобусов на его родину. На душе полегчало, исчезла утренняя неопределенность, и он понял, почему у него появилась неустроенность в жизни: забыл он свою родину!

Забыл, где прошло его детство.

Забыл, как пахнут родники по ложбинкам и перелескам.

Всё забыл.

И ему тут же захотелось исправить свой грех. Он купил билет на пригородный автобус, сел в него, и перед его глазами поплыла долгая пустынная трасса.

Он помнил, что все приезжающие в деревню сходили на трассе у разрушенной часовенки, дальше уже добирались или пешком, или на телеге с лошастью, которую присылали дедушки и бабушки за своими внуками и внучками. Машин тогда ни у кого не было.

Игорь всю дорогу, широко открыв глаза, смотрел на мелькающий за окном автобуса пейзаж, боясь проехать часовенку.

И вот чудо – она показалась на трассе, правда, вся в пыли и обезглавленная временем и погодой.

И Маринычев, ни минуты не сомневаясь, что это тот самый «маячок», попросил водителя остановиться. И, когда тот притормозил, он, поблагодарив, вышел на трассу.

Автобус уехал, и путешественник остался один.

Полная тишина при отсутствии людей и транспорта, особенно после городского шума и суеты, подействовали на Игоря опьяняюще. Кругом расстиралось бескрайнее на все стороны русское поле.

Он развел руки в стороны и запел: «Поле, русское поле... счастьем и болью связан с тобою... мне не забыть тебя сердцем вовек...», и с каждым куплетом он поворачивался в разные стороны, как бы охватывая руками всю свою прекрасную родину.

На душе у него похорошело, и он, сказав «Какой я молодец!», широкими шагами зашагал в сторону своей деревни по едва проглядывающей грунтовой дороге.

Пройдя так с полчаса, он выломал из перелеска молодой орешник, соорудил себе посох и уже с ним, как былинный странник, еще живее двинулся, как ему казалось, в ту сторону, где он провел своё детство.

Пока шёл, вспомнил название деревни и название речки, что текла рядом. Двигался он легко, полный сил и ожидания чуда – чистого, светлого, детского. В воспоминаниях остались какие-то сказочные картинки не столько от реально существовавшей когда-то деревни, сколько от того, что видел в фильмах или читал в книгах. А в памяти очень хорошо сохранилась мягкость грунтовой дороги с тёплой пуховой пылью, речка с чистейшей вкусной водой, полная рыбы и осоки, яблоки словно мед, пахнувшая теплом корова, бабушкин хлеб из печи и деревенские девчонки: смешливые и мягкие как булочки.

Шёл он долго, а деревни всё не было и не было.

Память всё время подбадривала – вон группа берёзок, вроде помню, грибы там собирал, там вон склон пологий и длинный, в детстве был весь усыпан ягодами – клубникой там объедался. Овражек вроде тот, родничок там должен быть с ледяной водичкой, когда пил, аж зубы ломило.

Кругом не было ни души, ни звука от трактора или комбайна, и поля по краям дороги были неухоженные и заросшие сорняками. И вообще ничего не было, даже едва заметная дорога исчезла.

Игорь стал уставать, вокруг стали попадаться какие-то болотины. Чем дальше он шёл, тем больше возникало топей и чахлах берёзок. И никаких признаков человеческого жилья. Только болота и справа, и слева, и впереди.

Деревни нигде не было... Под ногами начало хлюпать. Наконец он вышел на более-мене сухой травяной устойчивый бугорок, там снял обувь и разделся догола.

Решил, что лучше преодолеть это непонятное болотистое место с наименьшими потерями: кругом безлюдно, и можно пробираться совсем без одежды. Как деревню найдёт, вернётся за одеждой, в речке сполоснётся, оденется и явится в деревню перед сельчанами чистеньким, как огурец. Всё-таки родина, надо выглядеть как следует, а не перемазанным, как чёрт болотный.

Что деревня где-то рядом – он не сомневался. Но идти голым по бездорожью и держать в руках одежду, телефон, документы, ключи и бумажник – неудобно.

Он сложил всю свою одежду стопочкой, рядом поставил кроссовки и пошёл по болоту. Голым и босиком передвигаться было не совсем приятно. Осока резала икры, слепни, мошки и комары нещадно кусали, ступни то и дело ступали на какие-то колючки, а через какое-то время их облепили пиявки. Но Игорь упорно двигался к цели. Вот только где эта цель, он не знал.

И вдруг, через час ходьбы, он весь в кровавых потеках и грязи неожиданно оказался на краю той самой полянки, где сложил и оставил свою одежду.

– Вот тебе раз! – удивился Игорь. – Значит, я хожу по кругу? А может, это ещё кто-то ищет родину и одежда эта не моя?

Он подошёл поближе: нет, одежда была его, и кроссовки его, и портмоне, и телефон...

Маринычев знал, конечно: правая нога у него сильнее левой, но не настолько, чтобы так сильно забирать влево. Отчаиваться он не стал и, развернувшись, опять двинулся в сторону предполагаемой деревни, но теперь специально забирая правее.

Всё пространство, которое он уже обследовал на предмет поиска своей деревни, представляло из себя совершенно «дикое поле», на котором, очевидно, в местах бывших погребов образовались болотца, заросшие жёсткой осокой. Вдобавок, насекомые и кусачие болотные гады расплодились там в невероятном количестве.

Игорь, как городской житель, слабо разбирался в топографии и совершенно не знал каким агрессивным может быть мир насекомых в брошенной человеком природе: слепни напоминали уменьшенные копии воробьев, комариные стаи были похожи на облака сумасшедших кровососных вампиров, мошки напоминали живой крем, поедающий кожу по всей поверхности тела.

Вся эта банда с жадностью набросилась на единственного представителя человеческого вида на десятки километров вокруг. Они, дружно объединившись, жалили и кусали наивного путешественника как врага народа.

Вскоре Маринычев стал похож на кровоточащее с головы до ног чудовище. Но он успокаивал себя тем, что раньше людей от всех болезней лечили кровопусканием. Затем он стал себя успокаивать тем, что кровососы выпивают только вредную кровь. А когда дошёл до мысли, что благодаря этому он быстро похудеет, он понял, что если ещё какое-то время поищет свою родину, то останется совсем без крови и тогда уже никакой родины ему будет не надо.

«Хотя, если последние капли крови я потеряю на родовом кладбище, то это и не плохо», – подумал он.

Но даже кладбища нигде не было видно среди болот.

Маринычев, весь перемазанный грязью, изрезанный густыми зарослями осоки, искусанный до кровавых ран слепнями, комарами и пиявками, наконец поняв, что никакой деревни и речки не найдёт, решил вернуться туда, где оставил вещи, но сделать это оказалось не так просто. Следы походов Игоря быстро затягивала жижа, и он уже никак не мог определить, в какой стороне бугорок с его одеждой и какой ногой надо больше забирать – правой или левой.

Он ещё пробродил с полчаса и осознал, что окончательно заблудился.

– Ну вот! – сказал он вслух сам себе. – Всё детство я мечтал стать Робинзоном Крузо и стал, только не на острове, а на болоте.

Силы были на исходе, Игорь решил прекратить поиски и просто выйти куда-нибудь к цивилизации.

Но и это оказалось нелегко.

Когда Маринычев уже совсем отчаялся, то неожиданно услышал случайное автомобильное побикивание. Он решив, что там трасса, двинулся в ту сторону и, поплутав ещё какое-то время по враждебному миру, наконец вышел к асфальтовой дороге.

Будучи не совсем идиотом, Игорь понимал, что если кто-то проезжающий на машине увидит голосующего на пустынной трассе голого здорового мужика, всего в крови и грязи, то, приняв его за психа, конечно не остановится.

Тогда он нарвал большой букет из борщевика – другой фауны по краям трассы не наблюдалось – и им прикрылся, чем добавил себе в промежность бурых ожоговых пятен. Но после пыток болотными тварями эти ожоги ему казались мелочью, как на казни: когда палач перед лишением головы для куража вначале отрубает злодею мизинец.

Маринычев, прижимая к паху ядовитый букет и напевая: «когда мы были на войне, когда мы были на войне...», покрутился туда-сюда и пошёл по дороге.

Через полчаса появилась первая легковушка.

Но от вида голосующего посреди дороги кровавого голого мужика с борщевиком на причинном месте, автомобиль не доезжая до Игоря шустро развернулся и умчался в неизвестную даль. Тоже самое произошло и со следующей машиной.

Игорь, взрослый здоровый человек, сходящий с ума от боли, безысходности и идиотизма ситуации, сел прямо посреди дороги и заплакал.

И когда он уже хотел пойти назад на болота и там утопиться в трясины, подъехала группа МЧС, которую вызвал один из напуганных водителей. Люди в погонах, опытные в таких делах, вели себя профессионально. Они знали, как могут повести себя психи, и поэтому разговаривали мало, плотно упаковали «находку» в спасательное одеяло из блестящей фольги и с мигалками привезли его в ближайший медпункт на краю какого-то поселка. Пока ехали, Маринычев от усталости, моральной и физической, задремал.

Сдали его с рук на руки дежурной медсестре.

Один из МЧСников, уходя, пошутил:

– Радуйся бабка, лешего с болота тебе привезли, но ты с ним поосторожнее, а то кусается.

Она, перепуганная необычным событием, проводила «гостя» в единственную палату и стала звонить фельдшеру.

Тот был уже дома и что-то праздновал. Возвращаться на работу отказался, но пообещал, что сам лично позвонит в районную больницу и попросит, чтобы приехал доктор.

– Жди, – закончил он разговор со своей подчинённой.

Услышав это, медсестра еще больше перепугалась. А на просьбу «гостя» смыть его кровоподтёки и обработать раны, она ничего не сделала, заперла палату на ключ и через дверь прокричала: что вот приедет доктор и тогда... А что тогда – не пояснила.

Через полчаса приехал доктор из райбольницы на своей машине. Им оказался самый обыкновенный психиатр.

Он побеседовал с «лешим» и сделав вывод, что он не псих, отменил вызов психбригады из областного центра. Сделал ему обезболивающий укол и велел медсестре обработать раны.

Затем психиатр, отметив свой визит в книге учета медпункта, велел сообщить родственникам пациента, где тот находится и уехал.

Игорь рассказал медсестре, что свой телефон он оставил вместе с одеждой на безымянном островке среди болот, а на память не помнит ни одного телефонного номера.

Тогда она вызвала к себе на работу внука, и с его помощью они через соцсети нашли профиль старшей дочери Маринычева.

Дежурная медсестра дозвонилась до неё и объяснила, что у них в медпункте её отец, которого голого нашли на трассе в двухсот пятидесяти километрах от города.

Дочь ответила, что этого не может быть, её папа не такой, а какой – дальше объяснять не стала... Но услышав голос отца пообещала, что немедленно выедет за ним. Мама, когда дочь ей сообщила, что случилось с отцом, только пожала плечами. Она и не заметила, что муж пропал.

Медсестра оказалась милой женщиной, дала пациенту чистое мокрое полотенце, чтобы он обтёрся, затем обработала все его раны, накормила своим домашним борщом и рассказала, что деревня, которую он искал, лет тридцать как вся сгинула и в те места давным-давно никто не ходит, кроме охотников да сборщиков клюквы. Да и то в сезоны.

Приехали дочь с зятем, они привезли одежду, обувь, паспорт и медстраховку.

Маринычев уже отошёл от шока и стал, как обычно, весел, смешлив и напевал: «На недельку, до второго... Я уеду в Комарово...»

По дороге домой все молчали. А потом дочь вдруг спросила:

– Папа. Что это было?

– Да ничего, просто моя малая родина, которую я забыл, меня наказала...

Сергей СМИРНОВ

Родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский железнодорожный техникум. Прозаик, сценарист документального кино.

Печатался в журналах «Юность», «Урал», «Нижний Новгород», «Звезда», «Север», «Сибирские огни» и других. Трижды лауреат литературного конкурса маринистики имени Константина Бадигина (Калининградская область), лауреат и дипломант ряда кинофестивалей.

Живет в Москве.

ЗАПОЛЯРНАЯ СЛУЖБА

Экипаж дизельной подводной лодки выстроился на верхней палубе к поднятию флага. Первый помощник придиричиво оглядел строй, подзвал боцмана и что-то тихо сказал. По принятой радистом сводке погоды – минус восемь. Но ощущается как минус двадцать. Балтийский ветер знает свое дело: уже наметал на палубу снежную дробь. С тихой злостью посвистывая, со всей дури налетал сначала на рубку, тут же отскакивал и, разогнавшись, снова обрушивался на людей, давно замерших под его ударами.

Наконец рубочная дверь открылась, и, переступив через комингс, вышел командир кавторанг Швецов. Бросил взгляд на свинцовое набухшее небо, тихо чертыхнулся и, бухая яловыми утепленными сапогами, направился к строю моряков.

– На флаг и гюйс смирно! Фла-а-аг и гюйс поднять.

Швецов, подняв капюшон меховой куртки, взял под козырек. Моряки замерли.

Дед Швецова, ходивший на лодках с конца тридцатых, говорил: «Не гордись, что командир. Гордись экипажем. Они тебе надежда и опора в трудную минуту. Когда идешь мимо строя на подъем флага, загляни в глаза каждому. Тебе с ними в боевой поход идти».

Привычное ощущение ногами палубы дало успокоение. Нервное напряжение, присущее перед походом, отступило. У пирса на швартовых стояла подлодка, слегка раскачиваясь на волне.

– Я к контр-адмиралу с докладом. А ты, Павел Степаныч, особо команду не гоняй. Пускай отдыхают. Узнаю у комдива, что и как, и сразу назад, – сообщил Швецов, на ходу натягивая теплые перчатки. Отдав честь вахтенному начальнику, быстрым шагом, слегка в развалку, не держась за леера сходней, сошел на берег.

Старший помощник долго провожал командира взглядом, пока его коренастая фигура в черной шинели с развевающимися полами и фуражке с кокардой, потемневшей и слегка тронутой зеленью от брызг соленой воды, не скрылась за дверью КПП. Быстро развернувшись, старпом почти вприпрыжку в раскрытую рубочную дверь. Растирая озябшие руки, в центральном посту столкнулся вплотную со старшим механиком Семеновым.

– Павел Степаныч, – пожаловался тот, подойдя к штурманскому столу, – что прикажешь делать, – я уже докладывал командиру: не все

ладно с левым двигателем. Чуть больше обычного греется шестой цилиндр. Полную нагрузку опасаясь дать.

– Ладно, Василь Лукич, не нагнетай. Швецов вернется, поговорю. Вечно ты стонешь и ноешь.

– Я дело свое знаю, – парировал стармех, – взысканий нет.

С этим трудно спорить.

– Между нами, – старпом понизил голос, чтобы боцман с командой ненароком не услышали, – скоро станешь фразмехом. Хотят тебя забрать от нас с лодки. Будешь на бережку в собственном кабинете в тепле и неге бумажками командовать.

– Да ну, – скривился стармех, – чего я там не видел!

– Ладно, не пугайся раньше времени. Командир еще не вернулся. Но тебе давно пора погоны менять.

Озадаченный Василий Лукич, сдвинув пилотку на затылок, медленно отошел от старшего помощника и, так же медленно взявшись за рычаг кремальеры, пригнувшись, перелез через переборочный лаз.

Лодка только что из нелегкого похода, со стрельбами в северных широтах. Сменный экипаж на карантине. Все полегли от гриппа. Но сегодня можно расслабиться. Старпом присел на узкую койку в своей каюте. Позвал вестового:

– Пусть боцман поставит какой-нибудь фильм и соберет к просмотру всех свободных от вахты. И еще: чтобы на камбузе выдали сок и печенье. А как вернется командир, буди немедленно! – после ухода матроса старпом расстегнул китель и устало прилег.

Швецов у контр-адмирала выбил краткосрочный суточный отпуск. Дома жена Оксана и шестилетний сын Юрка. В прихожей домашние его тут же облепили, даже не дали снять и повесить сыроватую, пахнущую железом и морем шинель. Швецов водрузил на голову сына фуражку и, переобувшись в шлепанцы, прошел в комнату. На стене свадебная фотография из ленинградского фотоателье. Он, после окончания училища подводного плавания, в парадной форме с лейтенантскими погонами и кортиком у бедра. Оксана, выпускница мединститута, с большим букетом белых роз в руках. Даже не отметив бракосочетание, следующим утром вылетели из Пулково в место назначения – Северный флот. Затерянный среди гор, оторванный от Большой земли поселок, куда раз в месяц приходил грузопассажирский пароход с продуктами, почтой и отгулявшими положенные отпуска офицерами с подводных лодок.

Оксана быстро собрала на стол. Она всегда торопилась. Ей всегда казалось, что она что-то не успевает. Досадовала, что как следует не встретила мужа. Швецов называл ее состояние «невыполненным приказом». У жен моряков своя вахта – на берегу, без отпусков. Многие не выдерживали, все бросали и возвращались на родину...

Еще до рассвета в квартирной сонной тишине раздался треск дверного звонка. Швецов, едва очнувшись, сорвал с себя одеяло, в майке и трусах побежал в прихожую. За порогом посыльный из штаба дивизиона. Козырнув, матрос передал запечатанный пакет. Швецов, закрывшись на кухне, распечатал и стал читать.

– Что такое? – зашла к нему заспанная, чуть встревоженная Оксана.

– Вызывают. Приказ – срочно готовить лодку. Там с дизелями разбираться надо.

– Егор, как же так, ты же только вернулся! – глаза Оксаны вмиг наполнились слезами. – Нет, я так больше не могу! Жду месяцами, дни считаю, а ты даже на берегу пропадаешь, то в казарме со своим

экипажем, то в штабе, то в ремонтных мастерских, – и разозлилась окончательно, – сколько можно! Ты же в Академию готовился, документы посылал. А меня в Петербурге через знакомых на кафедру обещали пристроить.

– Ты могла бы устроиться в медсанчасти, – буркнул Швецов.

– «Медсанчатъ», – передразнила жена, – одно название. Там ни оборудования, ни инструментов, ни помещения нормального... Назвали бы честнее «фельдшерский пункт».

– Тогда в госпиталь. Сейчас как раз есть вакантное место начальника терапии. Я тебе говорил: пиши рапорт, поступай на контракт во флот. К зарплате врача будешь пайковые получать и за звание тоже...

– Нет, Егор, с меня хватит! Я больше не хочу ходить в продмаг по выюге. Сам пиши рапорт о переводе на другое место! Все равно куда, лишь бы подальше от этих черных скал и ледяного моря. Или я иду к вашему адмиралу и требую, чтобы тебя направили на учебу в Академию. О сыне подумай, ему в этом году в первый класс. Как мы будем ползать в полярную ночь через эти сугробы в школу?

– Не пойду просить теплое место под южным солнцем, – тоже не выдержал Швецов, повысил голос, рискуя разбудить сына за стенкой. – Мы с тобой тогда после загса, помнишь, обо всем договорились. Я буду служить там, где определит командование!

– Тогда я собираю вещи и забираю Юрку, – сузила глаза, – как раз сегодня теплоход. Мы уезжаем домой, я поступаю на работу, с красным дипломом не пропаду, а ты как хочешь, но мы тебя всегда ждем. Доделывай дела и снимайся с якоря, как у вас говорят.

– Ладно, завтракать не буду, – сухо сказал Швецов, на ходу одеваясь, – поем у себя на лодке, в этом доме мне ни один кусок в горло больше не полезет. Вечером постараюсь проводить, – и ушел, хлопнув дверью, в предутреннюю сырость...

На лодке всегда спокойно и понятно. Никто не хнычет и не обвиняет. Все просто: приказы отдаются и выполняются. Лодка – часть его жизни, часть его прошлого, часть его самого. Его отец и дед служили на флоте.

В проеме двери каюты появился старший матрос – кок в белой короткой куртке и поварском колпаке:

– Товарищ командир, завтракать будете? Сегодня по раскладке рис с мясными битками, какао или чай, выпечка, – доложил.

– Давай, брат, неси, – неожиданно для себя бодрым голосом разрешил Швецов, почувствовав после ночной ссоры зверский голод.

После завтрака слегка заправился из маленькой фляжки виски и прилег на койку. Через полчаса по «Каштану» вызвал старпома и стармеха. После их краткого доклада передал письменный приказ о присвоении капитану-лейтенанту Семенову звания капитана третьего ранга с переводом на новую должность флагманским механиком дивизии.

– Поздравляю, – старпом пожал руку Лукичу, – с тебя причитается. Отметим назначение в гарнизонной столовой. Форма одежды парадная. И чтобы новые погоны пришил.

– Отставить пока, – предупредил Швецов, – приказ комдива: готовить лодку к выходу. Экипажу оставаться на местах. Пополнить боекомплект. Получить продовольствие, а судовому врачу – медикаменты.

– Вот тебе бабушка и Юрьев день, – расстроился старпом.

– Отставить религиозные праздники, – сказал Швецов. – Тебе, Василь Лукич, как только прибудет новый старший механик, сдать дела.

На твое место назначен бывший военпред морского завода капитан-лейтенант Дубов. Специалист он классный, но больно ершистый, с заводским начальством не ужился, сам написал рапорт. Пусть займется планово-предупредительным ремонтом. Наверху в курсе, что есть проблемы с двигателем.

Когда Дубов доложил о своем прибытии, его повели знакомить с «железом». Второй дизель остановлен. Форсунки на пятом и шестом цилиндрах льют.

– Надо немедленно заменить негодные форсунки, – решил Дубов, – пусть командир дает команду, поеду на склад, там же и проверю на стенде.

– Проверить можно, – осторожно сказал Лукич, кивая на уже снятые мотористами форсунки на верстачке, – да только с новыми возни будет больше, чем с этими.

– А что вы предлагаете? Времени мало, – перебил его Дубов.

– Как флагманский механик приказываю отремонтировать форсунки здесь своими силами и проверить на нашем стенде, – парировал Семенов.

Дубов опешил. На морзаводе, оснащенном современным станочным оборудованием, рабочие производили сложный капремонт дизелей любых марок.

– Здесь академиком быть не надо, – объяснял Семенов, – надо все сделать спокойно и точно. Приспособы для притирки и паста ГОИ у нас имеется. Матросы отсека обучены. Работа займет часов шесть-восемь, в две вахты управимся. Приступаем, если не возражаете?

И старшины, старослужащие умело и споро приступили к последовательной разборке форсунок.

Швецов вечером попросил Семенова:

– Мне часа на два надо слетать на пассажирский причал. Жену с сыном проводить на материк. Дай свою машину, я туда и обратно. Если спросят из штаба или комдив, скажешь, в судоремонтные пошел.

Швецов гнал по петляющей между сопок дороге. Чуть притормозил у ворот причала, показал удостоверение. Дежурный, козырнув, открыл створки. Машина помчалась к стоявшему у стенки на швартовых тепловозу. Видно, что Оксана с багажом и Юрка ждали его, вертели головой. Швецов выскочил к ним. Юрка обрадовался:

– Папа за нами вернулся. Сейчас поедем домой.

– Нет, – была непреклонна Оксана, – папа приехал нас проводить. Он к нам в Петербург придет. А сейчас у него важная работа, он не может с нами поехать.

Юрка захныкал. Швецов взял сумку и сына за руку, поднялся с ними по трапу:

– Давай, Юрка, покажу, где моя лодка стоит.

На палубе не так много людей. Офицеры стояли отдельно, вцепившись в планширь. Женщины с детьми махали рукой своим провожатым.

Они еще постояли несколько минут. В глазах Швецова защипало. Он, сделав вид, что торопится (он и вправду торопился), посмотрел на часы, крепко поцеловал сына и сбежал по трапу. Уже с причала оглянулся на палубу, где остались Оксана и Юрка, отчаянно махавший рукой. Швецов тоже помахал в ответ, сел в машину и постарался скорее уехать.

Владимир КУЗИН

Родился в 1964 году, образование среднее техническое (авиамеханический техникум) и незаконченное высшее (четыре курса Ивановского государственного университета, филологический факультет).

Работает в охране. Живет во Владимире.

ПРИДУРОЧНАЯ

– Смотри, – парень лет шестнадцати кивнул своей подруге в сторону панельной пятиэтажки. Метрах в десяти от них, среди кустов сирени, за деревом спряталась женщина лет сорока в серой засаленной ветровке и синих спортивных штанах. Держа в руках полотенце, она смотрела на подвальное окошко дома, откуда высунулась серая кошка.

– Прикол, она её поймать хочет, – парень вынул смартфон и стал снимать.

Кошка повела носом. Затем, приняв решение, прыгнула на траву и с опаской, почти ползком, стала подбираться к миске с кормом. И в тот момент, когда она подошла близко к женщине, та накрыла её полотенцем. Кошка заметалась, зашипела и почти выскочила на траву; но женщина ухватила её за хвост. Та завизжала, развернулась и зубами и когтями вцепилась женщине в ладонь.

– Ай! – вскрикнула от боли женщина, но кошку из руки не выпустила. Немного подтянула её к себе и схватила за шерсть на спине.

– Класс! – взвизгнула девушка и захлопала в ладоши.

– Выложим в сеть – наберём кучу лайков, – ответил парень, продолжая снимать...

К молодой паре подошёл мужчина, затем бабуля с трясущейся головой.

– Там чего? – спросила она, кивнув в сторону пятиэтажки.

– Охота началась, – ответил парень.

– Баба кошку ловит, – усмехнулась девушка.

Мужчина присмотрелся:

– На фига ей такая задрипанная? Вся шерсть с башки слезла...

– Поди-ка лишайная, – брезгливо поморщилась бабуля.

Тем временем женщина в ветровке села на колени, подтянула кошку к себе и попыталась зажать её между ног. Но та вывернулась и вцепилась ей в воротник.

– Не получится из тебя наездница! – громко сказал мужчина.

– Молодец, киса, – улыбнулся парень, – сопротивляйся!

– Ату захватчицу! – захлопала в ладоши девушка.

Женщина ухватила кошку за шею и попыталась оторвать её лапы от своей куртки.

– Не сдавайся! – крикнул парень со смартфоном.

– Борись за свободу! – подхватила его подруга. – Может, она тебя зажарить хочет!

– Наверное, бомжиха, – заключил мужчина, – для своих добычу ловит...

– Тогда, может, вмешаться? – бабуля посмотрела на мужчину. – Жалко животинку.

– Ещё связываться, – махнул рукой тот, – бомжам тоже что-то жрать надо.

Тем временем женщина в ветровке под дикий вой кошки оторвала её от воротника; однако та дёрнулась и запрыгнула ей на плечо, затем на спину. Женщина стряхнула её прямо в лужу, забрызгав себе лицо водой. Но кошку тут же схватила и прижала к земле.

Мужчина захохотал:

– Ну, комедия!..

– Ей бы у Куклачёва выступать, – сказала бабуля.

Наконец, женщина, стоя на коленях, зажала кошку между ног. Быстро вынула из правого кармана шприц и стащила зубами колпачок; затем левой рукой оттянула шерсть между лопатками кошки и вонзила иглу ей под кожу. Зажала извивающуюся зверюгу коленями ещё сильнее и ввела содержимое... После вынула шприц и выпустила животное. Кошка опрометью бросилась в подвальное окно...

– Она чего с ней сделала? – спросила бабуля.

– А пёс её знает, – ухмыльнулся мужчина, – баба явно... – покрутив пальцем у виска, он два раза свистнул.

– По-моему, что-то вколола, – ответил парень. – Может, снотворное, чтобы не сопротивлялась...

И он уставился в смартфон.

– Получилось? – спросила девушка.

– Вроде... – ответил тот. – Дома скинем на ноут и посмотрим...

Недели через две парень вышел из-за угла того же дома и вдруг справа от себя сквозь куст увидел ту самую женщину в засаленной ветровке и синих штанах.

Отошёл за угол метров на пять, вынул из кармана смартфон и набрал номер.

– Привет. Слушай, помнишь бабу, которая кошку ловила?.. Да, придурочную. У нас там сколько лайков?.. Да ты что, правда? А комментов? Ни фиги себе! Слушай, она опять здесь. Наверное, снова будет ловить. Я сейчас снимаю и выложим продолжение. Будет бомба. Тем более близко, со звуком... Давай...

Через минуту он выглянул из-за угла дома, подошёл к кусту, и, раздвинув ветки, стал снимать.

Женщина разложила миски и наполнила их едой, затем сменила воду.

Позвала:

– Кс-кс...

Из подвального окна высунулась кошка, принялась и спрыгнула на траву.

Парень присмотрелся... и опешил: это была та самая серая кошка, которую эта женщина ловила полмесяца назад. С той же расцветкой шерсти и тем же рисунком на лбу. Только теперь вместо облезлой доходяги, с язвами и ранами на шее, перед ним была пушистая и чистая красавица с сияющими глазами... За ней выбежали три похожих на неё котёнка и, урча и толкаясь, набросились на угощение.

– Больше не боишься? – улыбнулась женщина кошке. – Вот и умница... Если бы не отодектин, ты бы уже умирала где-нибудь в подвале или под забором. И деток бы своих заразила... Зачем меня исцарапала? – и она показала кошке перевязанную бинтом руку. – Ну, давайте, пока тёплое...

Наевшись, котята принялись играть друг с дружкой в траве; а их мамка сначала осторожно, потом смелее подошла к убиравшей миски женщине и, мурлыча, принялась ласково тереться о её ноги...

Иван ОБРАЗЦОВ

Родился в 1977 году в Бийске, окончил Бийский политехнический институт и Барнаульскую духовную семинарию. Руководитель исторического музея Рубцовской епархии, эксперт издательской комиссии министерства культуры Алтайского края.

Публиковался в журналах «Москва», «Новый мир», «Невский проспект», «Традиции и Авангард», «Юность», «Алтай» и других. Лауреат Всероссийских премий им. А. Дельвига, имени В. Шишкова и других литературных конкурсов.

Член Союза писателей России. Живет в Барнауле.

ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ

Воздушные массы перемещались над планетой с цикличностью времён года и суток, поэтому пляжный песок нагревался летом и днём особенно сильно. Иногда на берег выбрасывало волной несколько свежих ракушек, но они быстро зарывались в песок или смывались обратно в прибрежную мелкоту. По утрам над пляжем сустились птицы, иногда резко бросаясь на рыхлую песчаную поверхность за кусочком съестного – улиткой, мелким земноводным, мёртвой рыбёшкой. Птичьи крики затихали к полудню, и пляж погружался в знойную тишину на фоне шелеста волн.

Чуть дальше от песчаной полосы начинались кусты беспорядочно разросшихся акаций. Между кустами тут и там виднелись осыпавшиеся от времени гипсовые столбики. Три столбика валялись, надломленные ветром и временем. Дальше – остатки дома. Дом занимал особенно большое пространство и никак не хотел теряться в дикой, неухоженной зелени молодых и не очень деревьев. Возможно, когда-то за домом был сад, но сейчас он двигался в сторону воды прямо сквозь стены и крышу.

В кустах лежит что-то похожее на ботинок... или это кроссовка? Впрочем, этот предмет похож на человеческую обувь вообще, но как-то неестественно вывернутую наружу с разбухшей от времени и влаги стелькой.

Кстати, вчера шёл дождь. Мелкий, слабенький, такой навязчиво монотонный. Капало и капало, семенило по гипсовым столбикам и один из них не выдержал, обвалился вперёд, в сторону песчаного пляжа.

А два дня назад стоял страшный треск – это была ночь брачных игр неизвестных и безымянных насекомых. Может цикад. А может, кузнечиков-переростков. Вместе с ними неистово орали лягушки. Лягушки дружно вопили под лунным светом до самого утра. Утром все успокоились и затихли. Наверное, уснули от тяжких и совершенно диких брачных оргий.

За развалинами дома, в зарослях декоративного винограда свил гнездо ёж. Он жил здесь уже несколько сезонов и был матерым охотником на подвальных мышей. Когда солнечный шар начинал скатываться

к горизонту и приближаться к верхним веткам акаций, ёж выходил на охоту. Его угодья простирались далеко за пределы гипсовых столбиков и сада, потому что ёж обитал здесь отшельником и потомства до сих пор не нажил. Хотя иногда он фыркал и прислушивался, ожидая ответа, но ежихи пока не появлялись на его территории. Ёж хотя и состоялся как самостоятельный зверь и владелец территории, но... был в самом рассвете сил и... одиночества, поэтому не терял надежды на встречу с крепкой и активной ежихой.

В одичавшем саду, за кучей то ли наметённых ветром листьев, то ли просто за кучей чего-то растительно-общего, лежало что-то похожее на обмотанный брезентом человеческий торс с двумя ногами в серо-коричневых брюках. Там, где должны были быть ступни, лежал, перекрывая обзор, прогнивший древесный ствол. На стволе разросся мох и сквозь него прорезались и торчали несколько тощих ножек с мертвенно-бледными грибными шляпками. Может, это были и не грибы, но уж совершенно точно очень на них похожие растения.

Шёл неизвестно какой год после исчезновения человечества. Хотя если быть точным, то никаких дней, месяцев, лет не шло, а всего лишь существовали живописный пейзаж и всякая неразумная живность. То, что когда-то кому-то называлось годами, вернулось к своему циклическому ритму без словесных обёрток.

Было всё как обычно, только намного тише и безмятежней омывался водой древний песчаный пляж.

Из будущих книг

Игорь РОДИН

Родился в 1965 году в городе Москве. Окончил Московский педагогический институт им. Ленина, аспирантуру Института мировой литературы РАН. Второе высшее получил в сфере бизнеса.

Прозаик, поэт, переводчик, драматург. Автор многих книг, выпущенных в ведущих издательствах страны: «Вече», «АСТ», «Эксмо» и других. Победитель литературных конкурсов им. Крылова, Достоевского, Куприна, Блока.

Член Союза писателей России. Живет в Москве.

ДОМ НА ЗАДВОРКАХ ВСЕЛЕННОЙ

Фрагмент романа

Я взглянул на Чернецкого. Тот сидел в мятой рубашке, с взлохмаченными волосами и поцарапанной шеей. Большим и указательным пальцем он медленно катал хлебный шарик, который, видимо, машинально слепил еще до того. Было в его внешности что-то странное, чуждое и вместе с тем неуловимое. На какое-то мгновение у меня перед глазами возникла странная картина, которую я видел на стене у своих приятелей. На берегу реки, у подножия поросших кустарником и деревьями гор сидит старец. Взгляд раскосых глаз устремлен куда-то вверх, в горние выси, а рукой он катает в тарелке, стоящей рядом, шарик риса. Сходство определенно имелось, хотя и не внешнее, так как в облике Чернецкого не было абсолютно ничего монголоидного.

— Но ведь это же все какой-то цинизм, — попытался я объяснить свои ощущения. — А цинизм не может дать никакой опоры... Ведь надо же во что-то верить. Каждый человек это ощущает в глубине души...

— Верить? Да ты, брат, никак, э-э-э... религиозный печальник, — фыркнул Чернецкий. — Ну прямо как граф Толстой.

Я не нашелся, что ответить, но тем не менее фраза показалась мне обидной и я надулся.

— Да ты не обижайся. В том, что я сказал, ничего обидного нет. Просто это... м-м-м... стиль жизни что ли такой... Душевная экологическая ниша... Или вот что. Расскажу-ка я лучше тебе притчу. Точнее, притча это или не притча — бог ее знает. Может, была или еще какая-нибудь жанровая абракадабра. Написана в стиле «народный лубок». Короче, слушай.

И, не дождавшись моего согласия, начал:

— Жил-был в Сибири один мужик. Работал на крупном заводе — в их городе он один и был, и почти все население так или иначе там подвизалось. Городишко был вполне заурядный — пара клубов, кинотеатр, гастроним и штук пятнадцать питейных заведений. Большинство в соответствии с этой пропорцией и существовало. После смены принимали «с устатку», по субботам — само собой, а в аванс и получку — святое

дело. Когда в каком-нибудь из клубов появлялась филармония, к событию готовились заранее и встречали деятелей искусств всегда очень тепло. Актеры, в свою очередь, принимались браться с аборигенами задолго до начала представления, а к началу действия мало чем в смысле трезвости отличались от своих заранее благодарных зрителей.

Рассказ Чернецкого лился плавно, и по округлости и законченности фраз можно было догадаться, что это и есть одно из его легендарных «писаний», которое он теперь просто воспроизводит по памяти. А может, это было и не его «писание», черт разберет. К тому времени я уже отчаялся проникнуть в логику его поступков. А Чернецкий тем временем продолжал:

— По выходным в живописном городском парке проходили танцы, с тою же неизбежностью перераставшие в не менее живописный мордобой, с какой в жару кончается пиво, а к старости возникает геморрой. Короче, в городе шла нормальная, будничная, размеренная жизнь.

Однако наш мужик, тот самый, о котором идет речь, был не простой обыватель. Он был интеллектual и даже слегка испорчен великой русской литературой. Он смотрел дальше своих современников и проникал глубже в суть вещей. Он видел под обывательским фасадом зияющие бездны бездуховности и нравственного падения, он то и дело задавался вопросами о судьбах и путях своего народа. И печальны, должен сказать, были его мысли. Конечно, он не все время предавался этим безотрадным размышлениям. Бывало, выйдет по весне солнышко, потянут к нему деревья жидкие маленькие листочки, пахнет свежим ветерком — и сердце мужика наполнится радостью. Пойдет он в лес, станет любоваться, как каждая травинка расправляется навстречу свету, но тут-то и вспомнит, что у людей все не так — и нахмурится. Снова о путях и судьбах начнет думать — и пойдет домой восвояси.

«Нет у людей бога в душе, — горевал мужик. — Ни во что они не верят».

Так бы и прожил наш печальник свой век, если бы в далеком Египте вдруг не затеялось какое-то грандиозное строительство — Асуанская плотина или еще чего, бог весть. Короче, послали нашего мужика, как человека рассудительного и непьющего, в соответствии с разнарядкой, в длительную заграничную командировку.

Насмотрелся там мужик в первые же три месяца всяких чудес, проникся уважением к древности и грандиозности увиденного, но все это, как ни странно, не произвело на него должного впечатления и догнало только через полтора месяца, да и то в совершенно необычном виде. Последним толчком к тому фундаментальному открытию, которое сделал мужик, послужило то, что у него во время посещения какого-то музея сперли кошелек. Ходил он хмурый дня два, а потом вдруг понял, что и здесь, несмотря на пятитысячелетнюю историю, народ столь же бездуховен и так же ни во что не верит, как и там, откуда он приехал. Кроме того, в нем зародились сильные подозрения, что и во всех других странах дело обстоит не лучше. Осознав, таким образом, что не только пути и судьбы его страны, но и мира в целом весьма туманны и зыбки и что все человечество уже занесло ногу над бездной, мужик натурально запил. Пил он основательно и упрямо, самозабвенно предаваясь открывшейся в нем вдруг мировой тоске.

Именно тогда и появился в окрестностях один американец. Звали его Билл, и он занимался тем, что ловил для какого-то своего музея то ли мух, то ли клопов — бог его знает. И вот как-то раз наш мужик, хмуро

блуждая после очередной попойки по пустыне, наткнулся на его палатку. С пьяных глаз общение пошло легко, и скоро завязался разговор на жуткой смеси английского и русского. Рыжий долговязый Билл, как оказалось, немного говорил по-русски, так как на досуге увлекался русскими классиками, в особенности Чеховым и Набоковым. О Набокове наш мужик имел смутное представление, но чеховскую «Каштанку» помнил еще со школы, так что тема для разговора была налицо. Встреча закончилась глубоко за полночь распитием бутылки «Столичной» и пением хором под ночным африканским небом бессмертного народного шлягера «Степь да степь кругом...»

Постепенно знакомцы скорешились. И что примечательно, во взглядах на общую бездуховность и отсутствие веры у них выявилось полное единодушие.

«Эх, елки-палки, у вас там все на доллары меряется! – восклицал мужик, разливая по стаканам американский виски. – А у нас... Эх, бляха-муха!»

«Та-та, все на доллар исмеряется», – вздыхал американец и совсем по-русски махом опрокидывал стакан.

В одном только приятели решительно расходились – а именно во взглядах на весь остальной род человеческий. Мужик считал, что люди в массе жаждут духовного просвещения, но только пока им никто не сказал настоящего, истинного слова, что в каждом «ведь, блин, где-то глубоко эта тоска зарыта». Американец мягко и с достоинством возражал:

«Нет, ти есть ошибаться. Почти весь пипл... э-э-э... людьи вофсье не думать об эта тоска. Они есть дофольны сфоя жизнь. А этот тоска есть тфижитель культура и его достоин только избранный пипл... Такой, как мы с топой, напримьер...»

Со временем спор становился все жарче, пока наконец после очередной бутылки «Столи», выменянной мужиком у кого-то из предприимчивых соотечественников на часы, не было заключено своего рода пари. Американец, искренне полюбив своего русского друга, решил доказать ему на практике, что весь остальной «пипл» «не иметь мировой тоска», и тем самым излечить мужика от напрасных мучений по этому поводу. Кроме того, было чрезвычайно необходимо взять хоть какой-нибудь тайм-аут в ежевечерних возлияниях по причине катастрофического уменьшения предметов снаряжения и денежных средств экспедиции, а также для того, чтобы дать отдых вконец истерзанной печени, успевшей к тому времени приобрести консистенцию вулканического туфа. План действий и сроки наши Прометеи духа оговорили заблаговременно.

Через пару дней друг Билл объявился в окрестностях одного из крошечных оазисов и, выбрав в каменистой гряде по соседству более или менее подходящую пещеру, перетасил в нее из экспедиционного джипа необходимые пожитки – американский спальный мешок с подогревом, американский кондиционер, американскую походную плитку, кучу какого-то другого скарба. Затем накарябал на большом листе фанеры «Махатма Билл, Святой отшельник», прибил его на длинный шест, воткнул в песок перед входом, завалился на спальный мешок и захрапел.

Пари было заключено сроком на три недели, точнее – на двадцать дней для ровного счета. Две недели прошли вполне спокойно. Мимо транспаранта изредка шастали местные жители, а друг Билл тем временем мирно бездельничал и потихоньку оттягивался пивком. Однако в начале третьей недели американец был разбужен фырканием мотора

и приближающимся гулом голосов. К пещере подкатил автобус, из него выгрузилась толпа туристов и, бестолково гомоня, принялась толкаться вокруг спального мешка, пока святой отшельник, сидя перед ними в джинсах и кроссовках, тупо пялился на непрошенных гостей.

Если один автобус вполне можно было объяснить случайностью, то пришедший через день второй автобус поверг Билла в шок.

Кое-кто из местных жителей разбил на почтительном расстоянии от пещеры торговлю прохладительными напитками и экзотическими сувенирами вроде плетеных циновок, стеклянных бус и прочей дребедени.

После третьего автобуса Билли снял кроссовки и закинул их в кусты. После четвертого отправил туда же кондиционер и спальный мешок и сел писать на родину письмо с просьбой выслать ему книги по йоге, восточной философии, истории эзотерических учений и прочая, прочая, прочая. Условленных двадцать дней прошли, но Билли не думал покидать пещеру и возвращаться к в одночасье осиротевшим клопам. Вокруг пещеры тем временем начал образовываться целый городок. На циновках и прочих сувенирах стали появляться аляповатые портреты святого отшельника, и торговля ими шла довольно бойко. Пара портретов махатмы Билла проскользнула в газеты, и родственники на далекой отчизне, обеспокоившиеся на предмет душевного здоровья отца семейства, предприняли попытку официальным путем депортировать его на родину. Но эта попытка вызвала единодушное возмущение местного населения, которое едва не дошло до вооруженного восстания, так что family принуждена была отступить, хотя и на заранее подготовленные позиции. Через пару недель на имя махатмы Билла было доставлено письмо, в котором family требовала процент от торговли, невольным двигателем которой сделался святой отшельник. Прикинув, Билл согласился – требования вполне законные – и обложил данью торговцев. Через еще пару месяцев Билли сляпал вполне пристойное учение – некий коктейль из брошюр и дайджестов, присланных с родины. А где учение – там и ученики. Люди потекли (а соответственно, и денежки) в оазис рекой. Строились гостиницы, рестораны, дороги. Был даже построен огромный центр, в котором последователи святого отшельника могли постигать глубины его учения. Местные жители чуть ли не боготворили махатму Билла и ставили ему памятники при жизни.

Через пять лет великий махатма предпринял мировое турне, распространяя семена знания (и центры своего имени) по всему миру. Family его не беспокоила и почти круглогодично жила то на Гавайях, то на Багамах... Тут, как говорится, и сказке конец.

Чернецкий перевел дух и закурил сигарету.

– А что стало с мужиком? – спросил я, несколько ошарашенный столь неожиданной концовкой.

– Да бог его знает. Скорее всего, тогда же отправили на родину за пьянство и связь с представителем империалистической державы, где он благополучно и спился в ближайшие полгода, так и не найдя того истинного, настоящего слова, которое бы разбудило душу народа.

Повисла пауза.

– И к чему ты все это рассказал? – спросил я наконец, не придумав ничего лучшего.

– Ну, брат, это ты уж сам решай. Нет ничего пошлее, рассказав анекдот, ну, или притчу, потом объяснять, в чем там соль.

Стихи по кругу

Кирилл КЛЕПЦОВ

Нижний Новгород

* * *

Дождь царапал стекло. Ветер пел за окном.
Груша тихо шептала листвою.
А я молча курил и мечтал об одном,
Что вновь скоро увижусь с тобою.
Снег еще не сошёл. Липкий, вязущий снег.
Хоть и в воздухе пахло весною.
Я не знаю нам сколько отпущено лет,
Но их точно не хватит с тобою.
Облака заслоняют печальность луны.
Звёзды падают вниз угольками.
Нас с тобой разделяют недели войны —
Лишь бы не оказались годами.
Да, я знаю, дождёшься. Ты знаешь, вернусь.
Для любви нет ни часа, ни метра.
Я губами к тебе горячо прикоснусь
Под хрустальное пение ветра.
И растаявший снег обернется водой.
Всё вокруг перестанет быть сложным.
Я навеки весь твой. Я навечно с тобой.
Я люблю тебя больше, чем можно.

Вис ВИТАЛИС

Москва

Связь

Иван Кузнецов, украинской пехоты
Боец, укрываясь, лицом у земли,
Зажмурясь, в поднятой до неба пыли,
Лежит и считает прилёты.

Тарас Москаленко, российский солдат,
Вставляет испачканный в масле снаряд,
И связь возникает незримо.

Все неисправимо и предрешено.
А после засеют на поле пшено.
И облака движутся мимо.

За речкою балка, за балкою лес,
Бездонное поле бескрайних небес.
Бескрайнее дикое поле.

И к ночи прибьется дневная жара,
Уляжется пыль и притихнут ветра,
И дождик просыпется, что ли.

Элита

...Но если служил ты в дорожных войсках
То ты не элита, а шлак ты и прах.
Дорожная пыль все скрипит на зубах,
Тебе не купаться в фонтанах.

Элита – тельняшечки нараспах,
Элита – граница, Афган, Карабах.
О, флаги на мачтах, значки о прыжках,
Победные клинья на планах.

Но ты не из этих элитных солдат,
Ты лишь на присяге держал автомат,
Ты – вечно усталый угрюмый дорбат,
Копашешь себе понемногу.

Твое – эта просека, глина и чад,
Мозоли, песок, нескончаемый ад,
Но если ты просто посмотришь назад,
То там ты увидишь дорогу.

Сменились границы, исчезла страна,
Забыта присяга – да, даже она.
И в горных ущельях давно тишина,
И некому спрашивать строго.

Но где-то на севере, между болот,
Чертой через чащу, насквозь, напролет,
Для всех, кто там трудно и скудно живет, –
Осталась
Осталась дорога.

* * *

Денег нету лечить, усыпили кота
Что же, падай во взрослую жизнь, малыш
Кот это только первая высота
Только первая, первая только лишь

Ты любил его, видимо, больше всех
Он был теплый, смешно таращил глаза
Спал с тобой всегда. А теперь тебе
Засыпать одному, в темноте, в слезах

Это первая одинокая темнота
Это только первые слезы, малыш
Впереди еще не одна высота
Ждет тебя, пока ты обессиленно спишь

И когда все высоты одну за одной
Заслонит последняя высота
Ты увидишь, он ляжет рядом с тобой
Ты обнимешь еще своего кота

Александр БАЖЕНОВ

Екатеринбург

* * *

Скрипела вагонетка. Вдалеке
Холмы на глади озера стояли
С резными теремами... Налегке
Мы шли пешком в те сказочные дали.

Закончилось сказанье прежних лет,
Но хорошо опять увидеть эти
На прошлое бросающие свет
Покои, в кои вхожи только дети...

* * *

Голые ветви в огне фонарей,
Будто бы пальцы кошмара.
Пушкинский перечитаю хорей,
Сидя у самовара.
Лягу на печку и веки сомкну,
Дабы забыться немного,
И на мгновение в сон загляну
К ангелу Господа Бога.

У Рождества в корзине

Здравствуй, седая даль:
Избы да мелколесье,
Добрая грусть-печаль
И тишины поместье.
Образ деревни прост
Хоть на какой картине:
Блещут барханы звезд
У Рождества в корзине.

Родинка, роды, род,
Родина — дело в корне
Слов из родных пород,
Снов из долины горней...

В стужу сплошную вхож,
Я приближаюсь к чуду:
Звёздный зажгли чертёж
Те, кого помнить буду...
Так и стою, чудака,
В светлой ночи по горло —
Той, что совиный зрак
Вплоть до луны протёрла.

Ты что-то знаешь о любви или о том,
Какие сны приходят ненароком,
Когда душа раскрыта, словно том
Пред Богом?
Дар красноречья – глупость, шелуха,
Когда вопрос касается поступка.
Любовь – основа вечного стиха,
Голубка...

Санкт-Петербург

Я выдохнул
 почти нечаянно —
при покровительстве небес! —
стихотворенье, как мычание,
простое,
 из простых словес.

Мне было важно:
 не банально!
Лишь то, что просто, —
 гениально!
А рецензенту неприятно,
что всё в моих стихах понятно.

Он с зарубежною оправой
очки наставил в потолок
и от шедевра – Боже правый –
покрылся пятнами и взмок!
Ни в чём не ведая сомнений,
он, искушённый в строках маг,
всё ищет суперизощрений
среди наваленных бумаг.

В нём от простых напевных строчек
то лев рычит,
то желчь клокочет...

Вот он кладёт листок в отчаянье –
и ручка рвётся вон из рук...
Читаю радостно: «Мычание –
Ваш индивидуальный звук...»

А нас учили до погоста:
«То гениальное,
что просто».

Состоялся

Н. К.

Устав от заумных упрёков,
хочу улететь за моря.
Куда мне ещё от пороков,
которые – сущность моя!

То жизни шальные уроки
оставили в памяти хлам.
Когда б не любовь и пороки,
откуда бы взяться стихам?

И тем я немного утешен,
что песни во мне родились!
Да будь в мире каждый безгрешен,
откуда бы дети взялись?

Уставший от рэпов и роков,
судьбы дожигаю свечу.
Да, я состою из пороков
и крупно за это плачу.

Пороки – ещё не остроги,
их можно легко разгрести.
Пороки – всего лишь пороги,
за ними – начало пути.

Увидишь и ты сквозь упрёки,
раскрой только очи свои:
то были совсем не пороки,
а просто ошибки мои.

С таинственной силой пророков
глаголет мой праведный стих:
один – состоит из пороков,
другой – состоялся из них!

Поэту-хвастуну

«За восемь лет издал я 40 книг,
Я в мире поэтическом – орёл!»
Но тут вопрос нечаянно возник:
А сколько ты читателей обрёл?

Застолье, презентация, пикник...
За праздностью поэты не поймут:
Важней не сколько накропал ты книг,
А сколько строк тебя переживут.

Светлана ЛЕОНТЬЕВА

Нижний Новгород

* * *

Погляжу: а звёздам в мире густо!
Под пером – последняя тетрадь...
Нет, Россия – не страна, а чувство
то, с которым легче побеждать!

А закаты рдеют на распятых,
гаснет свет. И мне вдвойне больней
видеть землю русскую в объятьях
новой битвы посреди полей.

Духом птиц проникнуться и с криком
встать с колен. И пусть простят опять
небо, что душе равновелико,
и душа, что небесам под стать!

Татьяна СПИРКИНА

Саранск

* * *

Осень пахнет гнилою листвою, незажившей раной,
Старым гребнем из липы, оброненным на бегу.
Я сказал бы тебе, что случилось со мною, Марья –
Да вот только, боюсь, говорить теперь не могу.

Осень пахнет нелепицей глупой, ужасной вестью,
Чародейством враждебным, героем, упавшим ниц.
Обещался вернуться с удачей на том рассвете –
С лёгкой волчьей шкурой для шубки и рукавиц.
Глуп твой суженый, Марья, да так, что глупей не сыщешь:
Гриб-маслёнок без имени, камень со дна реки.
Что-то бродит по чаще. Под волчьей личиной рыщет.
И оно не даётся – ни в руки и ни в силки.

Я последний дурак, коль расскажам чужим поверил,
Раз доверился луку со стрелами, верным псам.
Возжелал себя шкурой потешить от злого зверя,
Да вот только, прости меня, ладо, – попался сам.
Сколько там пролежал, как очнулся, и сам не помню –
Лишь остались на теле укус да следы когтей...
Если так поглядеть, то как будто и не покойник,
Только руки-то, Марьюшка, руки мои – не те.

Я жестоко плачу за последствия этой дури:
Не закован, не заперт, а всё же почти в тюрьме.
Славный молодец был: голубые глаза да кудри...
А теперь, погляди, – когти, лапы да серый мех.

Не отыщешь меня через яблочко на тарелке,
Своим зеркальцем, Марья, не вытянешь из оков.
Я пришёл бы к тебе даже мёртвым – но сам же крепко
Над порогом твоим оберег прибил

от волков.

*(Я вернулся б к тебе, наречённая, даже нынче,
Даже чудищем страшным – сквозь злобу и волчий вой.
Ты ведь умница, Марья, – поэтому, коль не сыщешь,
Догадайся, запишись. Не пускай меня в терем свой.)*

Глеб ПЛАНКИН

Нижний Новгород

Заснеженное поле

Мы внимательно
смотрели на проводницу.
Ее руки побиты
от холода
и тяжёлой работы
в поезде.

От совсем
не женской работы.

Моё место,
как всегда,
верхнее,
но я сидел внизу.

Напротив
расположился боров
в дорогом пиджаке.
Новый телефон,
фирменные наушники
и всё такое.

Он,
с кислым лицом,
дослушал
работницу РЖД,
повернулся в сторону окна
и спросил:
«Оно закрывается?»

За окном раскинулось заснеженное поле
невероятной красоты.
Но ему это было в тягость,
слишком светло.

«Наверное», —
сказал я.

Мы попытались закрыть его.
Безуспешно.

Я был рад.

Произошла
маленькая победа
красоты
над
тупой и угрюмой
жизнью.

Жук

Я ехал в метро и смотрел на своё
отражение,
пока не заметил женщину
средних лет.

Она аккуратно сняла с себя джинсовку.
Её движения
были деревянными,
люди косились
на неё.

Она развернула куртку
спиной к себе.
На спине была чёрная точка.

Я присмотрелся
и разглядел
в этой точке жука.

Женщина бережно сложила джинсовку,
чтобы не навредить
жуку,

а сидящая рядом бабушка
улыбнулась.

Я тоже.

Уж не знаю, до какой станции
они ехали,
но, наверное,
у жука всё нормально.

Дмитрий БОБЫЛЕВ

Санкт-Петербург

Дом у храма

Жить возле храма, дружок,
Это не возле вокзала.
Вижу цветочный горшок,
Ласковый свет вполнакала.

Слышу: торопитсямышь,
Листья сухие тревожа.
Многого – не разглядишь,
Поздний озябший прохожий.

Как тут разводят огонь –
Суетно или с молитвой?
Что опускают в ладонь,
Жесткую в будничных битвах?

С кем преломляют еду,
Под вопрошающим взором?
Вон я, в тени у забора,
Господи, мимо иду...

1905

На Миколу – прозрачно глядеть в небеса.
Борода индевеет, и льдинки под носом.
Морды фыркают паром и просят овса,
Ошалелая псина летит под полозья.

Через улицу бухнет, вороны – вразлет,
Парень с синенькой дырочкой из-под картуза
Привалился к столбу и насмешливо ждет
Санитарных саней под брезентовым грузом.

Задубевший в сквозном переулке расчет
Жжет газету, укрывшись за клепаной сталью.
И усатый солдат карамельку грызет,
Будто в детстве спеша, чтобы не отобрали.

На такую картинку не хватит чернил,
А конверт надорвется от тяжести груза.
Я пишу, как красивы ночные огни,
Белый лист положив на горелые брусня.

* * *

Быть старше фресок в новом храме
И удивляться все сильнее:
Святые в рукописной раме —
Как люди выглядят вполне.

Залюбоваться и узором
На платье девушки одной,
Так сочетается который
С изящной мраморной волной.

Мгновенно батюшке поверить
За голубой весёлый взгляд,
И тут же мысленно примерить
Его работу и наряд,

Старушкой малой умилиться:
Пришла со списочком грехов,
С огнями свечек взглядом слиться —
Огнем из глубины веков,

И в целлофановом мешочке
Просvirку ласково сжимать,
И у крыльца простой цветочек
Перешагнуть, а не ломать.

Андрей АЛЬПИДОВСКИЙ

Нижний Новгород

Потерянный рай

В одном парке выдуманном, заброшенном,
Жил любитель поспать с вечера до утра,
Не привечавший гостей непрошенных,
И только себе он всегда был рад.

У него был дом с дырявой крышей,
Он спал на лежанке, на которую не текло,
Просыпаясь, смотрел на облака, плывущие выше,
Сквозь дыры в крыше, прозрачные, как стекло.

В парке было много фруктовых деревьев.
На ветвях росли яблоки, красные, как закат.
Ветерок между яблонь прохладно веял,
И журчал ручей — тихий, как речь старика.

Житель парка перед сном говорил с ручьём,
Подробно рассказывал про облака,
В общем, говорили почти ни о чём,
Но важен был ему звук ручейка.

Там всегда было тёплое время года,
Так решил тот, кто придумал парк.
Любителю сна оттуда не было хода.
Да он и не стремился. Вы думаете – чудак?

Однажды, нарушив автора волю,
Он выплянул за ворота (любопытство не порок)
И увидел бескрайнее снежное поле,
И волчью стаю на перекрестке дорог.

Кроме волков, увидел надпись на входе.
Сказал себе: «Мне к ним не пора».
Потому, что прочёл: «Ты совершенно свободен.
Но свобода – это потерянный рай».

Роман БАШКАРДИН

Йошкар-Ола

* * *

Вечерний лес качает тишину,
Темна вода под пологом тумана –
Нисходит август к ветхому окну
И остаётся повестью багряной
На листьях бересклета и рябин,
В пылице зари, над золотом колосьев,
И если ты меня тихонько спросишь –
Тебе отвечу – здесь я не один.
Со мной мой храм у зеркала реки,
И лёгок день в оттенках светлой грусти,
Глазами неба смотрят васильки
В святую синь, что величают Русью.
Со мной мой Бог – внутри и наяву –
Над дымным долом кланяется вечер
И на ладонях первую звезду
Несёт тебе, предвосхищая встречу.

* * *

И приходит декабрь, неприкаянный,
То ли год завершая, то ль век,
То ли к душам, от века отчаянным,
Искуплением падает снег.
Тихо-тихо идёт за околицей,
Неприметно укрыв сединой,
Остроглавие храмовой звонницы,
Отражённое тёмной водой.

Так бывало и исстари водится,
Что щитом от несметных врагов,
Над Россией сама Богородица
Расстилала свой светлый покров.
Так уходят лета и столетия,
Точат копыя враги (имярек),
А над Русью извечным бессмертием
Серебрится
и падает снег.

Елена КОЛЕСНИКОВА

Воронеж

Вечер в Новом Афоне

Будто положив себе предел –
Лес колхидской тенью изредел
И пестрит гортензией подвялой,
На гору навалено валом
Августово пыльное добро
Все – в цветочек крупный, полинялый.

Недалёко от монастыря,
В синеву прохладную смотря,
Разбрелись сермяжные домишки.
Завечерний мается приход,
Благодея, солнце раздаёт
По кусочку – голубой излишек.

В звонной запылённой жаре –
Ни воды, ни сил не пожалев,
По округлым камням мелководья –
Речка, что-то южное журча,
На огне закатном горячась,
Облачное пятнышко выводит.

Уплывает в сумраке Апсны,
Варом отекают травяным
Шторы, ополоснутые в сини,
Тишиной безветренного дня
Выветрило горе из меня –
В монастырской иверской чистильне...

Вечер

Ржавой патиной
Небо тронуто –
Вечер.
Нежно схвачены
Мягким сумраком
Плечи.

С веток липовых
Ранним тлением
Тянет,
Лето зрелое
Цветом сорванным
Вянет.
Время вымыло
Горстку золота
За день.
Для моих давно
Рыже-выцветших
Прядей.
По ладони мне
Луч потерянно
Водит –
Всё сбылось уже,
Что предсказано
Вроде.

Неба зеркало
Грозно-алое –
Ветер.
Всё безжалостней
Давит на сердце
Вечер.
Всё прозрачнее
Отражение
Солнца.
Мной испита жизнь
До хрустального
Донца...

* * *

Вечер встал у перелесицы
Красной свечкой на яру.
Ёлки – мрачные насельницы –
Разбрелись по пустырю...
Чёрных куколей наворачия
Устремлённо-высоки,
Ни надменного безгрешия,
Ни надуманной тоски.

Уже солнца силы светлые –
В сто свечей – невелики,
Тянет холодом и пеплом мне
С догорающей реки
И в иное счастье верится...
Я, бродя по пустырю,
Будто ёлочки-насельницы
Засмотрелась на зарю.

Публицистика

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

Родилась в городе Бугульме, Татарстан. Окончила Орловский государственный педагогический институт. Работала учителем, преподавателем кафедры русской литературы Орловского госуниверситета. Доктор филологических наук, профессор, историк литературы.

Автор трех монографий и свыше 500 литературоведческих и художественно-публицистических работ о творчестве Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, И.А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы.

Удостоена золотого диплома VI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» за книгу «Христианский мир И.С. Тургенева» (издательство «Зёрна-Слово», 2015), а также награды «Бронзовый Витязь» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» за статьи-исследования творчества Ф.М. Достоевского.

Лауреат премий журнала «Зарубежные записки» (2014, номинация «Эссе. Литературная критика»), журнала «Наш современник» (2018, номинация «Литературная критика. Литературоведение»).

Член Союза писателей России. Живет в Орле.

СТРЕМЛЕНИЕ К ВЫСШЕЙ ПРАВДЕ: Н.С. ЛЕСКОВ И Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Часть 1

В нынешний год 195-летия Николая Семёновича Лескова (1831–1895) и 205-летия Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881) образованное человечество с признательностью вспоминает славные имена великих классиков мировой литературы. Интерес к их творчеству с годами не угасает, но возрастает. Чем больше читаешь и изучаешь этих русских писателей, тем более убеждаешься, что их художественные миры, уходящие корнями в Святое Евангелие, столь же неисчерпаемы, как и Новый Завет с его заповедями о жизни вечной.

«Миры внутри миров», художественные вселенные, созданные творческим гением Лескова и Достоевского, ярко индивидуальны, неповторимо своеобразны. И в то же время они сопоставимы, при всей их безмерности – соизмеримы по творческой мощи, масштабам дарования. Так, Игорь Северянин в стихотворной строке о Лескове уравнивал его талант с талантом Достоевского: «Достоевскому равный, он – прозёванный гений».

До недавнего времени слова о русском прозёванном гении звучали горькой истиной. Если Достоевского уже его современники воспринимали как «пророка, призванного сказать новое слово», признавали за ним право на «роль общественного руководителя»*, то Лескова

* Лесков А.Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памяткам: В 2 т. – М.: Худож. лит., 1984.

при жизни и долгое время после смерти не могли оценить по достоинству. Слишком неудобным для тех, кто «справа» и кто «слева», оказался выступавший против политических направлений («направленской узости» и «направленской лжи»*), плывший «против течений» писатель, привыкший слушаться исключительно голоса совести – Божьего голоса в душе. По поводу издания одной из своих книг Лесков однажды заметил: «я опять ни на кого не угодил и очень этому рад».

Не «угодил» Лесков и многим ортодоксальным оппонентам, желающим зачислить его в стан «врагов церкви» на том основании, что писатель, по образному выражению, выметал сор из храма:

Что до меня, то я давно себе это решил и покоен: я смерил мои силы и окинул глазом работу <...> “Вижу, что в храме торгуют и что торговля мешает быть в храме тому, что должно быть там”. И понял я, что прежде всего надо выгнать торгующих в храм и вымести за ними их мусор, и тогда, когда горница будет подметена и постлана, – придёт в неё Тот, кому довлеет чистота, и нет Ему общения с продающими и покупающими. И я взял метлу и всё выметаю мусор и гоню к выходу торговцев, и почитаю это за моё дело, которое я умею и могу делать, тогда как другого, большего, я не умею делать и если бы взялся за него, то сделал бы его худо и не принёс бы даже и той пользы, которую, может быть, принёс, поталкивая торговцев и выбрасывая их помёты за церковный порог.

Писатель, усвоивший с детства «счастливую религиозность» в семье, где «никого <...> нельзя было заподозрить ни в малейшем недоброжелательстве Церкви», заявлявший о себе: «Я не враг Церкви, а её друг, или более: я покорный и преданный её сын и уверенный православный» – обладал полнотой морального права, чтобы указать на церковные «нестроения» и «немощи», тогда как до Лескова у русской церковной истории были в основном только «кадиловозжигатели»**. О цели своего освещения темы Церкви писатель выразился недвусмысленно: «я не хочу её опорочить; я ей желаю честного прогресса от коснения, в которое она впала, задавленная государственностью».

Правдивые христианские исследователи справедливо полагали, что «Лесков едва ли не ближе всех подошёл к тайне русского Православия <...> Он творчески раскрыл многое в нём, создав художественную легенду Православия. Древние христиане, подвижники “Луга Духовного”, прологов и патериков, русские святые, архиереи, миссионеры, священники, нищие, странники, юродивые, православный народ – все вошли в эту легенду»***.

И по сей день не жалуют неугодного гения в его Отечестве. До настоящего времени не издано полное собрание сочинений Лескова. Начиная с 1996 года вышло половина томов из задуманных 30. Если полное издание сочинений Лескова когда-нибудь осуществится, поистине будет установлен антирекорд затянутости в книгоиздательском деле. В то же время бесперебойно печатается громадными тиражами развращающее и оглупляющее людей массовое бульварное чтиво. Такая политика красноречиво свидетельствует о её расхождении с «*высшей правдой*».

* Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – М.: ГИХЛ, 1956–1958.

** Лесков А.Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памяткам: В 2 т. – М.: Худож. лит., 1984.

*** Дурыйлин С.Н. О религиозном творчестве Н.С. Лескова // Христианская мысль. – Киев. – 1916. – № XI (ноябрь).

«Высшая правда» – Христос. По суждению Достоевского, «Христос был вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек». Человеческая личность в произведениях Лескова и Достоевского предстаёт не только как «натура» – в индивидуальном, социально-психологическом, конкретно-историческом планах, – но и в плане религиозно-нравственном, вневременном, в устремлённости к «вековечному идеалу».

С убеждением Достоевского в том, что «совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного», был солидарен Лесков: «Бог запрещает мне делать дурное, вложив в меня совесть, через которую я распознаю добро и зло. Тогда этот Бог и будет моей нравственностью». Достоевский в свою очередь утверждал: «Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всём заблудимся. Нравственные идеи есть. Они вырастают из религиозного чувства, но одной логикой оправдаться никогда не могут. На той почве, на которой вы стоите, вы всегда будете разбиты. Вы тогда не будете разбиты, когда примете, что нравственные идеи *есть* (от чувства, от Христа)».

Оба писателя воплотили в своих героях – с их речью, мироощущением, душевными порывами – все существенные особенности русского национального характера. Не случайно по произведениям Достоевского и Лескова иностранцы пытаются постичь загадку русской души. Томас Манн справедливо отмечал, что Лесков писал «чудеснейшим русским языком и провозвестил душу своего народа так, как это, кроме него, сделал только один – Достоевский».

«Истина, добро и красота» – в этой триединой формуле Лесков выразил идеал, к которому необходимо стремиться. По горячему убеждению Достоевского, «истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим». Так оба писателя объединились в сущностном понимании жизни.

Но их межличностные отношения носили сложный характер. Не просто складывалась и судьба взаимоотношений творческих. Хотя самое их начало было, казалось бы, безоблачным.

Примечателен следующий историко-литературный факт. Всемирно признанный ныне лесковский шедевр «Леди Макбет Мценского уезда» (1864) первым высоко оценил Достоевский. Издававший в те годы вместе с братом Михаилом журнал «Эпоха» Фёдор Михайлович охотно опубликовал в первом номере журнала за 1865 год повесть молодого автора, только вступавшего на литературное поприще. Достоевского, трудившегося в те же годы над «Преступлением и наказанием» (1866) – первым романом «великого пятикнижия», – лесковская «Леди Макбет...» наверняка привлекла неординарной проработкой вопросов преступления и наказания, новаторским исследованием личности и психологии преступника.

Прошедший по политическому делу петрашевцев через обряд смертной казни, каторгу и ссылку Достоевский, будучи автором «Записок из Мёртвого дома» (1862), в основу которых легли документальные впечатления от пережитого в омском остроге, признал безошибочность художественной обрисовки в «Леди Макбет Мценского уезда». Лесков писал об этом автору книги «Среди отверженных» Д.А. Линёву:

Мир, который вы описываете (т. е. жизнь каторжников), мне неизвестен, хотя я его слегка касался в рассказе «Леди Макбет Мценского уезда». Я писал, что называется, «из головы», не наблюдая этой среды в натуре, но покойный Достоевский находил, что я воспроизвёл действительность довольно верно.

Это письмо датируется 5 марта 1888 года, то есть более двадцати лет спустя после публикации повести в «Эпохе». Очевидно, что первый опыт сотрудничества с Достоевским был чрезвычайно дорог Лескову, и он до конца дней своих сохранял отрадное воспоминание о благожелательном отношении к нему со стороны его старшего современника.

Впоследствии взаимодействие Лескова с редакторами журналов почти никогда не было гладким. Поэтому раннее знакомство с Достоевским-редактором столь тепло помнилось долгие десятилетия: «такое сочувствие редактора и мне нужно и дорого, – даже очень дорого. Это напоминает отношение Достоевского при печатании “Леди Макбет”», – писал Лесков издателю и редактору газеты «Новое время» А.С. Суворину – своему «коварному, но милому благодетелю» 12 апреля 1888 года.

В то же время помнился Лескову и невыплаченный гонорар: «журнал “Эпоха”, удовлетворив почти всех своих сотрудников, остался мне должен 150 р.». Сумма по тем временам немалая. Особенно если учесть, что Лесков оказался в крайне бедственном положении, не получив вознаграждения за свои труды, опубликованные в других изданиях: «Газета “Северная пчела” недодала мне 800 руб., мною заработанных; <...> “Библиотека для чтения” закрылась, оставшись мне должною 4950 рублей, и всё это раз за разом, одно за другим». Претерпевавший нужду Лесков не раз просил у Достоевского напрямую или через критика Н.Н. Стрехова выдать гонорар за «Леди Макбет...». Но выплата откладывалась, затем был выдан вексель. Лесков им не воспользовался. Будучи на грани нищеты: «мне буквально нечего есть; у меня нет средств работать новой работы, которая бы меня выручала из беды <...>; мне нечем заплатить полутора ста руб. за дочь мою, обучающуюся в пансионе <...>, и я не могу отдать 200 руб. долгу г. Краевскому, – что меня стесняет до последней степени», – Лесков проявил особую деликатную участливость к Достоевскому, который в те годы оказался в столь же бедственном материальном положении: «Векселя своего на г. Достоевского я не представляю, потому что литератор этот нынче, как говорят, сам в затруднительных обстоятельствах».

На грани отчаяния обратился Лесков в Литературный фонд с прошением предоставить ему ссуду в 500 рублей, которые обязывался возвратить с процентами, завершив работу над пьесой «Расточитель»: «Средства для отдачи этого долга я имею: эти средства – моя драма <...> средства же не умереть с голода и продолжать работу без такого пособия Фонда решительно не вижу». Писательская организация отказала в этой просьбе, но в виде снисходительной милостыни предложила «оказать некоторое пособие автору <...> предварительно собрать сведения о положении г. Лескова». Писатель не принял фарисейского подаяния. Он немедленно ответил, как только узнал о постановлении Литературного фонда: «Не имея способности принимать от кого бы то ни было безвозвратных пособий, я тем более далёк от желания получить их от членов русского литературного общества, которое отозвалось, что оно меня не знает и в кредите мне отказывает». Так литературные псевдособратья – пигмеи в сравнении с Лесковым по масштабам творческой одарённости – в очередной раз ханжески от него отреклись.

«Славы не ищу, совести боюсь, в деньгах нуждаюсь» – такую надпись сделал Лесков на своём фотографическом портрете, подаренном критику В.П. Буренину, выступавшему в последние годы жизни писателя с одиозными статьями (в 1890-е годы в газете «Новое время» он

поместил ряд резких заметок и фельетонов о лесковских сочинениях). Эта фотография с лесковским автографом хранится в Доме-музее писателя в Орле.

Драму «Расточитель» (1867), несмотря на стеснённость в средствах к существованию, Н.С. Лесков завершил. Пьеса имела успех у зрителей. Директор императорских театров предрекал ей десять лет сценической жизни, но ошибся в расчётах: «Расточителя» играли, не переставая, полвека. Жаль, что сейчас пьесу редко увидишь на подмостках театров. В наше время она не теряет своей актуальности, только звучит всё более остро. Лесков изобразил вечный конфликт добра и зла, воплощённый в современном мире буржуазно-юридических установлений. 60-летний торговец Фирс Князев – «вор, убийца, развратитель» – пользуется своим положением «первого человека в городе» и продажностью суда. Его антипод – добрый и деликатный Иван Молчанов – предстаёт в роли мученика, жертвы тиранического произвола властей. Молодой человек, обращаясь к «хозяевам жизни» – своим истязателям, обличает беззаконие: «Вы расточители!.. Вы расточили и свою совесть, и у людей расточили всякую веру в правду, и вот за это расточительство вас все свои и все чужие люди честные – потомство, Бог, история осудят».

Сразу после похорон Достоевского, которого в числе многих тысяч почитателей в последний путь провожал и Лесков, он писал Суворину:

О Достоевском я имею свои понятия <...> я его уважал и имею тому доказательства. Я бывал в критических обстоятельствах (о которых и Вы частью знаете), но у меня никогда не хватило бы духу напомнить ему о некотором долге, для меня не совсем пустом (весь гонорар за «Леди Макбет»). Вексель этот так и завалился. Я знал, что требование денег его огорчит и встревожит, и не требовал.

Лесков даже и после смерти Достоевского не мог не размышлять и не писать о нём. В «рассказе кстати» «Интересные мужчины» (1885) похороны Достоевского писатель назвал «событием в истории», солидаризируясь с общими откликами: «Репортеры столичных газет лучше меня описывают все подробности этих величественных, можно сказать, *исторических* похорон замечательного человека».

В рассказе «Два свинопаса» (1884), практически не переиздававшемся со времени первой журнальной публикации, Лесков апеллирует к идее Достоевского о благотворности очистительного страдания:

Истинное христианское чувство выносит иной приговор: «Не дай Бог быть сторонником тех крайностей, какие видели в словах покойного Достоевского об универсальной пользе каторги»; но я думаю, что для искреннего, который умышленно сделал несчастье всей жизни другого, есть только два средства примириться со своей совестью: надо или сделаться рабом несчастного, или же отстрадать за свои неистовства, как того требует справедливость.

В очерке «По поводу “Крейцеровой сонаты”» (первоначальное заглавие – «Дама с похорон Достоевского») (1890) Лесков также продолжал вести творческий диалог с Достоевским.

Тем более – при его жизни – литературно-общественная деятельность Достоевского неизменно находилась в орбите внимания Лескова: в беседах, письмах, заметках, статьях, рассказах, очерках. «Исключительно высоко» ставил он «Записки из Мёртвого дома», по воспоминаниям его сына и биографа А.Н. Лескова: «Когда мне исполнилось 12-13 лет, он принёс мне “Записки” и сказал: “Читай внимательно, лучше этой книги редко что доведётся тебе читать”».

При совпадении с Достоевским в суждениях, литературных оценках Лесков спешил выразить ему горячую признательность. Прочитав в «Дневнике писателя» статью Достоевского о романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (1877), Лесков под воздействием глубокого впечатления отозвался незамедлительно, на что указывает датировка его письма «Ночь на 7 марта 1877 г.»: «Сказанное <...> так хорошо, – чисто, благородно, умно и прозорливо, что я не могу удержаться от потребности сказать Вам горячее спасибо и душевный привет. Дух Ваш прекрасен, – иначе он не разобрал бы этого *так*. Это анализ *умной души*, а не головы. Всегда Вас почитающий Н. Лесков».

С жаром высказанное в письме неподдельное душевное движение отразилось также в некоторых других лесковских отзывах о Достоевском. Лесков называл его «полнодумным», «прозорливым», «великим тайновидцем». Преамбула малоизвестного лесковского рассказа «Счастье в двух этажах. (Киевский вариант живых людей к “бумажным” людям Невы)» даёт представление о своеобразии личности и творчества Достоевского, о жгучем интересе к его произведениям в самых разных читательских кругах мыслящей России:

Осенние книжки «Отечественных записок» бурного 1875 года приносили любителям чтения великую радость – «Подросток» Ф.М. Достоевского. Как всякое произведение этого полнодумного и многострастного пера, и это повествование великого тайновидца страстей человеческих давало обильную почву для споров и для толков самого противоположного характера в самых разнообразных кружках. Обсуждали его и устно и печатно, и журналы и газеты, и студенты Университета и Духовной Академии, медики и художники с Васильевского острова, в офицерской и чиновничьей и просто обывательской среде за обеденным и чайным столом и от дворцовых зал до маленьких хибарок.

Настоящее заступничество по отношению к Достоевскому проявил Лесков в статье «Граф Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как ересиархи (Религия страха и религия любви)» (1883).

Вместе со своим другом и духовным союзником, знатоком истории Церкви профессором Ф.А. Терновским (1838–1884) Лесков заявил о своём согласии с Достоевским. Работа полемически заострена против книги К.Н. Леонтьева «Наши новые христиане Ф.М. Достоевский и гр. Лев Толстой» (М., 1882).

Леонтьев обвинял обоих писателей в ереси утопического, «розового» христианства:

Об одном *умалчивать*; другое *игнорировать*; третье *отвергать* совершенно; иного *стыдиться*, а признавать *святым и божественным* только то, что наиболее приближается к чуждым Православию понятиям европейского утилитарного прогресса, – вот черты того христианства, которому служат теперь многие русские люди и которого, к сожалению, провозвестниками явились на склоне лет наши литературные авторитеты.

Леонтьев был убеждён, что каждый христианин обязан прежде всего «внимать о своём загробном спасении, а всё остальное приложится». Размышляя о страхе Божиим, выдающийся публицист, незаурядный литературный критик и религиозный мыслитель пришёл к выводу, что это «страх от избытка земного благоденствия».

Лесков опровергает леонтьевские постулаты о том, что в христианском вероучении превалируют мотивы страха и покорности, идеи о «наказаниях, о страхе, о покорности властям, родителям, господам, –

о проклятиях непокорным, гордым, неверующим»; что любовь – это лишь плод страха. Писатель не может принять максимализма Леонтьева. По мнению Лескова, критик «в кичливом ортодоксальном азарте» не только извращает христианскую позицию Достоевского и Толстого, но и представления о самой сути христианства, истинный смысл которого – *в совершенной любви*.

В Священном Писании последовательно проводится спасительная идея об избавлении человечества от страха смерти всеобъемлющей любовью Господа нашего Иисуса Христа. Это было возведено пастухам при Рождестве Божественного Младенца: «Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2: 9–11). Святой апостол Павел говорит, что Христос освободил людей от страха, пришёл «избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2: 15). В Новом Завете повествуется о том, как Господь не раз ободряет, избавляет от страха перепуганных людей: «ободритесь; это Я, не бойтесь» (Мк. 6: 50); «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12: 32).

Пневматология (духоведение) любви и страха как религиозно-нравственных, философских, этико-психологических начал составляет ядро художественного мира Лескова. «Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4: 18) – эти слова евангелиста Иоанна часто повторял писатель и даже сделал эпиграфом к одному из «рассказов о трёх праведниках» – «Несмертельный Голован» (1880).

Лесков выражал своё согласие с Достоевским, призывавшим в речи о Пушкине к всеобщей любви и солидарности: «Чувство общечеловеческой любви, внушаемой речью Достоевского, есть чувство хорошее, которое, так или иначе, стремилось **увеличить сумму добра в общем обороте человеческих отношений** (выделено мной. – А. Н.-С.). А это, бесспорно, – честно и полезно». Само христианство, по мысли Лескова, «было бы тщетным и бесполезным, если бы оно не содействовало умножению в людях добра, правды и мира. Если так, то любвеобильные мечты Достоевского, хотя бы в конце концов они оказались иллюзорными, всё-таки имеют более практического и плодотворного значения, чем зубовный скрежет г. Леонтьева».

Лесков сочувствует упованиям Достоевского на историческое призвание России изречь слово примирения, указать исход европейской тоске. Это русское национальное свойство Достоевский определил как «всечеловечность». Лесков поддерживает эту позицию. Верит, подобно автору речи о Пушкине, «в прогресс человечества, в будущее блаженство всех народов, в воцарение на земле благоденствия и гармонии, в торжество любви, правды и мира». Ради достижения этой величайшей цели, убеждён Лесков, «мы можем и должны всеми зависящими от нас средствами **увеличивать сумму добра в себе и кругом себя** (выделено мной. – А. Н.-С.)».

Факт лесковской защиты Достоевского от нападок Леонтьева – одно из значимых доказательств близости религиозно-нравственных воззрений и творческих устремлений двух гениальных русских писателей.

В свою очередь Достоевский прозревал мощный талант не только в ранней повести «Леди Макбет Мценского уезда», но и в зрелом творчестве Лескова.

Непосредственная встреча двух писателей произошла на страницах журнала «Русский вестник» за 1871 год. Здесь буквально одновременно, в одних и тех же номерах публиковались частями романы Достоевского и Лескова на схожую тему – о разрушительном воздействии воинствующего безбожия в России – «Бесы» и «На ножах». Уже в первых главах романа «На ножах» (1871) Достоевский увидел гениально созданные художественные типы, поставил их выше гоголевских. Об этом он писал А.Н. Майкову в январе 1871 года:

Читаете ли вы роман Лескова в «Русском вестнике»? <...> Какова Ванскок (героиня романа, молодая нигилистка Анна Скокова. – А. Н.-С.)! Ничего и никогда у Гоголя не было типичнее и вернее. Ведь я эту Ванскок видел, слышал сам, ведь я точно осязал её! Удивительнейшее лицо! Если вымрет нигилизм начала шестидесятых годов, то эта фигура останется на вековую память. Это гениально! Но какой мастер он рисовать наших попики! Каков *отец Евангел*! Это другого попики я уже у него читаю.

До настоящего времени остаётся не выясненным, образ какого священника – «другого попики», изображённого Лесковым, имел в виду Достоевский. К 1870-м годам, начиная с раннего творчества, Лесков уже создал множество замечательных образов православных священнослужителей. Первым среди них был сельский священник отец Илиодор – главный герой дебютного лесковского рассказа «Погасшее дело» (1862) (впоследствии – «Засуха»). В подзаголовке автор указал: «Из записок моего деда». Дед Николая Лескова умер ещё до рождения внука, но будущий писатель знал о нём от отца и от тётки Пелагеи Дмитриевны: «всегда упоминалось о бедности и честности деда моего, священника Димитрия Лескова», – и, возможно, воплотил в первом литературном опыте некоторые его черты.

В характере этого героя многое уже предвещает центральную фигуру романа-хроники «Соборяне» (1872) – Савелия Туберозова, на прототип которого прямо указывал писатель в «Автобиографической заметке» (1882–1885?): «Из рассказов тётки я почерпнул первые идеи для написанного мною романа “Соборяне”, где в лице протоиерея Савелия Туберозова старался изобразить моего деда, который, однако, на самом деле был гораздо проще Савелия, но напоминал его по характеру». Дневник Савелия – «Демикотоновая книга» – открывается датой 4 февраля 1831 года – это день рождения Лескова: так писатель биографически включает себя самого в заветный текст дневника своего героя – бесстрашного проповедника слова Божия, являет свою родственную и духовную сопричастность «мятежному протопопу».

Отец Илиодор в «Засухе» – столь же привлекательный и мощный художественный образ. Имя героя созвучно имени пророка Илии, по молитве которого Бог ниспослал дождь на иссохшую землю. Отец Илиодор – настоящий *батюшка* для крестьян, живущий их жизнью, их нуждами; бескорыстный, готовый без всякой мзды отпевать молебны о дожде, дабы предотвратить неурожай и голод. Доброжелательный, участливый, отечески заботливый отец Илиодор наряду с другими «уповательными» (по лесковскому слову) образами подтверждает мысль Достоевского об особенном таланте Лескова: «какой мастер он рисовать наших попики!».

Некоторых своих героев-священников Достоевский сознательно или скорее подсознательно изобразил с опорой на лесковские художественные образы русского духовенства. Так, А.А. Измайлов – «изрядный,

по основному образованию, знаток церковности» – уловил в образе старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы» (1881) черты старца-отшельника Памвы – «беззавистного и безгневного», «согнуби ему – он благословит, прибей его – он в землю поклонится, неодолим сей человек с таким смирением!» – из «рождественского рассказа» Лескова «Запечатленный ангел» (1872): «в облике Зосимы в “Карамазовых” Лесков, если бы был ревнив, мог бы уловить брезжащие тени своего Памвы»*.

Достоевский внимательно прочёл «Запечатленного ангела» – уникальное творение, в котором (по восхищённой оценке Измайлова) «литературная живопись перелилась в чистую литературную иконопись!...», – и в статье «Смятенный вид» (1873) присоединился всеобщим одобрительным отзывам:

Известно, что сочинение это многим понравилось здесь в Петербурге и что очень многие его прочли. Действительно, оно того стоит: и характерно и занимательно. <...> Особенно выдаются в рассказе беседы раскольников с англичанином об иконной живописи. Это место серьёзно, хорошо, лучшее во всем рассказе.

Более того, о лесковском рассказе, который «нравился и царю, и пономарю», журнал «Русский мир» сообщал: «ещё до появления его в печати он читается уже по рукописи с живым и непривычным для нашего времени сочувствием».

Однако литературная критика тех лет по отношению к Лескову в целом оставалась равнодушной и поверхностной, чаще – предубеждённой и несправедливой. Сознывая это, Достоевский отмечал: «Удивительная судьба этого Стебницкого (псевдоним Лескова. – А. Н.-С.) в нашей литературе. Ведь такое явление, как Стебницкий, стоило бы разобрать критически, да и посерьёзнее».

Часть 2

В то же время отношения Лескова и Достоевского не были гладкими, характеризовались не только взаимным притяжением, но и отталкиванием – порой в одно и то же время. Так, «после чтения прекрасного рассказа г-на Лескова» «Запечатленный ангел» у Достоевского возникли сомнения в правдоподобности развязки – перехода артели раскольников в православие: «повесть г-на Лескова оставила во мне впечатление болезненное и некоторое недоверие к правде описанного. Она, конечно, отлично рассказана и заслуживает многих похвал, но вопрос: неужели это всё правда?». В статье «Смятенный вид» содержится прямой выпад в адрес Лескова: «автор не удержался и кончил повесть довольно неловко. (К этим неловкостям г-н Лесков способен <...>). Он, кажется, испугался, что его обвинят в наклонности к предрассудкам, и поспешил разъяснить чудо».

Обвинение в «неловкостях» – по словам сына Лескова, «нечто, глубоко оскорбившее и выведшее из всякого равновесия» – писатель парировал, усмотрев некоторые «неловкости» в текстах Достоевского.

Внук священнослужителя, генетически родственник Православию, блестящий знаток Священного Писания, церковной истории, жизни и быта русского духовенства – Лесков к обсуждению этих вопросов

* Лесков А.Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памяткам: В 2 т. – М.: Худож. лит., 1984.

подходил и с художественных позиций, и с позиций энциклопедически образованного учёного-богослова; выигрывал в точности их освещения и мог указать старшему по возрасту и положению в литературе Достоевскому на отдельные его оплошности и промахи.

Лесков любил давать своим произведениям меткие наименования, чтобы «кличка была по шерсти». Статьи-ответы на колкость Достоевского имели названия не только меткие, но и чуть едкие: «О певческой ливрее» (1873), «Холостые понятия о женатом монахе» (1873).

Достоевский немедленно отозвался статьёй «Ряженный» (1873). Полемизируя с «Псаломщиком» и «Свящ. П. Касторским» (псевдонимы Лескова), Достоевский укорил оппонента за искушение уязвить по мелким, незначительным поводам: «Подумаешь, что за страшные преступления натворил этот Достоевский: *простить* даже невозможно! Духовное лицо, которое, казалось, должно бы быть сама любовь, и то простить не в состоянии!..» – и выдвинул свою программу художественного изображения самой сущности жизни: «Но для повествователя, для поэта могут быть и другие задачи, кроме бытовой стороны; есть общие, вечные и, кажется, вовеки неисследимые глубины духа и характера человеческого».

Не прошло и года после этой полемики, как в «Дневнике Меркула Праотцева» (1874) Лесков «загвоздил» новую «загвоздочку» в адрес Достоевского, назвавшего последовательниц модного в светских кругах ирландского проповедника лорда Редстока «светскою беспоповщиной». Разобиженные дамы даже вознамерились «ему отвечать на эту дерзость!» Повествователь упросил их не делать этого, а лучше молиться за Достоевского: «Это вы ему должны простить. Да, как христианки, как матери и как хорошенькие русские женщины, простите ему эту маленькую грубость и помолитесь за него. Он не сообразил, что людей, крещённых в церкви и исполняющих её таинства и обряды, нельзя назвать *беспоповщиной*. Это с ним хроническое: всякий раз, когда он заговорит о чем-нибудь касающемся религии, он непременно всегда выскажется так, что за него только остаётся молиться: “Отче, отпусти ему!”».

Достоевский отвечать не стал. «Спасибо, на этот раз “отпустил” и сам оплошавший», – остроумно заметил Андрей Лесков. Впрочем, Достоевский признавал за Лесковым бесспорный авторитет в освещении жизни и быта русского духовенства, о чём свидетельствует заметка в записной тетради 1880–1881 годов: «Лесков – специалист и эксперт в Православии».

Однако более специализации и богословской начитанности ценил Достоевский сердечное знание христианства. В «Дневнике писателя» он справедливо обратил внимание своих искушённых в догматике оппонентов на «сердечное знание» русским народом Христа:

Знает же народ Христа Бога своего, может быть, ещё лучше нашего, хоть и не учился в школе. Знает, – потому что во много веков перенёс много страданий и в горе своём всегда, с начала и до наших дней, слыхивал об этом Боге-Христе своём от святых своих, работавших на народ и стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится. Поверьте, что в этом смысле даже самые тёмные слои народа нашего образованны гораздо больше, чем вы в культурном вашем неведении об них предполагаете, а может быть, даже образованнее и вас самих, хоть вы и учились катехизису. (Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. 1876. Апрель);

...Сердечное знание Христа и истинное представление о Нём существует вполне. Оно передаётся из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ Его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. (Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. 1873. V. Влас.)

И всё же, по мнению Лескова, в религиозных вопросах Достоевский проявлял «более страстности, чем сведущности». Данное представление нашло отражение в статье «Граф Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как ересиархи (Религия страха и религия любви)» (1883):

Пишущий эти строки знал лично Ф.М. Достоевского и имел неоднократно поводы заключать, что этому даровитейшему человеку, страстно любившему касаться вопросов веры, в значительной степени недоставало начитанности в духовной литературе, с которою он начал своё знакомство в довольно поздние годы жизни и по кипучей страстности своих симпатий не находил в себе спокойности для внимательного и беспристрастного её изучения.

Это же суждение Лесков развивает в статье «О куфельном мужике и проч. Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом» (1886):

Достоевский же знал Священное Писание далеко не в такой степени, а исследованиями его пренебрегал и в религиозных беседах обнаруживал более страстности, чем сведущности. Поэтому, будучи умён и оригинален, он старался ставить «загвоздки», а от уяснений и от доказательств он уклонялся: загвоздит загвоздку и умолкнет, а люди потом всё думают: что сие есть? Порою всё это выходило очень замысловато и забавно.

Так, творческое взаимодействие Лескова и Достоевского зачастую строилось на полярностях: «влечение друг к другу сменялось отталкиванием, понимание – отчуждением, симпатия – антипатией. Одного лишь никогда не было – равнодушия»*. О сложности писательских взаимоотношений, иногда дарующих удовлетворение, иногда – обиду и горечь, часто – то и другое вместе, также говорит следующее упоминание в письме Лескова к П.К. Щербальскому от 16 октября 1884 года, уже после смерти Достоевского: «в изданном томе писем Ф. Достоевского он говорит даже о какой-то моей “гениальности” и упоминает о “странном моём положении в русской литературе”, а печатно и он лукавил и старался затенять меня».

Литературная критика XIX столетия в основном подчёркивала и раздувала неприязненную сторону между двумя писателями. В советском литературоведении также за аксиому принималось однозначное суждение В.В. Виноградова о Достоевском и Лескове: «несмотря на кажущиеся внешние соприкосновения их литературных позиций на почве своеобразного народничества, оставались чуждыми друг другу по основному направлению творчества».

В действительности оба гения отечественной литературы по основному – христианскому – направлению творчества совпадали. В эпоху трусливого фарисейства, когда жить «очень тяжело, и что день, то становится ещё тяжелее. “Зверство” и “дикость” растут и смелеют, а люди с незлыми сердцами совершенно бездеятельны до ничтожества», Лесков и Достоевский явили собой новый тип писателей – духовных

* Богаевская К.П. Н.С. Лесков о Достоевском: 1880-е годы, Литературное наследство. – Т. 86.

наставников, носителей непраздного учительного слова. Проповеднический пафос, обусловленный стремлением величайших художников слова донести до ума и сердца читателя слово вечной истины, подкрепляется авторитетом Евангелия, словами Христа: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12: 36–37).

Лесков, не терпевший ни в каком деле «скорохвата», предъявлял чрезвычайно высокие требования к писательскому труду: «добросовестность должна быть во всём, – и прежде всего в писании, – зафиксировал лесковские слова П.В. Быков. – <...> Что может быть хуже “коекакошников” в литературе? <...> Единение, помощь друг другу для самосовершенствования – это ведь тоже относится к добросовестности... У меня рассказов на эту тему довольно... Только они – не глас ли вопиющего в пустыне?» Писатель с болью и гневом пишет о «родоначальниках журнальной богемы в России», «беспочвенной и безнатурной стае петербургских литературщиков», о тех «псевдолитераторах», которые превратили искусство в грязную «лужу», «доступную всем без патентов и дипломов».

В статье «Первенец богемы в России» (1888) Лесков указал на высочайший поучительный образец бескорыстного, самоотверженного служения литературе в лице Достоевского:

В литературе известен такой случай: тайный советник Мережковский повёз к Ф.М. Достоевскому сына своего, занимавшегося литературными опытами. Достоевский, прослушав упражнения молодого человека, сказал: «Вы пишете пустяки. Чтобы быть литератором, надо прежде страдать, быть готовым на страдания и уметь страдать». Тогда тайный советник ответил: «Если это так, то лучше не быть литератором и не страдать». Достоевский выгнал вон и отца и сына.

В этой статье Лесков комментирует записки своего земляка-орловца, ставшего петербургским «борзописцем», Владимира Бурнашева (литературный псевдоним – Виктор Бурьянов). В отличие от самого Лескова, независимая позиция которого в стремлении к истине принесла писателю многие «злострадания», «первенец богемы в России» Бурнашев «не терпел и не желал ничего претерпеть ни за какое убеждение; литература у него не была искусством и служением исповедуемой истине или идее, а у него она была *средством* для заработка, и только». Лесков остерегает желающих стать литераторами ради материальных благ и выгод:

Как средство к жизни литература далеко не из лёгких и не из выгоднейших, а напротив, это труд из самых тяжёлых, и притом он много ответствен и совсем неблагодарен. <...> Кто не хочет благородно страдать за убеждения, тот страдает за недостаток их, и это страдание будет хуже, ибо оно не даст утешения в сознании исполненного долга <...> Кто не любит литературу до готовности принести ей в жертву своё благополучие – тот лучше сделает, если вовсе её оставит.

Достоевский и Лесков – величайшие художники слова, знатоки жизни и русского духа – чутко и внимательно прислушивались к позициям друг друга. Лесков заочно вёл с Достоевским большой диалог по проблемам русской народной религиозности и русской Церкви – об их развитии и взаимовлиянии. Вслед за Достоевским он проводил в своих произведениях идею о необходимости взаимного братского доверия – «взаимоверия» – людей как детей общего Отца Небесного.

Народные христианские упования в духе Достоевского получили отражение в лесковском очерке «Обнищеванцы (Религиозное движение в фабричной среде)» (1881), опубликованном в год смерти писателя-пророка.

Памяти Достоевского хотел посвятить своё произведение Лесков. Он писал 13 февраля 1881 года славянофилу И.С. Аксакову, редактору газеты «Русь», изъявившему желание опубликовать очерк: «...Есть практический ответ на профетские (пророческие. – А. Н.-С.) вещания покойного Достоевского, и я думаю: не посвятить ли рассказ его памяти?... Как вы думаете? Я предоставляю это вашему усмотрению и спорить и прекословить не буду. Если по-вашему это хорошо, – допишите: “посв. памяти Фед. М. Достоевского”».

Впоследствии Лесков отказался от этой мысли, чтобы не давать предубеждённой критике повода для кривотолков: «Посвящения Достоевскому не хочу. Столько толков и от таких истолкователей, что мне это решительно претит. Эпиграф и упоминание о нём в первых строках – это гораздо более относится к делу и гораздо целомудреннее. Вся эта история есть *иллюстрация* к его теориям. Н. Л.».

Лесковские письма, связанные с созданием и публикацией этого произведения; желание посвятить его памяти «недавно почившего собрата»; эпиграф, в котором варьируется идея Достоевского из «Дневника писателя», – всё это убедительно свидетельствует о солидарности позиций двух великих русских писателей.

Совсем незадолго до смерти Достоевский в «Дневнике писателя» за январь 1881 года высказал свои заветные мысли о доверии к русскому народу:

На это есть одно магическое словцо, именно: «Оказать доверие». Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду. И не нужно никаких великих подъёмов и сборов; народ можно спросить по местам, по уездам, по хижинам. Ибо народ наш, и по местам сидя, скажет точь-в-точь всё то же, что сказал бы и весь вкупе, ибо он един. И разъединённый един и сообща един, ибо дух его един.

Рассуждением о необходимости доверия со ссылкой на Достоевского открывает Лесков свой очерк «Обнищеванцы», развивая и обогащая мысль, заявленную в эпиграфе: «Нашему народу можно верить, – он стоит доверия»:

Я очень счастлив, что могу поставить эпиграфом к настоящему очерку приведённые слова недавно почившего собрата. Почёт, оказанный Достоевскому, несомненно, свидетельствует, что ему верили люди самых разнообразных положений, а Достоевский уверял, что «нашему народу можно верить». Покойник утверждал это с задушевною искренностью и не делал исключения ни для каких подразделений народной массы. По его мнению, *весь народ* стоит доверия.

Вслед за Достоевским Лесков также настаивает на доверии *ко всему народу в целом*, признавая несостоятельными порочные попытки «сортировать» народ на «лучший» и «худший»:

...Это напряжённое рвение к Богу, эта готовность стать за мир, эта вера в призвание своего народа <...> – словом, всё это, что создало такой экстатический порыв, не свидетельствует же о «растленном и безнравственном элементе»,

каким любят представлять русского фабричного. О нет, и сто раз нет! Это тот же самый цельный русский народ, с его восхитительным стремлением к добру и к вечности.

В «Обнищеванцах», первоначально задуманных как часть цикла рассказов о праведниках, писатель иллюстрирует своё убеждение примерами духовной практики целого сообщества людей, живущих в соответствии с евангельскими идеалами, заповеданными Христом.

Очерк Лескова публиковался вначале в газете «Русь», а затем в сборнике «Русская рознь». Название сборника отражало тематическое и жанровое разнообразие представленных в нём произведений: рассказы и очерки. Однако слово «рознь» – в значении *разъединение, разобщение, отчуждение* – как нельзя более подходило для характеристики капиталистической эпохи, в которую рушились все человеческие связи. Как писал Лесков в повести «Запечатленный ангел», не только между людьми, но и «с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы всё казалось обновлённое, как будто и весь род русский только вчера насадка под крапивой вывела». Ранее, выражая своё отношение «к людскому разномыслию, разночувствию и разностремлению» в статье «Русские общественные заметки» (1869), писатель говорил о глобальных масштабах этой «розни»: «С тою же основательностью, с какою нападает человек на человека, или сословие на сословие, или даже нация на нацию, нападает даже и одно время на другое».

С «русской рознью» вступает в противоречие идеал взаимного доверия – «взаимоверия». Лесков впервые употребил это выразительное определение в «Запечатленном ангеле» и возвёл в этический принцип, способный противостоять всеобщей обособленности и вражде, в очерке «Обнищеванцы».

Главный герой Иван Исаев – Исаич – невымышленный «фабричный пророк», «фрустальный старичок», «сколь чист, сколь мужествен и преподобен!»; «это такая доброта и такой мечтатель, что подобно-го ему нельзя выдумать. Смирен без меры, но везде ведёт себя с достоинством». Он явился основателем реального движения питерских рабочих-«обнищеванцев», убедив всю «братию» «обнищать до совершенства»: «Они сделали удивительную штуку на текст Достоевского “нашему народу можно верить”, – они всё истолковали в смысле евангельского нестяжания и устроили кружок “нестяжателей”. Всё, что зарабатывали, то и раздавали “слабым”, а себе “ожидали милости от Господа”». Лесков писал И.С. Аксакову: «Именно “всем можно верить”, – всё способны перетолковать “во славу Божию и славу России”. И не забудьте, что ведь все обеспортчонились до последнего лохмотья!.. И последнее у них обобрала дама, нигилистка»; «А зато жили-то, жили в какой чистоте!» Герои очерка – «фабричное отребье», «чудаки, но чудаки тёплые и живые. Серьёзное и детское у них так мешается, что не разберёшь» – наделены «духовной доблестью», «страстным порывом к евангельскому совершенству».

В последних выпусках «Дневника писателя» Достоевский размышлял:

...Народ русский в огромном большинстве своём – православен и живёт идеей Православия в полноте, хотя и не разумеет эту идею ответчиво и научно. В *сущности* в народе нашем кроме этой «идеи» и нет никакой, и всё из неё одной и исходит, по крайней мере, народ наш так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением своим. <...> Я знаю, надо мною смеялись наши интеллигентные

люди: “той идеи” даже и признавать они не хотят в народе, указывая на грехи его, на смрад его (которым сами же они виной были, два века угнетая его), указывают на предрассудки, на индифферентность будто бы народа к религии, а иные даже воображают, что русский народ просто-напросто атеист. Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе Церкви. (Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. 1881. Январь);

Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит Его в своём сердце искони. В этом нет никакого сомнения. (Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. 1873. V. Влас.)

Заветные пророческие раздумья Достоевского: «Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нём присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово <...> Он верит, что спасётся лишь в конце концов *всесветным единением во имя Христово*» – на устах и в мыслях лесковского героя «*о счастии всечеловеческом* – о безгневности во едином Богопознании»; о деле братского единения, «которое должно начаться с преславных державы Российския <...> только через неё может произойти святое дело – объединение всего мира»; «путь ко всеобщему спасению всего мира через русских людей».

Готовя очерк к печати, Лесков писал И.С. Аксакову: «Любителям настоящего, не раскрашенного духа народного это может нравиться, потому что тут все в своём соку, и умность, и темнота, и главное, – вера неодолимая, и стремление непременно обнять и спасти “весь мир”».

Через обнадеживающие примеры «*взаимоверия*» Лесков показывает моменты духовно созидательного взаимного отклика общего и индивидуального, целого и части, мира и личности, «**ибо без доверия друг к другу жить невозможно**» (выделено мной. – А. Н.-С.). Эта идея стала одной из наиболее плодотворных в системе религиозно-философских и социально-этических взглядов Лескова и получила наиболее полное художественное выражение в рассказах о праведниках.

В «Обнищеванцах» просматривается несомненное родство размышлений Лескова и Достоевского о характере народного религиозного чувства и его роли в духовной жизни человека и общества. Автор очерка сближается с Достоевским во взглядах на «народ-богоносец». Важно в этой связи отметить, что Лесков выпустил книгу повестей, дав ей название не просто выразительное, но принципиально важное, православное – «Русские богоносцы» (1880).

Прочную опору в хаотическом мире «разгильдяйства и шатаний», когда духовные ценности и сами понятия о добре и зле становились размытыми, относительными, оба писателя обрели в христианстве, усмотрев в нём смысл не догматический, а вневременной, вечный (внесоциальный и внеисторический). Достоевский и Лесков видели в Православии не одну только догматику и обрядовую сторону, а прежде всего «*живое чувство*», «*живую силу*».

Вникните в Православие, – призывал Достоевский, – это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском христианстве, по-настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, в нём одно человеколюбие, один Христов образ, – по крайней мере, это главное.

Лесков, как и Достоевский, считал Православие «не только верою, но и своего рода духовным знаменем русской народности»: «простая,

прямая и тёплая душа» ищет «опоры в вере народной, народнее которой для русского человека – нет, как наше родное Православие, во всей неприкосновенной чистоте и здравости его учения», учения, соответствующего трансцендентной сущности человека как образа и подобия Божия.

В то же время, по убеждению Достоевского, «сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека». Оба писателя были глубоко уверены в том, что основой нравственного преобразования человека и общества должно явиться христианское самосовершенствование личности как путь к «торжеству любви, правды и мира»*. Совершенствование, считал Лесков, – первостепенная цель бытия на земле – для должного приуготовления себя к жизни вечной: «существование наше всё-таки не случайность, а школа, воспитательный период, никак не более, и затем состояние, какого “не видел глаз и не слышало ухо”». Писатель цитирует здесь духовное откровение апостола Павла: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2: 9).

Великих русских художников слова сроднило стремление к истине, явленной Христом и сохранённой православной верой.

* Лесков Н.С. Граф Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как ересиархи (Религия страха и религия любви). Новости и Биржевая газета. – 1883. – № 1. – 1 апреля.

Вехи памяти

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М.И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии им. А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017) и других.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ЖИЗНЬ. СМЕРТЬ. ПОЭЗИЯ

Слово о Глебе Горбовском

Вот живём мы на свете, живём, гоним прочь пугающую нас мысль о смерти, поём жизнь, хотим жить кто как – кто в полную силу, кто тихо и осторожно, «как бы чего не вышло» – и совершенно не знаем, что же такое Время.

Не можем его объяснить. И – изъяснить. В искусстве. А надо ли?

Есть поэты, художники, музыканты, что ведут себя во Времени не как в тюрьме, а как на широкой разудалой воле, на грозовом просторе: нагло, расстёгнуто, распахнуто, ветер насквозь, хочешь, залётная пуля, меж рёбер воткнись, хочешь, дикий ветер, с ног сбей, а я всё равно свободен, ибо я – не инерция и не послушание, не покорность и не приспособленчество: я есмь свобода!

Это редкие личности. Они обречены на высокое страдание внутри Времени своего, но ведь они сами свою стезю выбрали. Бог дает право выбора всем: и тем, кто верует в Него свято, и тем, кто не верует в Него.

Жизнь поэта необъяснима, непредсказуема. В стихах своих он – наиболее настоящий; и вдвойне счастлив тот поэт, чья судьба равновелика его стихам, – тот человек, про коего невозможно сказать: в стихах он один, а в жизни (был, есть...) совсем другой. Подлинность и убедительность стихотворений в этом случае проверяется лакмусом поступков. Жестов. Можно молчать. Но – протянуть руку. Можно не написать очередные стихи; не опубликовать их в очередном журнале! А просто привести замёрзшего на улице, голодного, дрожащего, – домой, накормить его и напоить, согреть и спать уложить.

Мне возразят: стихи – ведь это тоже поступок!

Да. Это поступок. Поступь, шаг по дороге жизни. Если ты, художник, по завету Льва Толстого, во главу угла творчества своего ставишь искренность, искренность, искренность.

Поэзия – не лицедейство. Поэзия – не лживый пафос.

Поэзия – это биение сердца твоего. Однажды оно остановится. И, значит, ты должен спешить. Не терять ни минуты из назначенного тебе на Земле сердечного огня, суждённой тебе работы духа.

Таким поэтом, на разрыв аорты, на полную открытость миру, Богу, жизни и смерти, был Глеб Яковлевич Горбовский.

И жил и творил он в городе, знаковом для русской поэзии, – Ленинграде – Санкт-Петербурге.

* * *

Хлебнул Горбовский сызмальства, с самого детства военного, горя и горя. Сирота, и это означало либо гибель на улице – от снаряда ли, с голоду, – либо, если посчастливится, – детский дом. Всё, что позднее стало именоваться в книгах «острым сюжетом», мальчишка пережил: он видел преступления, колонию, колючую проволоку, слышал вой сирен и грохот взрывов... Вот не зря были написаны знакомые всей послевоенной стране «Фонарики»! Если я скажу, что мы, дети, среди прочих тюремных и лагерных песен (а их пели, под хмельком, наши отцы на вполне пристойных праздниках – в Новгороде, на Первомай...), наряду со знаменитыми «По тундре, по широкой по дороге», «Вот умру я, умру я, похоронят меня...», пели и вот эту, и все называли её «Фонарики», и мы знать не знали, кто на самом деле её сочинил:

...Сижу на нарах, как король на именинах,
и пайку серого мечтаю получить.
Гляжу, как кот, в окно,
теперь мне всё равно!
Я раньше всех готов свой факел погасить.

Когда качаются фонарики ночные
и чёрный кот бежит по улице, как чёрт, –
я из пивной иду,
я никого не жду,
я навсегда побил свой жизненный рекорд!

Мы, послевоенные дети... в конце шестидесятых нам – десять, двенадцать, четырнадцать лет... Знать не знали мы, что это написал неведомый Глеб Горбовский и живёт он в Ленинграде, городе, святом для всякого советского человека: город Ильича, колыбель революции, выстрел «Авроры»... Нам казалось: это народная песня, и повсюду поёт её народ, да ещё и запрещённая, ну как же, у всех юность как юность, счастливая, комсомольская, а юность этого неизвестного лагерника «раскололась, как орех...»

Глеб Горбовский был таким, до старости дожившим, вариантом Бориса Рыжего. Как если бы Пушкина не убил Дантес на дуэли, и стал бы Пушкин во главе русской прозы, нашим наипервейшим Львом Толстым. А тут? Есенин то ли сам свёл счеты с жизнью, то ли убили его; Маяковский сжимает в кулаке железную, чёрную гибель свою; Борис Рыжий, Николай Рубцов, Александр Башлачёв – нависает над ними безвременная смерть, как обоюдоострый звёздный меч. А равнодушный им поэт живёт, живёт, до дна чашу жизни пьёт. И чашу алкоголя – тоже. И чашу упоительного табачного дыма в расхристанных бурных застольях – а как же! Курево и пьянство – неперемнная атрибутика свободы в откровенно несвободное время. «Жить в обществе и быть

свободным от общества нельзя» (В.И. Ленин, «Партийная организация и партийная литература») – а вдруг всё-таки можно?

И вдруг в красноречивой строгой стране, где внимательно наблюдают за тобою, художник, чтобы не оступился ты, чтобы ровно по улицам шёл, не качался, хмельной, не выкрикивал ветру в лицо отчаянную крамолу, – всё-таки возможно публиковать свои тексты, выплаканные, выстраданные, горячие, обжигающие, огненные, такие, где насмешка горько мешается с любовным порывом, где исповедь обнимается с трагифарсом и сатирой, переходящей в рыдание! Книги! Как их всегда хочет, жаждет поэт! Книга – залог твоего открытого, откровенного разговора, прямого диалога с читателем. Необязательно с миллионным: поэту достаточно и десятка понимающих сердец!

Горбовский выпускал книги. И да, читали его. А что отвергалось пугливыми редакторами, то в списках ходило по Ленинграду, Москве и другим городам Советского Союза. Тексты Горбовского превращались в песни. Их пели – точно так же, как пели Есенина и Рубцова.

* * *

Удивительно в Горбовском сочетание камерности (стихотворение занимает на бумаге немного места – именно стихотворение, не поэма, не роман в стихах!) и неоспоримой фресковости изложения.

Он так же остросоциален, как и пронзительно-лиричен.

И всё время, всякий раз он через крупную, двояковыпуклую мутную, сивушную линзу быта видит – зрит, по-библейски говоря! – грандиозное Бытие, и оно окрашено в слепяще-алый цвет огня – трагедии, боли, ярости – и в траурную черноту смерти и посмертия; он очень больно и ясно чувствовал неотвратимость смерти, и он мысленно и совокупностью всех чувств возносил её на пьедестал – нравственный, мифологический, бытийный, – а она, смертушка, мстила ему, как и каждому живущему, болью быта, мелочью памяти, площадной шелухой навечного забвения.

Плита чиста. Могила без названья.
Два лопуха: в ногах и в головах.
Сижу на металлическом диване,
как птица или скорбная вдова.

Я знаю, что лежу под этим камнем,
что я исчез с лица моей земли,
что я лежу с уставшими ногами,
что женщины меня не сберегли.

Именно так, незаметно, исподволь, шаг за шагом, создавалась и в литературном придиричливом, капризном, сплетном мире, и на площадях градов и весей, и в тёмных страшных переулках, по которым брели восвояси подвыпившие гости с дружеской пирушки, и в кухонных закутках, где почти шёпотом пели запрещённые песни под расстроенную гитару, легенда о Горбовском; так он становился человеком-мифологией, поэтом, о котором ходили пересуды, – а то и просто исчезала в публике жажда непереносимого портрета автора, моментальной поэтовой документальной фотографии, и оставались только стихи... а кто автор?... имярек...

И вот всплывает, мелькает, просвечивает, почти в каждом стихотворении, авторское «я»: поэт то и дело смотрит в зеркало,

в треснувшие-битые, со стёртой амальгамой, зеркала всегдашних питерских коммуналок... вот рельефный автопортрет, вот беглый натуральный этюд, вот почти воздушный, мимолётный карандашный набросок...

Уходят праздные друзья,
и начинается мой праздник.
Я, как степенная семья,
разогреваю чай на газе.
Я, как примерный семьянин,
ложусь на островок дивана...
Как хорошо, что я – один,
что чай желтеет из стакана,
что я опять увижу сны,
и в этих снах – такая радость,
что ни любовниц, ни жены,
ни даже счастья не надо.

В поэзии 1960-х, 1970-х, 1980-х присутствовали почти обязательные типажи.

Во-первых, поэт, громко вещающий с трибуны, чтобы далеко, на всю страну, было слышно; так развивалась «маяковская» ипостась «агитатора, горлана, главаря» (В.В. Маяковский, «Во весь голос»), так громкогласно делались рифмованные политические заявления, выкрикивались пламенные манифесты, и обнародованные таким образом тезисы, призывы, властные приказы становились культурным рефреном, и его благоговейно повторяли и заучивали наизусть. Плакатно-массовый Евгений Евтушенко мог иной раз быть лиричным, интимным, и народ наблюдал в поэзии оба его творческих лика и часто не знал, какой лик предпочтительнее выбрать, каким можно открыто восхититься.

Во-вторых, поэт – так называемый «тихий лирик». Николай Рубцов часто не влезал в прокрустово ложе «тихого лирика» – так его насильно туда вталкивали. И Николай Тряпкин, и Николай Старшинов, и Анатолий Жигулин – все они были «тихими лириками», только до определённой черты; за чертою находилась опасная территория явственной духовной борьбы и слишком откровенных, жгучих словесных формул.

В-третьих, конечно же, работа с философскими пространствами в поэзии никем не преследовалась, и философская лирика тоже заявляла право на существование – Евгений Блажеевский, Владимир Соколов, Белла Ахмадулина уходили в раздумчивую словесную орнаментику или в жёсткость трагических философских постулатов, может быть, спасаясь от шекспировского трагизма реальности. Кто не мог торжественно и угодливо, как художник Налбандян, приукрашивать реальность или в открытую сопротивляться её ужасам, рискуя оказаться за решёткой, спасал себя за тяжёлым и роскошным философским занавесом.

А что же Глеб Горбовский?

А он занял пустующую – после Сергея Есенина – нишу.

Мифологическая для мировой поэзии фигура пьяницы, хулигана, вора, дебошира, скитальца, популярная ещё со времён Франсуа Вийона, внезапно оживает в середине XX века в Советском Союзе – и Горбовский смело занимает свободное с 1920-х годов кресло хулигана и скандалиста Есенина. Но ведь никоим образом Горбовский – Есенина – не повторяет! Он – не эпигон Есенина! Он живописует собственную

судьбу, благо она у него одна, и под завязку набитая целой россыпью незаёмных жизненных драм. И не думал он ни о какой славе! Он – просто – жил. Хулиганил в стихах; пьянствовал по-настоящему – с друзьями и недругами; скитался, бродяжничал, насмешничал, плакал – и писал, писал стихи, продолжая в них, родимых, свою непутёвую жизнь, выборматывал их, как заклинания, выпускал на волю их пламя – то, что жгло его изнутри.

Оттолкнуло ветром от вагона!
Одолжи мне, Боже, пять минут..
Человек скорбящий – вне закона:
рьяные растопчут, в пыль вомнут!

Поезд отправляется. Соколики,
до свиданья! Можно подымить?
В ресторане мраморные столики
не хотят нетрезвого кормить.

В подворотне наведу румянец –
водочкой шарахну по щеке!
Поезд, как паршивый иностранец,
на чужом лопочет языке...

* * *

«Не согрешишь – не покаешься», – гласит пословица.

Петербург – город Достоевского. Мрак, ночные фонари, ненастное бешеное небо, неизбывная тяжесть жизни, преступления, сокрытые во тьме скелетных питерских дворов, призраками являющиеся в тускло освещённых питерских окнах, – и позднее, в слезах, покаяние: пересмотр прожитой жизни, особенно если она была большая, протяжённая, как монументальная симфония. Поэты умирают рано. Это не закон, так часто получалось у нас в России. А если поэты живут долго?

Чем дольше живёшь – тем более внятна не жизнь: смерть.

И тем больше хочется принести в малую свою, оставшуюся жизнь света и радости.

Свет и радость редкими птицами пролетали в юности над головою Глеба Горбовского. Где они теперь? Слезам удобно течь в сухих руслах морщин. И можно их не отирать. Как описать жизнь прощённую – и жизнь, которая сама тебя, грешника, простила?

Как обнять своё Время и сильно, крепко прижать его к груди?

Поздняя любовь к жизни – нет, она не смешна, не позорна, она – не наигрыш, и оправдывать её не надо.

Она единственна.

Как единственно всё на свете, что приходит однажды – и уходит навсегда.

Отмается – не отбуйнится,
к земле хлебосольной прильнёт, –
поэт – не святоша, не пьяница,
а тот, что чирикал без нот.

На ветке, карнизе, на паперти
он пел, оглашая низы,

без веры, надежды и памяти...
И грызли кремлёвские псы!

И дымка плыла ядовитая,
и корчился русский язык,
и песня струилась забытая,
как будто расплавленный крик.

Старость – воспоминания.
Старость – царство памяти.
Старость – владения забвения.

Чего больше на этом последнем материке, памяти или забвения? Никто не знает.

Поэт устал – а всё равно хватает бумагу и пишет.

Не на компьютере: старой ручкой по старинной бумаге. Белой, жёлтой, серой... гладкой, шершавой, какой угодно. По живой бумаге. По живому.

Где те люди, что были рядом с поэтом тридцать, сорок, пятьдесят лет назад? «Иных уж нет, а те далече, / Как Сади некогда сказал...» (А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»).

Люди ушли, а слова Глеба Горбовского обрели новый вес. Новое сияние.

Слово не умерло. Оно осталось жить. Рядом с ним. Вместе с ним. В нём.

Как бы во сне, на дне развалин храма,
разбитого войной или страной,
лежали мы во власти Тьмы и Хама,
покрытые кровавой пеленой.

Сплетённые корнями сухожилий,
прокляенные выечкой мозгов –
развратники, пропойцы, пыль от пыли,
лжецы и воры низких берегов.

И дьявол нас вычерпывал бадьёю,
как сточные отбросы сплывших лет...
Но и меж сих, отвергнутых Судьёю,
нет-нет и брезжил покаянный свет!

Стать певцом смерти – почётно: смерть есть обратная сторона жизни, её лик глядится в наши лица незыблемой константой; этот космический дуал – жизнь-смерть – неуничтожим.

Стать трагическим художником – славно: «Что такое жизнь? Трагедия. Ура!» – воскликнул когда-то Людвиг ван Бетховен в «Разговорных тетрадах».

Спеть песню о себе, где обнялись бы радость мира и предвечная боль бытия, слились бы воедино рождение и уход, грех и раскаяние, жизнь и смерть – вот последняя красота, последняя задача, и вот первая надежда на посмертное существование поэта в Русской культуре: такой красоте и такой надежде забвение не страшно, ибо внутри подобной песни – всё сущее.

...но что такое Время, узнать никому не дано.

Минус двадцать пять по Цельсию.
По скрипучей белизне
похоронная процессия –
мимо храма, как во сне...

Гроб несут четыре дяденьки,
позади – родни клочок...
И церковный голос сладенький
испускает старичок.

Кто он, умерший в суровую
пору жизни и зимы?
Человек, ступивший в новую
полосу... Такой, как мы.

Подогретые могильщики,
что долбили мёрзлый грунт,
подогретые носильщики –
все построились во фрунт.

Покадил священник-дедушка
над покойником дымком...
А потом упала девушка
в снег – беспомощным комком.

Наталья СЕЛИВАНОВА

Родилась и живет в Москве. В 1987 году окончила факультет журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова. В 2021 г. окончила двухгодичный курс сценарного мастерства в ФГБОУ ДПО «Академия медиainдустрии». Работала на телевидении, в Союзе писателей СССР, в издательстве «Советский писатель». Занимала должности пресс-секретаря Председателя правления ОАО «Газпром» – заместителя начальника департамента по информационной политике; руководителя пресс-службы Федеральной службы судебных приставов, руководителя пресс-службы Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством.

Член Союза писателей России. Автор книги «Автограф. Культура конца XX века в диалогах и наблюдениях», «Второе рождение» (сценарная проза и эссе о кино), сотен публикаций (литературная критика, арт-критика; темы культуры, экономики культуры, современного общества).

АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН: ВНУТРИ ЭПОХИ, ВНЕ ШАБЛОНА

В это трудно поверить, но первым он быть не хотел. Переносить на бумагу эгоцентричные откровения – тем более. «Чистота советской литературы», – так поэт Михаил Светлов открыто признал значение и цельность творческого высказывания Александра Малышкина (1892–1938), совокупный тираж произведений которого в 20–30-е годы XX века достиг пяти миллионов экземпляров.

Однако ранний уход писателя от саркомы легких в возрасте 46 лет как будто совпал с неслышным вручением титула «выбывший», и его имя незаслуженно быстро выпало из полнокровного литературного оборота. Упоминание сегодня крупнейшего события золотой советской прозы, каким стала публикация повести «Падение Даира» (1923) или романа «Севастополь» (1926–1930), чаще встречает внимание из вежливости. «Даже великие реки затягивает ряска забвения, если нет за ними сыновьей заботы», – справедливо напоминает другой народный писатель, наш современник Владимир Личутин.

Похоже, о протагонисте эпохи высшие силы не позаботились. Значит, нам самим приходится заново и аргументированно переоценивать его творчество. При вдумчивом чтении воссоздание им документальной концепции завораживает. Он заслужил второй шанс, и без его слова прилежные исследователи революционного апокалипсиса точно не обойдутся.

...Память часто вела его переулками болезненного, не сытого детства, эпизодами блестящей учебы в Пензе, Первой мужской гимназии, разлучившей с заботливой атмосферой многодетной семьи. «...Мне больно, без конца больно, как никогда не было в жизни. Такого близкого, родного, любимого человека я теряю первый раз в жизни», – писал он позднее, узнав о смерти отца, жене Надежде. Вскоре, в 1920 году,

от туберкулеза легких скончалась и сама Надя, «милый кущик», как в переписке называл любимую Малышкин. Он нуждался в уютном облаке неразрывной семейной истории и родственные отношения с сестрой жены, Клавдией Николаевной Кузовковой, сохранял до конца своей жизни.

Стремясь к стилистическому совершенству, Александр Малышкин работал одержимо, вновь и вновь переживая сознанием испытания электризующего передела, выпавшего на долю поколения писателей революции и гражданской войны. И конкретно ему – при всех светских манерах человеку камерному, трепетному, меланхоличному, с трудом подавлявшему угрюмость. Его светлое завтра наступало в прямом смысле утром, за новым раундом тщательной редактуры первоначального варианта. Потому наследие А. Малышкина уместилось в трехтомнике, в 1940–1947 гг. вышедшем в Гослитиздате, в основном стараниями друга и земляка, писателя, лауреата двух Сталинских премий Федора Гладкова.

Путь героев Малышкина – для одних приобщение к великому знанию, для других – к цене деклараций. На заре творческих занятий писателя увлекала зовущая и реализовавшаяся историческая перспектива: поиск счастья для неважного, как сказал бы Николай Лесков, персонажа через десятилетие обернулся солнечной мощью народа-преобразователя молодой страны Советов. Так, переосмысливая причины вечной социальной отсталости – незамаскированного загона для низовых слоев, русская словесность накануне октября 1917-го, позже тем более, «воспитывала» их чувства, задавала социально новые ролевые модели. Что охотники за изъятиями советской истории называют формированием «черной» элиты социализма. «Народ – безгранично объемное слово», – спокойно ответил бы им сегодня писатель, сам вышедший из толщи народной. Истоки и значение ее ресурсного потенциала питали творчество Александра Малышкина. Борис Пильняк, правда, заметил, что в революцию шли те, кому нравился «разбойный дух ее». Как лезвием полоснула эффектная фраза, но Малышкин умел за деревьями видеть лес. И много лет в литературе жил с ощущением, что делает мир лучше.

Тогда его не смущала идеологизированность соцреалистического дискурса. К началу 30-х А. Малышкин – депутат Моссовета, член редколлегии «Нового мира». Бытописатель «с живым ухом» творил, не стесняясь концентрации богатейшего жизненного материала, колоритных человеческих типов, участвовавших в крупномасштабных процессах социальных изменений. Благодаря чему мы можем проследить индивидуальную эволюцию художника, сумевшего в сложное подцензурное время не разрушить свой концепт правды.

* * *

Первые рукописи, написанные образцовым каллиграфическим почерком, сохранились в архиве ИМЛИ им. А.М. Горького РАН. Рассказы Малышкина проросли из сближения с «откровением» Николая Лескова (1831–1895), его редким знанием народной жизни. Современники, включая Достоевского и Толстого, укоряли Лескова за «излишек таланта» – частое использование лексических раритетов. Как автор «Соборян» и «Очарованного странника» проще работать не мог, так и для Малышкина яркий почерк – естественный приток величайшей

реки реалистического искусства. У Лескова: «А ты слушай, дубрава, что лес говорит; они берутся не за свое дело: выбирают сужекты, а не знают, как их понять, и выводят суетная и ложная». («Полунощники», повесть, 1890). У Малышкина: «Ветви раздвигаются над нашими головами, и впереди курчаво-лесистыми шатрами, подъемами и расселинами, целыми зелеными странами, вкось уходящими в небо, открываются потусторонние – за ущельем – горы. В высоких долинах цепляются пряди тумана. Не освещенные солнцем громады вершин хранят еще на себе сырую ночь». («Высота 565», рассказ, 1931).

В подходящей почве быстро взошли семена, посеянные предшественником. Вот примеры удачных речевых находок.

– Так что же у вас там, – телеграфист хитро подмигнул ему здоровым глазом, – есть брожение элементов, насчет республики? Я из партии, – пояснил он, опять подмигивая, – нелегальные листки печатаю.

– Не слышал я об этих партиях, – замотал волосами Афонька, – конечно, в губернии другое дело, а у нас темь... Оголешники.

– Чего-с? – переспросил телеграфист, в третий раз подмигивая, что Афоньке очень нравилось. – Как вы сказали?

– Оголешники, говорю. Дразнят нас так, будто мы на базаре огольца высекли. А еще будто каланчу у нас в Блудовку украли, тоже дразнят.

«Последний Барыков», рассказ, 1913

Теперь только на двух церквах названивало – медно, надтреснуто, ржаво. На колени припал, чтоб лучше слышать чужих за ветром, за угол, на валу приломился... Вдруг вывалило криком под самыми ногами, из овражной тропинки, затопало, закарбалось по травяной мякоти».

«Вожди», рассказ, 1924

Порой намеренно сбиваясь с ритма, он концентрировался на плотности сюжета, энергии судьбоносных перемен, нюансировке психологии горемыки, одним прыжком решившего порвать с безжалостной нищетой. Отгадывая его побуждения и страхи, автор неумолимо подводил к осознанию жизни как ужаса без конца и запоминающейся кульминационной развязке. Подобно барочной драме, где каждому уготовано возмездие.

Словно уловил что Афонька, взглядевшись пристальней, и ледяной трепет пронизал его, гоня счастливые упования. «Это я сделал, я! – не веря будто, сказал он себе и, вспомнив все, с ужасом убедился: – Вот я, я...» И прочная ужасная связь соединила его, казалось, с тем, кто был на столе, словно в мире исчезли все люди и осталось лишь двое – он и мертвый».

«Последний Барыков», рассказ, 1913

* * *

Если бы не воинствующий атеизм советских лет, о романе «Падение Даира» можно было бы сказать кратко: в нем живет Бог. Перед нами писатель с исключительной языковой индивидуальностью: его художественная речь строится на необычайно расширенной семантической валентности слова, на способности одного слова порождать несколько смысловых и образных связей. После «Падения Даира» описание антуража вокруг тяжелейшей и легендарной битвы за Перекоп у других авторов воспринимается бледной тенью первоисточника.

Плавное приливает «сказовая» волна, украшающая повествование. Снова вспоминается Лесков, который умел удивлять радиусом эстетического блеска: «О полуночи к сумрачному барину была послана первая весточка, что по лицу у боярышни расстилается алый цвет, а по груди рассыпается белый пух и из косточки в косточку нежный мозжечок идет». («Старые годы в селе Пладомасове», повесть, 1869). Требующий мастерской огранки, сказ, как художественный прием, подчеркивал прелесть чудесной патриархальной, главное – мирной жизни.

У Малышкина сказовая манера переносится в символическое описание военных будней. Она придает писательской технике витальность и мгновенно создает стилистический контраст с ревущим потоком смерти. Ликвидация белогвардейских сил на Перекопском перешейке открыла Красной армии путь в Крым.

И в наши дни художественная правда «Падения Даира» инверсиями, иносказаниями, разнообразными безличными конструкциями целиком захватывает внимание и предвосхищает катарсическую волну. Автор создал революционно-романтическую поэму, по динамической мощи достойно вставшую в один ряд с «Разгромом» Александра Фадеева. Александр Малышкин взлетел на литературный пьедестал.

Впечатляют приемы, поэтизирующие эпохальный перелом. Начало повести напоминает наведение резкости:

Керосиновые лампы пылали за полночь. В половине второго зазвонили телефоны. Звонили из аппаратной: фронт давал боевую директиву. Галифе торопливо слезали со стен, бежали докладывать начальнику штаба и командарму. У аппаратов, ожидая, стояла страна.

Словно установив в настройках параметры узкой диафрагмы, Малышкин накапливает разнородный материал. Автор комбинирует в панорамном кадре людей и детали Даира, в котором «золотом крыш горело из сказок». Подчеркивая их слепящее множество, превращает предложение в грузное смысловое членение – для когорты военных прозаиков синтаксис нетипичный. Филологическое новаторство исполнено почти в футуристическом духе, и этот эпизод – не единственный, обогативший художественный концепт произведения.

Распахивались зеркальные вестибюли громад, пылающих изнутри, сбегали, сходили и снова восходили, рождаясь и тая в кипучем движении панелей: красивая из кафе, с румяной ярью губ, гордо несущая страусовое перо на отлете, и этот – бритый, заветренный ротмистр с выпуклыми, изнуренными и жесткими глазами, волочащий зеркальный палаш, и вон тот, пожилой, тучный, в моднейшем сером пальто и цилиндре, с выпяченной челюстью сладника, обвисший сзади багровым затылком...

Возглавляют пассионарных «гуннов» харизматики, отринувшие старую и прокладывающие путь к новой цивилизации. Прототипы героев Малышкина и Серафимовича – командарм Южного фронта М.В. Фрунзе и командир Таманской армии Е.И. Ковтюх переживают состояния, сближающие как самих действующих лиц, так и авторов, сохранивших точную событийную канву накануне решающих боев. После захвата противником Екатеринодара (ныне Краснодара) в сентябре 1918-го таманцы были изолированы и готовили прорыв к красным. У обоих писателей психологический этюд вышел выразительно очерченным, в ритме, раскрывающем образ, с завершенной внутренней интонацией.

Он встал каменный, чужой мирным сумеркам избы.

– Оперативных поправок нет?

Очевидно не было: все молчали. План был принят – он висел над глухой сосредоточенностью полей. В них снилась невозможная горящая ночь. В пасмури слышались, близились идущие шумы. Как в бреду, где-то в далеком кричали лошади и люди. Командарм вышел на улицу.

«Падение Даира», повесть, 1923

Кожух поднялся, заиграл железными желваками и, тоненько покалывая крохотными глазками отлива серой стали, сказал:

– Завтра выступать... с рассветом.

И подумал: «Не выполнят, сволочи!..»

Все нехотя замолчали, и за этим молчанием стояло: «Дураку закон не писан.

А. Серафимович, «Железный поток», роман, 1924

Вложив в сто страниц дух взаимной непримиримости, Малышкин, воевавший в Первую мировую и Гражданскую, обнаружил, насколько крепким оказался народный стержень страны, разбивший в лице Врангеля весь белый фронт. Целеустремленность и дерзновение мечтателей прекрасно образованный писатель никогда не умалял. Литература питалась током поначалу стихийного феномена, ставшего за несколько лет социальных потрясений капитальной опорой Советской страны. Что позволило следующему поколению наших сограждан немислимой ценой свернуть шею фашизму. Увы, 18-летний сын писателя Георгий (Юрий) Малышкин, защищая Курскую дугу, погиб.

Пройдя десятилетия, мы вступили в посткапиталистическую, цифровую цивилизацию, с подвижной, не до конца сложившейся системой ценностей. На что конкретно сможет влиять наш народ, источником каких социальных процессов он будет – вопросы остаются пока без ответов.

* * *

Собирающая силы партия большевиков боролась за каждого, тем более за поддержку в армии. Постановление Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов от 1 марта 1917 года прямо указывало солдатам на неповиновение офицерам. Начавшаяся вестернизация при учрежденном Временном правительстве ломала не только вековые традиции единоначалия. Двоевластие приводило подчас к подавленности, незнанию, как точно действовать – «стрелять или не стрелять». Начавшийся армейский раскол только усугубил душевные метания выпускника морской школы Сергея Шелехова, с которым мы знакомимся в романе «Севастополь». Первая его часть была опубликована в 1927-м в журнале «Красная новь», в 1929–1930 годах «Новый мир» взял остальные главы.

В крутом изломе февраля 1917-го – февраля 1918-го («Романовы-то... Романовы-то какие подлецы оказались, а?») смешались люди разного воспитания и боевого опыта. Для «Севастополя» Малышкин задумал противовес поселившемуся в литературе прямолинейному борцу за народное дело. От автора «Падения Даира» в следующей вещи ждали героя-созидателя «с молнией в руке», а получили копающегося в мирке сомнений слабака. Потому критиковали громко, неоправданно, почти единодушно. Оголтелые заклинания, не приводящие к художественным свершениям, задевали многих. Например, «богиня револю-

ции», как назвал ее Л. Троцкий, незаурядный публицист Лариса Рейснер (1895–1926) в статье «Против литературного бандитизма» заявила: «Не всякое дарование подается с крепкими костями, и не всякий творческий аппарат можно безнаказанно гнать вперед пинками».

Полифонически богатым это произведение сделали персонажи-родники, чью социальную энергию наполняли бесконечно разные жизненные представления. За главного героя, в котором кто-то даже видел родство с Мечиком из «Разгрома», вступился Александр Фадеев: «Шелехов является представителем... очень низового и очень угнетенного в прошлом слоя – полуинтеллигенции, которая исчисляется в нашей стране миллионами».

Малышкин одним ключом все двери не открывал и угождать критике не планировал. Чтобы подкрепить обоснованность авторского замысла, потребовалось масштабирование и увлекательные сюжетные повороты. Малышкин детально воспроизводит изгибистый путь романтично настроенного молодого человека с университетским прошлым, до учебы в столице привыкшего к монотонной яви уездной России. Надеясь на судьбу особенную, привилегированную, благодарно козыряя в ответ на отданную юнкерами честь, офицер Шелехов «чувствовал, как ластящие поволочилась за ним чужая страшная слава».

Первостепенные мысли о ней, но Шелехов влюблен в бесплодный мираж. «Девушка не ответила, убаюканно покачиваясь и напевая с закрытым ртом. Он счел это за поощрение. Его наполнило самое сладостное в жизни, невыразимое тоскование». Жека еще долго будет морочить голову ничего не смыслящему в любовной игре Сергею, а потом сбежит на румынский фронт, к своему жениху. Так же может пронестись вся его жизнь, самообманом и печалью разбивая момент настоящий. «Огненный век летит, единственный век! Прислушайся к нему, мужайся, реши!» – в поисках устойчивости Шелехов погружается в «неиспытую кипень» реальности. Например, в сцене, где моряки Севастополя устраивают самосуд над своими же офицерами. Временный военно-революционный комитет насилие осудил, но перспектива участия в зверских расправах героя ужаснула.

Получив предписание в Севастополь, он еще не знал, как море умеет «не пускать», оставляя за собой последнее слово. Не пробовал устоять на мостике, когда большие волны заливают нос корабля, и судно не слушается руля? А надо до конца исполнять офицерский долг и справиться с неукротимой стихией единым кулаком. С выученным комсоставом, обязанным воодушевить и спасти всех на корабле, Черноморский флот прирастал легендами. Радость Шелехова от первого похода совпала с приказом о передаче власти Советам. Морская стихия и народная масса поэтически сливаются в метафору решающей силы истории. До Октябрьского переворота оставалась пара месяцев.

Есть другая сторона корабельной науки – военно-морской быт, подчиненный уставу, столетиями сплавивал коллектив. Революционные идеи дисциплину раскачали. В «старые» времена, например, за совместную с матросами выпивку офицера могли разжаловать, теперь границы поколеблены. Разговоры со старшим по званию о Николае I или Керенском случались частенько. Среди матросов постоянно бродили обиды на отказы провинившимся в повышении жалованья. И вволю над командирами позлорадствовали, узнав в апреле 17-го о замене золотых и серебряных наплечных погон нарукавными нашивками. Их бранные и обценные выражения цензура из рукописи вычеркнула.

Выросший в бедности, с «выклянченной по прошению шинелью и таких же калошах», Шелехов впитывал всё, что видел и слышал: под-сказки вахтенного о времени спуска флага, жалобы на копеечную жизнь, рассказы о трудностях службы, убежденность и обаяние собравшихся вместе большевиков. «Социализм неизбежно – наше будущее, но нужно ли все, что делалось в Петрограде, всей России?» Видеть «полурехнувшуюся» страну и фанатично верить словам о новой жизни – место Шелехова в русской смуте опять покачнулось. Увы, недооцененным достоинством романа стало искусство автора тонко передать опасную смесь восхищения и страха, притяжения и отталкивания революции в одной божьей душе как мучительную ее ломку, почти гибельность, грозившую в лучшем случае бегством героя ото всех.

Усиливая личностное своеобразие, писатель дает возможность персонажу высказаться открыто, проявиться в полной мере. Да и сам он будто все говорит и говорит с Шелеховым, показывая пример спасения ближнего. В том числе чтобы удержать доверие человека неопределившегося, склонить его на свою сторону.

Именно здесь обнаруживается главный парадокс Малышкина: он оставался писателем своей эпохи, но не позволял эпохе полностью определить своего героя. Сохранял за человеком право на сомнение.

Роковое стечение обстоятельств заставило сделать выбор. Во второй, осевой, части романа Малышкин, согласно традиции русской классической прозы, непринужденно настраивает читателя на точку зрения Шелехова. Как искушенный знаток «огненных лет», автор полностью следует влечениям и мыслям рядового участника истории, еще недавно не имевшего под собой никакой почвы. Низовая масса нуждалась в рулевом – с ветром в кармане, как она сама, но образованном и доступном. Так, на митинге моряки назойливо подхватывают молодого офицера, и с небольшой высоты он произносит скомканную речь про «гнилое самодержавие» и «революционный флот». Шелехов думал, что агитацию провалил, а боцман доволен: «Побольше таких ахфицеров». «Он у нас в бригаде самый народный», – скажет о нем позднее матрос Кузубов, из тех, кто заочно избрал Шелехова в бригадный комитет.

...Все дальше от берега многообещающей, прекрасной молодости. Все ближе дорога, что связала в петле времени настолько непохожих людей, в финале романа отправляющихся устанавливать советскую власть повсюду.

В «Севастополе» Малышкин показал «родовое гнездо» героя, травмированного революционным переломом. И косвенно повлиял на появление героя, травмированного разрывом между утопией и реальностью, в советском искусстве 70–80-х годов. Противоречие породило персонажей с разной степенью амбивалентности и отчуждения от общества.

В пользу Александра Малышкина говорит то, что он, во-первых, не фальшивя, справился с художественной реконструкцией личных впечатлений службы на флоте, переживавшем в 1917-м упадок как своей боеспособности, так и уставных взаимоотношений. Во-вторых, расширил содержательные рамки для изображения других героев – «новых людей» и «людей обыкновенных». В-третьих, взбудораженный многоголосьем распадающегося мира, сохранил свою собственную точку зрения. Предполагаю, что, проживи он дольше, Малышкин мог бы прийти к своеобразному криминальному эпосу в русском изводе: некоторые намеки на такой поворот разбросаны по страницам «Севастополя».

* * *

Как «выразительный человек» в раннем советском кинематографе, так «выразительные люди» у Малышкина становятся основой концепции «реалистическая мечта». Курс к заветной цели лежит через причудливый сплав ненарядной реальности и нарядного слова. Причем в строгой лингвистической классификации пензенский зональный диалект не описан. Его необычную фонетико-грамматическую структуру пытался сохранить Александр Малышкин. Национальное самосознание опирается на культурный канон, прежде всего на подлинный язык перемешанных говоров, которым из-за внутренней миграции в постреволюционные годы заговорили на огромной территории.

Промышленный подъем требовал обновленного контакта с действительностью. Посещение в 1931 году вместе с В. Полонским, Ф. Гладковым, В. Катаевым, Б. Пастернакомстроек Магнитостроя, Челябинского тракторного завода дало подробнейший материал. Он выложен в личные архивные папки «Бараки, культработа, текучесть», «Быт», «Женский труд» и другие.

Предчувствуя эпическую форму, он задумал роман о взрослении политического народа. «Надо писать только правду и ничего не выдумывать о людях». В «Людях из захолустья» (1938) очередной поворотный момент русского XX века Малышкин задокументировал скрупулезно, избегая культа идеального героя. Его в романе нет. Человек системы сумел сохранить самостоятельность художественного зрения.

Десятки тысяч вчерашних крестьян, кустарей, сезонных рабочих рыли котлованы, уплотняли грунт, заливали бетон в фундамент индустриальных гигантов. Он был свидетелем глобальных практик – проектирования городов, обучения рабочих новым навыкам, рождения производственно-бытовых коммун, первоисточка нового образа жизни с неперменным коллективизмом на работе и после, движения рабкоров первой пятилетки. Писателю Малышкину не пришлось умозрительно адаптировать задачи литературы под себя.

Едва ли не самый сложный объект изображения – обыденность экономического сдвига и болезненность психологической трансформации. В 1929-м из небольшого Мшанска от массового разорения, угрозы раскулачивания («У них цель теперь такая – задушить... Ну прямо нахально так поступают») вглубь страны поспешили уездные люди на строительство большого комбината. Пустились «в скитания» на пятом десятке столяр-краснодеревщик, гробовщик Иван Журкин («Нам бунты эти ни к чему... Нам бы кусок поспокойнее»), предприимчивый и удачливый искатель куска пожирнее Петр («Я брательнику своему высшее образование дал, теперь он по газете в Москве работает»), крайней степени заброшенности малец Тишка («Яблоко так и держал перед собой в своей руке, не понимая, откуда и для кого оно»). Мелкий конфликт в вагоне, способный разрастись до бурного недовольства и драки, показан Малышкиным как симптом психической травмы народа. Из жалости парнишке достался скол сахара Журкина. Чужое «самоуправство» за общей трапезой обозлило Ивана, «и он с ненавистью слушал хруст в Тишкином рту».

...«На насильственно развороченной земле» воображаемого Красногорска, в наскоро собранных бараках обитает «бородатое, малахайное население». Прежняя социальная идентичность отмирала – привычный крестьянский распорядок резко сменился однообразным, по гудку

и приказу, рабочим режимом. Люди, в основном неимущие, с семьями в разлуке, без друзей и покровителей, сбитые с толку малопонятной идеей колхозов, работают теперь в ожидании зарплат.

Они – со страхом неизвестности, провинциальными повадками, не знавшие жизни досыта. Со всем тем липким многослойным захолустьем, что не дает ни разжать лапы прошлого, ни подняться к стабильному будущему. «Сорвать страну с корней» у большевиков получилось, но наткнулись на новые маяки – надо учиться, меняться, расти, стать полезным обществу человеком. Каждому. Разделяя чеховский принцип «чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление», Малышкин с читателем честен – таков менталитет народа, откликнувшегося на партийный призыв о начале индустриализации. И все равно, как в «Севастополе», автор настаивает на ценности каждого.

Глубина критического взгляда сближает повествование с лучшими произведениями Глеба Успенского (1843–1902). Правдивый свой материал Глеб Иванович, не идеализировавший крестьянство, самокритично считал черновой работой для будущего художника.

В иной исторической конкретике, для Малышкина более обнадеживающей, он видит, по сути, тот же, ржавеющий от потрясений, человеческий тип – инертный, малоподвижный, с практичным, бытовым умом. В «державном беге» русские правители время от времени предпринимали попытки радикальных, насильственных изменений. В нашей стране их последствия всегда неоднозначны. Между тем у большевиков возникли планы гуманитарного преобразования, к примеру, поэтапно социализировать все маргинальные группы. И «маленький человек» понемногу распрямился. Тогда, во второй части романа, мы вправе ожидать от Журкина, назначенного, наконец, бригадиром сборочного цеха, и Тишки, рассчитывающего на денежное шоферское поприще, обретение нового «я». Однако эта история без гомеровского финала. Вторую часть романа Александр Георгиевич Малышкин планировал, но написать не успел.

Впрочем, он не прозевал людей другого склада, наделив их чертами знавших, что такое жизнь на кону, когда властью была винтовка. После Гражданской (1918–1922) они сменили оружие на печатное слово. Техникой мягких шагов автор чуть притормаживает повествование, чтобы укрупнить характеры представителей первого поколения советской интеллигенции.

Занятый райкомовскими делами и семинарами в Институте красной профессуры заведомо редакции Калабух фамилией, дружелюбием, шармом в общении напоминает крупнейшего теоретика ВКП(б), знаменитого главного редактора «Известий» Николая Бухарина (1888–1938). Герой, казалось, второстепенный, но достоинством его отеческой природы укрепляется в коллективе дух товарищества. Калабух не согласен с проводимой политикой экономического подрыва деревни, он против неподъемных налогов. Бухарин также много выступал в печати еще в 1928–1930 гг., апеллируя к зарубежному опыту и рационализаторству, чтобы форсировать индустриализацию, устранить товарный голод, в том числе в деревне. Напрашивающаяся параллель – ход для автора довольно смелый. Подспудно вызывает неизбежное столкновение убежденного сторонника партии Зыбина и «правого уклониста» Калабуха.

С солидным культурным багажом Антон Зыбин, следующий его профессиональным советам Николай Соустин – ответственный секретарь и разъездной корреспондент московской «Производственной га-

зеты». Отчетливо прописаны их биографии. Зыбин – военный разведчик, участник рейдов в тыл врангелевцев летом 1920 года, точно как в жизни Федора Гладкова. Соустину автор сообщил свой эпизод, правда, с иным обоснованием – за освобождение «для Советской власти трех больших сел» на Южном Урале Николая наградили золотыми часами. Зыбин мыслит рационально, скрывая игру импульсов, ведет себя благородно. Предоставляет жене Ольге время самостоятельно разобраться в душевном захолустье и окончательно решиться. И она выбирает ехать за мужем на металлургический завод в Красногорск. Недоучившийся химик, рослый и красивый Соустин пробует себя в журналистике, но любовь и, похоже, взаимная, к замужней Ольге куда важнее науки и теории марксизма. Все трое образуют насыщенную мелодраматическую линию – скелеты в шкафу есть у многих, и автор массовому читателю в любопытстве уступает.

Искусство живет там, где прикосновение к опасной теме превращается в тщательно собранный поток размовок, действий, конфликтов с нарастающим нервным напряжением. Писатель, излучая глубокое понимание человечности, на примере героев главы «На земле предков» затрагивает феномен упоения силой, любой, какая оказывается в руках в данный момент. Кульминационный момент достигается в социально проявленном конфликте с названным победителем и побежденным. Мировоззренческая траектория налицо: Малышкин явно усомнился в чувствах и словах, не прощупанных онтологическим злом.

...С редакционным заданием оценить ход коллективизации Соустин, уверенный в успехе попутно отстоять дом сестры, отправляется на малую родину. «...Деревню-то Соустин знал, она с детства вросла в него ветляной пыльной улицей, дедушкиной избой». Надеялся, что «старый Мшанск жилел, подымался из гробов своих». В итоге убедился, на словах – за колхозы, на деле, когда надо «вносить задатки на тракторы, все в сторону». Жителей еще раньше убедила высылка зажиточных крестьян, разного рода конфискации, урезание приусадебных участков, диктат чрезвычайных органов. Трагический исход для крестьянства был предопределен.

Зная, как гладко идут перемены в теории, Малышкин рассчитывал, что уж на своей-то стороне, своими-то он будет поддержан. В 1930 году его мать-инвалида раскулачили, отняв единственный семейный дом в Мокшане Пензенской области только потому, что отец прозаика до революции пек и продавал хлеб. Именитый писатель обивал пороги вплоть до кабинета председателя ЦИК СССР М.И. Калинина, но тяжелая артиллерия не вступилась. «Вера в несправедливость добра» множеством перегибов коллективизации все сильнее связывала Малышкину руки, когда-то студенту, запомнившему первое массовое сопротивление в Петербурге – многотысячную демонстрацию в октябре 1905 года. Через 30 лет до него, проживавшего на писательской даче № 1 в Переделкине, быстро доходили слухи об арестах коллег. Полное бессилие, беспросветное отчаяние («...куда все это идет, теперешнее, и чем это кончится?») периодически ритупляла известная пагубная привычка.

И в романе Соустин проигрывает Кузьме Федорычу, мшанской бедноте, который глумливо прикрываясь влиятельным родственником, забирает Настин дом. Во все времена безнаказанность развращает. «Я в тепло хочу. Потому что теперь моя взяла. ... Там кокетки кушали. Да винцо пили... А если кто супротив меня будет делать, то у меня еще сын есть, председатель».

Приспосабливаясь к большевистской риторике и не получая понятные ему ответы на ключевые вопросы политической повестки, Соустин мечется. Одни умеют прятаться у всех на виду. Другие – совсем не тертые калачи. Сил противостоять всем, кто против тебя, у этого героя очень мало.

Поклонники «репрессивной толерантности» на рубеже 80–90-х годов, выставяя неуд всей без разбора советской литературе, «Людей из захолустья» сочли текстом конъюнктурным. Попытки аннигиляции торжествовали недолго, однако на вытеснение из культурного оборота огромного пласта произведений повлияли.

Сочинение актуализированное вовсе не порок. При условии опыта впечатлений, социального темперамента, инстинкта исследователя, которые насыщают масштабный сюжет. Малышкин этими качествами владел вполне. Со временем несколько не ослаб магнетизм его феноменологической прозы с широким охватом пограничных состояний. Парадоксальный способ будничным и орнаментальным слогом описать самочувствие человека, возрождающего страну и себя, перевел произведения Александра Малышкина в ранг художественной единичности.

Лучшим образцам советской литературы требуется место в российской цивилизации нестираемое. Как части великой русской классики – глубокой, психологически точной, спорной, милосердной, нуждающейся в новом пристальном чтении.

Думается, у каждого художника был свой соцреализм.

Анатолий ВАЛЕВСКИЙ

Родился в 1969 году в Новом Роздоле, Львовская область. Окончил Томский государственный педагогический университет по специальности «филология». Жил и работал в разных регионах России. Прошёл путь от учителя до директора школы. Долгое время работал в системе детских домов и школ-интернатов. Учитель истории, обществознания, русской филологии.

Печатался в журналах «Дружба народов», «Дальний Восток», «Петровский мост», «Нева», «Путеводная звезда», «Крещатик» и других. Автор книг «Горький вкус мандаринов», «Жабыч», «Одуванчики Карла Фаберже». Лауреат международной литературной премии имени П.П. Ершова за книгу «Горький вкус мандаринов».

Член Союза писателей России. Живет в Усинске, Республика Коми.

«ВООБРАЖАЕМЫЙ МУЗЕЙ ИРИНЫ АНТОНОВОЙ»* КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ИНСТИТУЦИИ

Чтобы понять природу власти Ирины Антоновой, нужно прийти в ГМИИ им. А.С. Пушкина в сумерках, спуститься в Итальянский дворик и попытаться отличить живую смотрительницу от раскрашенной копии кондотьера Верроккьо. В этом каменном лабиринте, где нарушена перспектива, а над головой нависает гипсовый Давид с проломленной спиной, законы физики отменяются по личному распоряжению директора. Лев Данилкин в своей новой биографии «Палаццо Мадамы» отказывается писать портрет героини на фоне эпохи. Вместо этого он запирает читателя внутри Итальянского дворика после закрытия, превращая биографию ИА (Ирина Антоновна) в барочную оперу ужасов, где главная злодейка – не женщина из плоти и крови, а сам Музей, требующий человеческих жертвоприношений ради поддержания микроклимата для Дрезденской галереи.

Сотрудники ГМИИ узнают о её приближении не по шагам, а по изменению атмосферного давления. За секунду до того, как каблуки ИА ударят по мрамору Третьего зала, у докторов наук начиналась медвежья болезнь, а младшие научные сотрудники инстинктивно прятались за античными колоннами, словно бояре от Ивана Грозного. Этот ультразвуковой ужас, который источала директор Пушкинского, Лев Данилкин делает главным методологическим инструментом своей книги. Он анатомирует советскую интеллигенцию через их вегетативные реакции на гнев ИА. Перед нами редкий случай большой литературы, где центральным событием становится не открытие выставки «Москва – Париж», а секундная заминка зрителя перед дверью антоновского

* Лев Данилкин. Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой. – М.: Альпина нон-фикшн, 2025.

кабинета, способная вызвать микроинфаркт. Здесь можно сделать сноску-реплику автора: «Я спрашивал ветеранов Музея, не было ли в этом гневном комичном, театральном переборе, как у Раневской. Мне отвечали одинаково: нет. Это был чистый, дистиллированный террор без примесей».

В конце жизни Ирина Антонова всерьёз планировала выставить в Белом зале гипсовую копию Эйфелевой башни в диалоге с древнегреческой амфорой. Для постороннего это выглядело бы старческой чудаковатостью, но для посвящённых было последним актом абсолютной тирании. Директор сошла с ума раньше, чем умерла физически: она перестала отличать реальные шедевры, которые ей отказывались выдать Лувр и Прадо, от тех фантомов, которые она силой воли материализовала в каталогах. Книга Данилкина – это история болезни величайшего галлюцинолога русской культуры, сумевшего заразить своими видениями целое министерство.

Центральный нерв книги – природа антоновской власти. Данилкин со скрупулёзностью реставратора снимает слой за слоем миф о «доброй фее» Пушкинского музея. Он показывает, что фундаментом этого царства был экзистенциальный страх. Сотрудники терпели унижения не только из-за страха увольнения. Они искренне считали Антонову демиургом. Её право кричать подтверждалось тем фактом, что именно при ней в Пушкинский привезли «Джоконду». Страх смешивался со специфическим чувством причастности к чему-то великому. Быть обруганным лично ИА было знаком качества, пропуском во внутренний круг жрецов. Коллеги выслушивали её пространственные монологи «всегда с похоронными лицами. Страх обурежал. Боялись. Она вещала – как пифия».

Ключевым символом здесь выступает Гипсовый Давид во внутреннем дворе. Как отмечает Данилкин, эта копия стала подлинным директором Музея – вечно восемнадцатилетним, грозным и нагим тираном, под взглядом которого сутулились даже милиционеры на служебном входе. Сама ИА, с её знаменитой «антоновской поступью» (стуком острых каблучков, заставлявшим французских кураторов Центра Помпиду инстинктивно тушить сигареты), была живой проекцией этой статуи. Автор вводит блестящее наблюдение о «террибилите» директора: это была не бытовая истерика или самодурство, а высшая форма ответственности. В музее, где мнение одного эксперта всегда может быть оспорено другим («Это Боттичелли! – Нет, это НЕ Боттичелли!»), только фигура иррационального, почти мистического авторитета способна предотвратить хаос. ИА правила не приказами Минкульта, а ужасом перед Горгоной.

Второй каркас книги – история советского музееведения как зоны вечного этического компромисса. Данилкин безжалостно вскрывает двойное дно блокбастеров 1950–1970-х годов. Через воспоминания Григория Козлова он реконструирует шокирующий момент весны 1945 года: молодая аспирантка Ирина Антонова расписывается в приёме золота Шлимана и наблюдает за разгрузкой эшелонов с полотнами Дрезденской галереи. Автор подаёт передачу немецких трофеев в 1955 году не как дипломатический шаг Москвы, а как глубокую душевную рану Ирины Антоновой. Как замечает Данилкин, из этой истории она вынесла железный урок: стоит только вернуть что-то врагу – и тебя разорвут. «Отдашь палец – откусят руку». Именно этот принцип стал причиной непробиваемой позиции Пушкинского му-

зея в 1990-х, когда речь зашла о расследованиях по перемещённым ценностям.

Для Запада Дрезденская галерея была похищенной собственностью; для ИА – законными военными репарациями за выжженный Петергоф. Столкновение этих этик привело к тому, что западные музеи начали отказывать ей в выставках. Её личная травма 1955 года обернулась международной изоляцией Пушкинского в конце жизни.

Особую ценность представляют страницы, посвящённые теневой жизни Музея. Данилкин мастерски чередует высокий штиль экфрасисов Виппера с густым бытовым гротеском. Мы видим Пушкинский изнутри: протечки стеклянной крыши, отсутствие туалетов на первом этаже, кражу Франса Хальса пьяным реставратором в Международный женский день и экстренную необходимость пристроить бегемота из Московского зоопарка в Итальянский дворик посреди учёного совета. Эти анекдоты работают на снижение пафоса, но подчёркивают титанизм задачи – превратить руины цветаевского слепка в храм мировой культуры в условиях перманентного советского дефицита.

Если политическая воля ИА выковывалась в кабинетах Лубянки и спорах о трофеях, то её эстетическая ДНК формировалась в Италии. Данилкин описывает уникальный феномен «советской итальяномании» как форму высоколобого эскапизма. Однако эту тему стоило бы развернуть через призму сенсорного контраста.

Советская Москва 1940–1950-х – это запах мокрых валенок и теснота коммуналок. Внутри Волхонки, 12 – сухой воздух спецхранов и нагретый мрамор. ИА создала идеальный микроклимат Ренессанса посреди хрущёвского бетона. Её безупречные костюмы и прямая спина – это физическое сопротивление распаду материи. Жизнь ИА была детерминирована Италией далеко не только духовно: итальянское Возрождение было её научной специализацией, а муж – автором монографии об Италии XVI века. Сам Пушкинский превратился в лазерную голограмму обетованной Флоренции, проецировавшуюся на территорию в районе Волхонки.

Ближе к финалу повествования Данилкин переходит к исследованию старости тирана. Одержимость ИА концепцией «воображаемого музея» Андре Мальро рассматривается им двояко. С одной стороны, это гениальный маркетинговый ход, позволивший легализовать показ цифровых копий там, где оригиналы никогда бы не дали. С другой – трагическая попытка девятиностолетней женщины удержать уходящую магию. ИА десятилетиями лепила из себя статую Командора. Когда тело начало подводить (усталость, дрожь рук), это стало личным оскорблением. Её гнев на съёмочную группу фильма «Я давно иду по прямой» вызван не искажением фактов, а разрушением иллюзии бессмертия. Она хотела остаться идеальным профилем на фоне Рафаэля, а время подсунуло ей морщины. Параллель очевидна: с физическим старением самой ИА деградировал и сам Музей (осыпающийся гипс Давида, протечки крыши).

Личная жизнь Антоновой в изображении Данилкина – это не гляцевый фасад, а черновик, полный боли. Муж Евсей Ротенберг, пианист Рихтер, министр Фурцева – все они рядом, но она остаётся глубоко одинокой. Эмпатия принесена в жертву музею. Самая пронзительная сцена книги: Ирина Александровна вызывает мужа-режиссёра на ковёр за то, что он осмелился снять её просто уставшей женщиной на лестнице. В этом – её главная трагедия. Она десятилетиями лепила из себя

мраморный монумент, а время взяло и сделало этот мрамор хрупким. Простить этого она так и не смогла.

Метод Данилкина заслуживает отдельного рассмотрения. Он действует как архитектор-конструктивист: возводит тяжеловесную конструкцию из лёгких материалов. Текст перенасыщен косвенной речью, слухами и самооправданиями героини. Автор намеренно устраняется, позволяя документам вступать в противоречие. Это создаёт эффект стереоскопичности, однако местами избыточная фактура утомляет – книга могла бы сократиться на сотню страниц без потери смысла. Данилкин пишет историю властителей, а не народа. Массовая публика Пушкинского остаётся безликой массой, задающей нелепые вопросы зрителям. За скобками остаются тысячи людей, для которых Музей действительно был окном в мир; автор же сосредоточен на византийских интригах верхнего управленческого слоя.

«Палаццо Мадамы» – это реквием по большой советской культуре и её последней императрице. Лев Данилкин написал неудобную, сложную и грандиозную книгу. Он снял с Ирины Антоновой маску святой покровительницы искусств и показал лицо Грозной Матери, создавшей совершенную машину, которая в итоге поглотила её саму. Самый горький вывод книги: тоталитарная машина парадоксальным образом стала лучшим хранителем классики. Но за эту сохранность пришлось платить страхом, мутными коллекциями и судьбой директора, который сам оказался заперт в золотой клетке – собственном тщеславии. И когда гипсовая кожа Давида начнёт осыпаться (а она уже осыпается), нам останется только эта книга. 584 страницы – подробнейший протокол вскрытия великого мифа. После него Итальянский дворик уже никогда не будет просто Итальянским двориком.

ВОСКРЕШЕНИЕ «НЕДОПРОКЛЯТОГО»

Роман Сенчин и его «Человек и персонаж»*

В уголовном деле № П-78195 из архива УФСБ по Санкт-Петербургу среди стандартных анкет лежит пожелтевший листок из школьной тетради. На нём торопливым почерком выведены цифры: «Сбор 3 р. 44 к.», следом – жалоба на отсутствие мелкой наличности у прохожих, а чуть ниже – ядовитая политическая сатира о кремлёвских вождах. Дата под текстом – июль 1930 года. Автор этих бухгалтерских выкладок соседствует с антисоветскими частушками не ради конспирации; он просто фиксирует окружающую его реальность. Это мир Александра Тинякова, который четвёртый год зарабатывает на хлеб профессиональным стоянием на Литейном проспекте с картонкой «Подайте на хлеб писателю, впавшему в нужду».

Обвинение стандартно для той осени: контрреволюционная агитация, монархические настроения. Но главным вещественным доказательством следователь указывает две книги стихов и школьную тетрадь с дневником. Листая эти страницы, невозможно отделаться от мысли, что классическая версия биографии Тинякова лжёт. Нам десятилетиями рассказывали историю неизбежного гниения декадента-маргинала, но факты сопротивляются мелодраме. Там, где мы ожидаем увидеть пьяный бред, зафиксированы жалобы на тесноту коммунальной кухни; там, где должна быть экзистенциальная тоска, – сухая запись о гонораре Всеволода Вишневского, выдавшего пятьдесят копеек вместо обещанного рубля. Его нищенство не было бессознательным скольжением во тьму. Это была хирургически точная операция по извлечению себя из социума. Государство монополизировало литературу, превратив её в казённую службу, и Александр Иванович ответил симметрично: он приватизировал собственную деградацию, превратив своё тело, запах перегара и дырявые подошвы в последний неподцензурный роман.

Роман Сенчин в книге «Александр Тиняков. Человек и персонаж» берёт этот жуткий перформанс за отправную точку, чтобы распутать клубок куда более сложный, чем биография обычного неудачника. Перед нами разворачивается анатомия абсолютной литературной всеядности, которая парадоксальным образом сделала Тинякова самым точным зеркалом эпохи. Зеркалом, смотреться в которое современникам было невыносимо стыдно, отчего они поспешили объявить отражение кривым, а самого носителя – клиническим сумасшедшим. Однако именно эта брезгливость выживших – от Георгия Иванова до Владислава Ходасевича – позволила им легитимизировать собственный компромисс с эпохой. Они выживали иначе: печатаясь в большевистских газетах или уезжая на Запад. Подлинная мерзость времени отпечаталась только на костылях медленно идущего по Надеждинской улице калеки-поэта.

* Роман Сенчин. Александр Тиняков: Человек и персонаж. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2025.

Сенчин выбирает честную оптику. Название «Человек и персонаж» отсылает к главному конфликту жанра: как отделить реальную личность со всей грязью быта от художественного образа? Отказавшись от академической сухости и публицистического пафоса, автор выстраивает повествование, движущееся вязко и тяжело – точь-в-точь как шаг героя по осеннему Литейному. Главный вывод книги: история о том, как литература пожирает своих детей, когда они пытаются превратить собственную жизнь в жанр.

Погружение начинается с физиологии. Биография строится не на парадигмах Серебряного века, а на запахах пивных отдушин и ревматических болях в ногах от долгого стояния на панели. Дневники поэта за 1929–1930 годы производят оглушающее впечатление своей будничной интонацией перед лицом бездны. На страницах, подшитых к делу красным карандашом, Тиняков фиксирует курс рубля, количество собранной мелочи (три рубля сорок четыре копейки), головную боль после вчерашнего и политические пророчества сквозь призму похмелья.

Уютный миф об «опустившемся гении» трещит по швам. Превращение автора в профессионального попрошайку не было следствием белой горячки. Как подчёркивает исследователь Глеб Морев, это был осознанный политический демарш – добровольное принятие статуса изгоя, самая радикальная форма забастовки, доступная интеллигенту тех лет. Когда государство монополизировало слово, Тиняков вынес протест на панель. Картонка с надписью «писателю, впавшему в нужду» работала как антиплакат, демонстрируя реальный результат культурной революции.

Для Сенчина неприемлемо оправдывать зло обстоятельствами. Эволюция Тинякова в Чудакова – это успешная мимикрия, добровольное выжигание совести ради того, чтобы лёгкие продолжали втягивать воздух. История глубокой заморозки чувствительности. Язык погрома и язык партсобраний звучат для него одинаково – как белый шум, необходимый лишь для оплаты счёта в рюмочной. Черносотенная ярость и классовая бдительность оказываются двумя сторонами одной медали. Кульминацией этой дегуманизации становится поэма «Радость жизни». Вид погребальных процессий, дарующий сердцу радость, маркирует финал превращения человека в элемент городской фауны. Сенчин вскрывает экологию этого существа: оно способно существовать только в симбиозе с разложением. Чтобы чувствовать собственное сердцебиение, Тинякову нужно припасть ухом к груди мертвеца. Гибель Гумилёва для него – не трагедия коллеги, а повод для самопрезентации над окровавленным телом.

История 1916 года предстаёт мистерией первородного греха, разыгранной в катакомбах декаданса. Обнаружение двойной игры разрушает иллюзию святости ордена: иконы эстетства осыпаются трухой. Реакция круга напоминает суд инквизиции. Ремизов играет роль юродивого заступника, спасающего рукописи собрата, пока тошнота окончательно не берёт верх. Ходасевич примеряет маску Великого Инквизитора, наблюдая за конвульсиями жертвы с холодным любопытством препаратора. Травля была актом ритуальной гигиены: сбрасывая маргинала за борт, участники очищали собственный воздух, получая индульгенцию на свои сделки с совестью.

Центральное место занимает посмертная метаморфоза. Из реального человека Тиняков превращается в функцию, удобную мишень для мемуаристов эмиграции. Георгий Иванов делает из него карикатурного

злодея в «Петербургских зимах» – кривое зеркало, глядя в которое можно любоваться собственным благородством. Сенчин тонко подмечает завистливую природу этих воспоминаний: эмигрант пил водку с живым поэтом, слушал его шокирующие стихи, а затем использовал эти образы для создания мифа о себе как о главном страдальце эпохи.

Язык самого Сенчина заслуживает отдельного внимания. Сухие выписки из протоколов ОГПУ сменяются кинематографическими сценами: вот поэт сидит на Мальцевском рынке времён Керенского в рединготе; вот встречает Ахматову на Симеоновской улице, и та кладёт ему в шапку двугривенный; вот он идёт на костылях по Надеждинской летом 1934 года, сохраняя на воспалённом лице оттенок старого петербургского интеллигента.

Эта деталь подводит итог трагедии. Перед нами обломок кораблекрушения. Тиняков возвращается в Петроград снова и снова, потому что вне этого гниющего камня он перестаёт существовать. Деревня отвергла его как ренегата, столица исторгала физически, но притягивала магнитом культурного центра. Его смерть 17 августа 1934 года в Мариинской больнице проходит фоном к Первому съезду советских писателей – символический финал маргинала, пока официальная литература празднует победу над свободным словом.

В эпилоге Сенчин формулирует диагноз русской литературе XX века. История Тинякова на контрасте с Клюевым и Есениным обнажает отказ от концепта «поэта-пророка». Те двое пытались сохранить статус жрецов: один охранял алтарь Избы, другой приносил себя в жертву Престолу. Тиняков первым сбросил эту мантию. Он понял, что мегаполису нужен обслуживающий персонал, хроникёр помоек и дешёвый репортёр. И Александр Иванович принял этот контракт. Он растворился в Петербурге духовно, став частью инвентаря каменного sklepa. Пока Клюев и Есенин ломали кости о поребрики чужого мира, Тиняков скользил по ним слизнем.

Книга оставляет тяжёлое, саднящее чувство. Это реквием не по таланту – стихов хватило бы на небольшую антологию посредственности. Это реквием по возможности честного поражения. Тиняков проиграл всё: убеждения, репутацию, человеческий облик. Но своим нисхождением на дно он оставил документы времени, которых так не хватало молчащим свидетелям коллективизации. Протоколы его допросов и записи о найденных двух копейках звучат сегодня страшнее эпических полотен о гибели империи.

Время расставило всех по местам: архивы романтиков стали реликвиями, а архив циника десятилетиями лежал неразобраннным мусором. Роман Сенчин вернул этому человеку имя, показав, что истинная мерзость заключается не в падении, а в попытке судить того, кто осмелился упасть честно, оставшись прозрачным в своём эгоизме, страхе и отчаянии.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Наталия Петрищева

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Оренбург)

Елена Крюкова

Александр Орлов (Москва)

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Санкт-Петербург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Елена Гаврюшова

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Владимир Седов

Наталья Суханова

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и библиографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 29.09.2026.
Выпущено в свет 26.10.2026.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Заказ
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13